

НИКОЛАЙ СОЛЯНИК

Судьба, значит...



Москва
2024

УДК 82
ББК 84 (2Рос=Рус) 6
С 60

Соляник Н.А.

С 60 Судьба, значит... – М.: Издательство «У Никитских ворот»,
2024. – 336 с.

ISBN 978-5-00246-013-7

Новая книга Николая Соляника поистине многожанровая. Здесь и повесть, и рассказы, и статьи, и очерки, и стихи, и тонко выписанные миниатюры, и, что и отличает опытного литератора, заметки, наблюдения – грани творчества. Свои, неповторимые. Как и неповторимы грани его персонажей...

УДК 82
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

12+

ISBN 978-5-00246-013-7

© Соляник Н.А., 2024
© Оформление. Издательство
«У Никитских ворот», 2024

КАК Я БЫЛ
«ОККУПАНТОМ»

Солдатская повесть

Повесть эта во многом автобиографическая. Описываемые в ней события относятся ко времени дислокации на территории Восточной Германии (ГДР) советских воинских подразделений, в одном из которых автору этих строк и довелось служить. Армейский быт, смотры, учения, взаимоотношения с местными жителями, раздумья над воинским долгом: «Зачем мы здесь?..»

«Служба есть служба, – пишет автор. – Легкой она не бывает, да еще за кордоном. Но в том и состоит жизненная мудрость, что со временем из памяти, да и из сердца выветривается все горькое, грустное и остается лишь светлое, доброе, а порой – и вызывающее улыбку...»



А ну их, этих камрадов!

Мы выезжали на учения или уезжали, уж не знаю, как точнее тут сказать. Естественно, подняли нас по тревоге. Суматошное это слово «Тревога!»: вскочить, одеться – гимнастерка, штаны, сапоги.

Так и не понял за годы службы, почему солдатские штаны назывались еще и шароварами? Потому что расширились к бедрам? Так и офицерские штаны – и ого! – как расширились, а называли их весьма благородно: галифе. А тут – шаровары. Обидно даже...

Вскочить, одеться – ладно. Это привычно. Это, уточню, когда дежурный по роте, отслеживая на часах последние минуты могучего казарменного сна, резко, наотмашь стегает ладонью по выключателям и орет, как резаный: «Рота, подъем!»

Но орать-то чего? Чтобы показать, какой ты несчастный: не доспал. Так на то она и армия: кому – спать, кому – бодрствовать. Или – чтобы насладиться своей властью: дескать, в считанные секунды поднял на ноги сотню человек. Ладно, уж сотню! «Старики» – те еще долго будут кряхтеть и потягиваться, поругивая в сердцах и надоевшую казарму, и служак-командиров, и дурную чужую немецкую погоду.

Так что вскочить-одеться (вскочить со второго яруса) касалось нас, молодых. Как, впрочем, и – дряние полов, мытье кухонных бачков, стояние у тумбочки... Но не вечно же нам ходить в салагах. Придет час, и мы станем «стариками», тогда и расслабимся.

– А потому, милоч, – напутствовали нас знающие, – попаши на первом годку! Потом и за тебя попашут...

«Тревога!» – это общий сбор, клич единения.

Суетное, в полутьме, топанье сапог у вешалок с шинелями, у пирамид с автоматами и противогазами, нетерпеливые вы-

крики командиров: «Отделение (первый взвод, второй, третий), строиться!». И – бегом, громыхая автоматами и подсумками с «рожками»¹, в автопарк.

Почему-то автопарк наш находился за пределами части в отличие от боксов, или, проще, гаражей первого батальона, непосредственно примыкавших к казармам.

– Потому, – объяснили мне, – что они, по оперативке, *первые*, мы – *вторые*.

– Понял.

Прибегаем. А из боксов, разбередив тишину и подсинивая дымком стылый ноябрьский рассвет, выползают тяжеленные ЗИЛы (каждый из них – радиостанция, аппаратная), следом мелкота: «газики», «уазики».

– Как? – удивился я, – водилы уже здесь?

Опять-таки объяснили, что водителям по тревоге надлежало пулей вылететь из казармы, не дожидаясь каких-либо построений. Как, впрочем, и вестовым. Те также мигом разбежались по офицерским коттеджам, дабы сообщить их обитателям об объявленной тревоге.

Мне это казалось более чем странным: пока вестовой добежал до означенной квартиры, офицер уже мчался в автопарк, потому как, во-первых, еще с вечера знал о времени объявления тревоги (четыре утра), как и все в полку знали: тревога-то учебная, – во-вторых, тому же лейтенанту, старлею (старшему лейтенанту), капитану, майору наверняка уже позвонил дежурный по части.

Но таков, оказывается, был порядок: в случае объявления тревоги на дом к офицеру должен прибыть вестовой. Расчет все на тот же боевой вариант, когда и связи может не оказаться, и срочное пакет-донесение доставить потребуется.

Машины выстроились вдоль автопарка.

– Командиры рот, взводов, старшие машин – в голову колонны! – команда. Понятно, для инструктажа: уточнения маршрута, расчетного времени движения.

– Регулировщики, строиться!

¹ Емкости для патронов.

Это уже и меня касается. Дело в том, что по маршруту следования колонны полагалось выставить регулировщиков – в населенных пунктах, на развилках дорог. Меня как молодого бойца в регулировщики (а чем еще мог пригодиться?) и определили. Выдали два флажка: красный – стоп, желтый – указание направления пути. Дали и фонарик. Опять же красный свет – стоп, желтый с неоднократно повторяющимся движением руки – направление движения. И весь инструктаж.

Погрузили нас в «уазик» и разбросали по точкам. Я был где-то пятым или шестым: какой-то стылый городишко, крохотная площадь-брусчатка.

– Стой тут и жди! – приказал старшина-зампотех. – Как увидишь головную машину, указывай флажком направо. Понял?

– Понял!

Пристраиваюсь рядом с полицейским, на всякий случай кивнув ему: *гутэн таг!* Он тоже вроде кивнул. А на площадь-пятачок, несмотря на ранний час (немцы – народ ранний), со всех сторон один за другим устремляются «Трабанты», «Фольксвагены», разные-всякие грузовички.

«Ну, – думаю, – попал! Как же смогу остановить их, когда появится наша колонна?» А по рассказам «стариков» знал, что полицейские не очень-то помогают в такой ситуации, дескать, поставили тебя с флажками и калашом¹ за спиной, вот и выкручивайся, как знаешь. Рассчитывать же на то, что при появлении колонны все эти трабанты-барабанты тут же замрут, и думать было нечего. Напротив, всяк будет норовить, опять же по рассказам «стариков», проскочить через «окошко» в колонне или вклиниться в нее. За такое и регулировщику, и водителю крепко доставалось.

«И поделом, – размышлял я. – Ни к чему, очень даже ни к чему в нашей колонне находится какой-то чужой легковушке. А вдруг в ней... шпион? Как рассказывал вчера на инструктаже замполит, едва та или иная наша, в смысле советская воинская часть выезжает на учения, на хвост ей тут же садится иностранная военная миссия: английская, французская, американская. Или – спецслужба. Что, наверное, одно и то же...»

¹ Автомат Калашникова.

Пять, десять минут стою – колонны нет. А вокруг площади все более заметное оживление: кто – на работу, кто с ранцем за спиной – в школу, или что тут у них? Колледж? И всяк глазет в мою сторону. Вон пожилой немец вообще слез с велосипеда, чтобы лучше разглядеть меня. Впервые что ли видят советского солдата? В новенькой шинели, со звездочкой на шапке-ушанке и с сияющей бляхой на ремне (о, сколько на нее ушло асидола!).

«Ну, что ж, смотрите! – гордо выпячиваю грудь и еще не совсем умелым движением поправляю за спиной калаш. – Да не бойтесь: он не заряжен».

Выкуриваю, наверное, уже пятую сигарету. Колонны все нет. А ноги, чувствую, застывают. Чертова немецкая промозглость! И тут – о, господи! – аж мороз по коже. А откуда она должна появиться, эта самая колонна? В смысле, на какой улице? Там, где синее *фризьерсалон* – парикмахерская (немецкий-то знал немного) или левее, где ярко-красное *лебенсмиттель* – продовольственный магазин? Или, вообще – правее, где какая-то фура торчит?

«Так, без паники, – успокаиваю себя. – Откуда бы ни появилась, появится».

А «Фольксфагены», «Трабанты» все прут и прут. И все так же улыбаются немочки на тротуарах. Незаметно (незаметно от кого?) машу им. Они тут же отзываются, о чем-то щебечут. Интересно, о чем? Полицейский, как мне показалось, неодобрительно покосился на меня. Ну и ладно! Я вон еще и тому камраду¹ помашу: что-то уж загляделся на меня. Он тоже помахал мне и, прихрамывая, покатил велосипед по «зебре»...

Колонны все нет. Когда же, наконец? И на какой улице? Там, где *фризьерсалон*, или – *лебенсмиттель*?.. И, кстати (снова мороз по спине), флажком-то куда указывать? Что направо – понятно. Но направо расходятся две улицы. И тут вижу: прямо на меня, подпрыгивая, несется командирский «уазик». Я, естественно – во фронт и лихо отмахиваю флажком. «Уазик», кивнув антеннами, делает легкий поворот и, не сбавляя скорости, несется дальше. Следом за ним – тяжелые «ЗИЛы», один, другой, третий...

¹ *Kamerad* – по-немецки товарищ, друг.

Собственно, зачем их считать? Их есть, кому считать. Как опять-таки рассказывал замполит, вот так же шла наша колонна, не совсем наша, из другой части, и, сидящая в открытом грузовичке вместе с отцом девочка у обочины дороги пересчитала все машины и даже успела записать их номера. С той девочкой, вернее, с ее отцом потом разобрались. Так замполит рассказывал.

И еще запугивал нас всякой всячиной, дабы, понятно, усилить нашу бдительность. Говорил, что якобы западные спецслужбы пообещали гэдээровцам за каждый найденный в лесу или еще где-либо конверт с номером Полевой почты¹ – пять марок, а за конверт с письмом – десять марок. Что в лесу под деревьями могут оказаться бутылки с отравленным шнапсом и т. д. Наверное, все это имело место...

Пятый, шестой, десятый «ЗИЛы»... Кто-то из ребят машет мне: молодец, дескать, знай наших! А мне и самому приятно: ни одна легковушка сквозь колонну не прорвалась, в колонну не втиснулась. Стоят, как вкопанные. А которым уж совсем невтерпеж, вырулили на другую дорогу. Так-то!

А ЗИЛы все идут да идут. Осталось дожидаться замыкающего колонну «уазика». Он-то и подберет меня. Вкладываю флажки в футляр и... еще издали вижу торчащий из кабины старшинский кулак. А уж мат-перемат! На всю Германию.

Короче, направил я колонну не туда. Не в ту степь, как говорится. Вернее, не в тот лес.

Что было потом? На гауптвахту меня не посадили (молодого-то да зеленого?), не разжаловали (рядового-то!), из армии не уволили (а я бы и не возражал). Отделался я тремя нарядами на кухню. И отработал их во время учений – в лесу, на свежем воздухе. Чем плохо?

Потом, когда уже сам стал «стариком», растолковывал молодым: поставили регулировщиком – не вертись, как вошь на гребешке. И вообще, ну их этих камрадов и белокурых немочек!..

¹ Адреса советских воинских частей, дислоцировавшихся за рубежом, обозначались однозначно: Полевая почта, в/ч №... Номер своей воинской части и поныне помню: 89730.

А той вынужденной остановкой (что колонна пошла не туда, тут же обнаружили) не замедлили воспользоваться: черные номерные таблички на машинах поменяли на белые. Так, оказывается, полагалось на марше. Для конспирации. А спустя где-то час велели поменять их обратно. Все это опять-таки казалось мне сущей формальностью: кому надо, запросто мог выследить колонну.

Цвай хундэрт

Тактичный все же народ – наши патрули. Завидев солдата в самоволке (уж куда яснее: форма-то не парадно-выходная – повседневка), никогда не подойдут к нему пока он общается с немцами или, того хуже – с немочками. Инструкция, видимо, у них такая была: при местных не борзеть. Будут топтаться, топтаться поодаль, махорить. Но стоит солдату отдалиться от тех же немочек – все, каюк.

Как-то под вечер мы с моим другом *Толей* Балацким, механиком-водителем, забрели в гаштет, кафе по-ихнему. Уже не помню названия городка: крохотный, так, селение. А забрели, ясное дело, из леса. Из того самого леса, где выше сосен взметнулись наши антенны, где с утра до ночи тарахтят движки наших радиостанций, где пахнет дымным чайком и где так сладко – о, господи! – дурманит дух свободы. Лес – это вам не портяночная казарма. Лес – это, братцы, свобода!

Понял я это: лес – свобода – только здесь, в армии, притом – в Германии. Лес – он такой же, как наш, подмосковный, разве что более хвойный. Ну, и понятно, поаккуратней, почище, построже. Даже излишне построже. До педантизма. Представьте себе, чуть ли не на каждой елке, сосне отметина: синяя, желтая, красная. На фига, спрашивается? Или те же глиняные горшочки на стволах. Опять-таки на фига?

Потом нам, несмышленным, объяснили, что все деревья в немецких лесах пересчитаны, и за каждым из них ведется досмотр, о чем и свидетельствуют отметины: такому-то дереву три года, такому-то – пять лет, такому-то – десять. Это – на распил, это –

лечить, эту сосенку – под рождественскую елку. А горшочки на стволах? Для сбора смолы. А мы-то, изверги, крушили их, приговаривая: «Живодеры! Над деревьями издеваетесь!»

Лес потому еще – свобода, что подвигает на подвиги (такой вот каламбур); из леса, пусть и ненадолго, можно уйти, чтобы, как говорится, на людей посмотреть и себя показать. Словом, ощутить еще большую свободу. Ну и, по возможности, отметить эту самую свободу. Чревато, конечно. Но какой адреналин! Поэтому так любви нам были выезды в лес, на учения.

В общем, подходим мы с Толей Балацким к стойке бара, привычно распрямив гимнастерки.

Ах, гимнастерка! Без малого столетие верой и правдой служила она русскому воинству: от генерала до рядового – прочная, удобная и даже по-своему элегантная. Что она есть такое? Извольте. Та же длиннополая сорочка, но со стоячим воротником. И с нагрудными карманами. Ну и, естественно, с погонами. Как-то задался вопросом: сколько же пуговиц на ней? Оказалось, тринадцать: на вороте, на манжетах, на погонах, на карманах. И каждая – со звездочкой. Как же после этого было не уважать ее, такую звездастую? Рыже-зеленая, когда новенькая. А если уже бывалая-перебывалая, прокаленная солнцем и отстеганная дождями и мытая-перемытая, – а драили мы ее щеткой, прямо на асфальтовой дорожке у казармы, – то и вовсе бежевая. Хэбэшная. В гимнастерке, туго подпоясанной ремнем (ни складочки!), поневоле выглядишь стройнее. Украшала она и меня в свое время...

А бляхи-то, бляхи! Горят! И – стрелки на штанах. Как наводить их, служивые знают. Оттягиваешь штанину вдоль ноги и несколько раз проводишь по изгибу междузубьем расчески: вверх – вниз, вверх – вниз. И стрелка готова. Такая вот солдатская смекалка.

– *Гутэн таг!* – здороваемся, при этом успеваем окинуть взглядом зал: наших, в смысле офицеров вроде нет. Встреча с ними была бы весьма нежелательной. Как с теми же «макаронниками», как называли мы сверхсрочников (прапорщики – понынешнему), имея в виду сытую их макаронную жизнь. Суть в том, что излюбленным блюдом нашим были макароны по-флотски. Деликатес! Давали нам их редко, в основном по празд-

никам. Сверхсрочники же, питаюсь в офицерской столовой, могли улепетывать их сколько угодно.

В общем, и те, и другие запросто могли сдать нас: ведь нам, срочникам (служащим по призыву) строжайше запрещено было посещать питейные заведения. Более того, имелось негласное указание владельцам этих самых заведений при появлении нашего брата тут же сообщать об этом в гарнизонную комендатуру.

– *Т-а-а-а!* – вторит розовощекий бармен.

Ох уж, эти немцы! До того небрежны в приветствии. Ну почему бы не сказать, как надо: *«Гутэн таг!»*, *«Гутэн моргэн!»*? Нет же: *«Т-а-а-а!»*, *«Мо-о-ргэн!»* Или – *«Видэрзээн»* вместо *«Ауфвидэрзээн»* (До свиданья!). На звуках что ли экономят? И тут верны своему прагматизму? Это равносильно тому, чтобы мы, здороваясь, говорили: *«Де-е-нь!»*, *«У-у-тро!»* Нет же, говорим, как надо: *«Здравствуйте!»*, *«Добрый день!»*, *«Доброе утро!»* Ну, друзьям, понятно – *«Привет!»*, *«Пока!»*

Вспомнилась история почти анекдотическая. Рассказали ее все те же «макаронники» – сверхсрочники. Как-то в гаштете набрались они крепко! Шумели, наверняка буйнили. Законопослушный бармен тут же позвонил в комендатуру. Забрали хлопцев. Отсидели они, все честь по чести, и снова сюда, в гаштет: *«У-у, морды!»* В ответ – сама любезность: *«Гут моргэн!»*, *«Гут моргэн!..»* Умеют, значит, правильно сказать, когда захотят...

– *Вотка?* – бармен вскидывает на нас светло-голубые глаза.

– *Я-а-а*, – киваю я. *«Я-а-а»* у них – наше «да». Ну, язык! И решительно добавляю:

– *Цвай хундэрт!* (Двести.)

Балацкий, нахмурившись, смотрит на меня. Он не знал и не хотел знать немецкого языка по идейным, как говорил, соображениям. В войну погиб его дед, инвалидом вернулся отец. Как такое забыть? Конечно, он понимал, что немцы теперь не те, многое узнали и осознали, да и сами натерпелись от своего бесноватого фюрера, тем не менее, глядел на них так, словно хотел убедиться: действительно ли все поняли и осознали?

Как-то в гаштете... Опять гаштет! Любили мы все-таки хаживать в это заведение. И не выпить ради. Для этого и другие возможности случались. Общения ради хаживали мы в гаштет. Пусть

на кое-каком немецком, а с той стороны – на кое-каком русском, но ведь изъяснялись: кто есть кто, откуда, немного о политике. Мы это называли народной дипломатией.

Так вот, с полчаса, наверное, Балацкий общался с одним пожилым немцем при помощи всего двух фраз: «Гитлер – сука!», – восклицал он, уже изрядно поддавший. «Сталинград!», – вторил ему немец, качая хмельной головой. «Гитлер – сука!», – снова восклицал Балацкий, ударяя кулаком по столу. «Сталинград!», – повторял немец и, задрав на спине рубаху, показывал зарубцевавшиеся раны. И ведь понимали друг друга.

Своего «сталинградского» немца, уже совсем «хорошего», он довел до дому, прислонил, как полагается, к дверному косяку. Тот панически замахал руками: «Цюрюк! Цюрюк!» В смысле – назад. За дверью, действительно, послышался женский голос. Балацкий, понятное дело, ноги в руки и – назад, в часть...

Эту историю он нам частенько рассказывал. Мы ухахатывались. Особенно над этим его «Гитлер – сука!» Как будто немец и впрямь понимал, что такое по-русски «сука»...

Все еще нахмурившись, Балацкий смотрит на меня, потом переводит взгляд на бармена и для убедительности выбрасывает два пальца. Тот понимающе кивает:

– *Айн момент*, – и ставит на картонки-кругляшки две слезные стопочки.

Как сейчас вижу: берем мы эти стопочки и аккуратно так, нежнейше, наслаждаясь их прохладой, чокаемся:

– Будем! – и лихо опрокидываем.

Неспешно закуриваем. Свои, махорочные.

– Ну, шо? – спрашивает Балацкий. – Ишо по одной?

Расслабившись, он любил вклинить украинское словечко. И еще – когда волновался. Тут уже запаса русских слов ему явно недоставало. Родом он был откуда-то из Прикарпатья, то ли из Тернопольской, то ли из Хмельницкой области. Вообще, мы как-то мало интересовались, кто есть откуда: из какого города, поселка? Это не считали столь важным. Важно было, что все мы – из Союза. Союзом мы называли Советский Союз.

– Чуть повременим, – говорю Балацкому, – оглядимся, освоимся.

Зал небольшой. Мягкий полумрак, деревянные столы, заставленные пивными кружками, бутылками лимонада – пожилые, молодежь, дети. Немцы любят хаживать в гаштет всем семейством.

– А нас, кажется, приглашают, – киваю на столик у окна. – Вон тот камрад в клетчатом пиджаке. Давай еще по сто – и к нему.

– Давай.

Присаживаемся. Кладем на стол краснозвездные пилотки:

– *Гутэн абэнд!*

В ответ, естественно, *А-а-бэнд!*

– *Камрад!* – приподнимаю стопку. – *Гэзунд!* (На здоровье!)

Он никак не отреагировал на мои слова или сделал вид, что не понял, и, отхлебнув пива, продолжал глядеть на нас не то чтобы с интересом, а как-то проникновенно-пытливо, и глаза холодные, что осеннее небо.

– *Капрал?* – задерживает взгляд на моих погонах.

– Сержант, – констатирую я, заведомо зная, что он опять чего-то не поймет.

Он ухмыльнулся:

– *Бундэс рэпублик – гут. Дойче дэмократише рэпублик – шлехт!*

– Шлехт? Плохо? – наклонился ко мне Балацкий. – О чем это он?

– Да так... Западный он немец.

– Оцэ дило! – насупился Балацкий, пухленькое лицо его порозовело, «ежик» на голове оцетинился.

Да, непростая штучка этот камрад. Да какой он к черту камрад? Казачок засланный.

– *Бундэс рэпублик*, – обращаюсь к нему, также чеканя слова – капитализм.

– *О, я-а, я-а!* – воскликнул он и поднял большой палец.

– *А ДДР, ГДР*, – продолжаю я, – социализм, справедливость.

Он кисло поморщился:

– *Найн! Шлехт!*

Похоже, он провоцировал нас. И тут слышим справа и слева свистяще-шипящее:

– *Офицерэн! Офицерэн!*

Я сидел спиной к двери, Балацкий – вполоборота.

– Что там? – тихо спрашиваю его.

– Патрули. Трое. Офицер и два солдата.

– Да, влипли. Ладно, что-нибудь придумаем.

Казалось, зал со всеми его *мэнами, фрау, киндэрами* замер. Одни взирали на нас с любопытством: дескать, чем все закончится? Другие – с сочувствием: мол, такая уж солдатская доля – ущемленность во всем и вся.

– Где они? – спрашиваю Балацкого.

– У стойки бара. Лимонад пьют.

Немец, уже достаточно раскрасневшийся, расплылся в нехорошей улыбке:

– *Дас ист паник?*

«Да помолчи ты, черт рыжий!», – чертыхаюсь про себя и снова к Балацкому:

– Вечно стоять они там не будут. А к нам, пока мы за столиком, не подойдут, сам знаешь.

– Так-то оно так... О-о! Офицэр кудысь подився.

– Может, в галюн? Сваливаем!

Разом вскочили и, схватив пилотки и огибая столики, рванули к выходу мимо солдатиков с патрульными повязками:

– Тихо, ребята! Вы нас не видели.

Те и мяу сказать не успели, как мы уже были на улице и во весь упор неслись в сторону темнеющего невдалеке леса. Лес – он родной, он спасет! Вот и заветная тропинка. Мы ее еще днем присмотрели. Летим, не успевая потирать обожженные хвойными лапами лоб, щеки.

– Передохнем, – сдается Балацкий. – Нас воны ужэ не догоню. Та й не знають, куда мы побиглы.

– Догадаться могут. В лес, где учения. Но мы через двадцать минут будем на месте. А там нас фиг найдешь.

– Это точно, – согласился Балацкий. – Слухай, а той нимэць точно с Запада?

– Сто процентов.

– Шпион?

– Да ладно тебе.

– Впэршэ шпиона бачу. Вин шо, хотив нас завэрбовать?
– Тебя завербуешь! Хорошо, хоть не стал восклицать: «Гитлер – сука!»

В темноте я почувствовал, как он улыбнулся:

– А солдатакам, мабуть, влэтыть за нас.

– Ничего, обойдется. На губу¹, по крайней мере, не посадят. А придет время, сами станут в самоволку бегать. Дело солдатское.

– И то так, – он замедлил шаг.

– Ты чего?

– Водку нэ допылы?

– Ну, Балацкий! Ну, хохол! О водке сожалеет. Скажи спасибо, что ноги унесли. А то были бы нам *цвай хундэрт...*

Ягода черника

– Завтра вместо физзарядки – сбор черники, – объявил на вечерней поверке старшина. – Котелки получите в каптерке.

А нам и в радость! Значит, утреннего ттрам-ттрам-ттрам – «Бегом марш!» – не будет. Да и сколько можно долбить сапогами немецкий булыжник? Вернее, немецким булыжником дубасить наши сапоги.

Лично для меня утренний бег в строю – десятки пар кованых сапог, нудно, тупо – *был суцей пыткой*. Ттрам-ттрам-ттрам! Через распахнутые настезь решетчатые ворота с прикрепленными к ним красными звездами. Ттрам-ттрам-ттрам!»! Через дощатый настил железки-одноколейки.

Железка... В пятидесяти метрах от КПП. Ну, не пытка ли? Ведь что такое для солдата рельсы? Дорога домой! Нам же приходилось пересекать их (переходить, перебегать, переезжать) ежедневно с неизменной сладкой болью в сердце: придет, придет час, и помчит, помчит нас эшелон. А как реагировали дембеля на мелькнувший на экране поезд? Клуб буквально взрывался: «Едем!»

¹ Гарнизонная гауптвахта.

Тррам-тррам-тррам! Мимо футбольного поля с длинными лавками из брусьев. Тррам-тррам-тррам! Вон до того перекрестка, что у офицерской столовой. Там – направо и уже до самого предместья Фюрстенберга (маленький такой городишко). Потом резко – налево, в сторону автопарка. Тррам-тррам-тррам!..

И чтобы совсем уж не свихнуться, глядя в затылок впереди бегущего, старался как-то отвлечься, подумать о чем-нибудь приятном. Но о чем? О том, что будет сегодня на завтрак? А что тут думать-то? «Кирза» (овсянка). О весточке из дома? Дома вроде все нормально. Ждут! А друзья пишут все реже. Ясное дело, у них там свои заморочки, которые нам из нашего солдатского далека и не понять. О подружках и говорить не приходится...

А мы и не говорим о них. Зачем? Лишь душу бередить? Само наше неизбежное и долгое пребывание здесь, откуда и в отпуск-то не вырваться, раз и навсегда ставило крест на нашем прошлом и на каком-либо продолжении его, так что стисни зубы, солдат, и терпи. Это твоя жизнь замерла, остановилась, а ее, подружки твоей (или теперь уже

бывшей подружки твоей) – летит, бурлит. Уже – первокурсница («Ах, какие преподаватели!», «Ах, как все интересно!»). Уже (не успела оглянуться) – на втором курсе. Сокурсник провожает ее домой, рядышком сидят в читалке...

Тррам-тррам-тррам! – как молотом по голове.

И какое же благо «Шагом марш!» Не идем, а плывем. Лишь изредка чиркнет о булыжник чья-то неловкая подковка. Но благо это продолжается недолго, до следующего поворота, что у озера. И снова как наказание: «Бегом марш!»

Ну почему, старшина, ты не жалеешь наши сапоги? Сам же говорил, что надо беречь казенное имущество.

Ох, уж этот старшина! Сухой, поджарый, с вытянутым застывшим лицом и с низко, на самые глаза опущенной фуражкой – для того, наверное, чтобы казаться построже. Это его «построже» проявлялось главным образом в казарменном бдении: койки чтобы – одна к одной, полы надраены, исправно (в холодное время) топились печи-голландки. Зимой пихали мы в них бри-

кет – спрессованный бурый уголь («*Rekord*», как сейчас помню) с утра до вечера.

Печи-голландки... Об этом отцы-командиры особенно не распространялись, но мы-то знали, что казармы наши – длинные, приземистые – это бывшие мастерские компании Сименс, сотрудничавшей с нацистами в годы войны. От того Сименса здесь, понятно, ничего не осталось, разве что печи-голландки...

Тррам-тррам-тррам!

Вот и лес. Разбредемся, кто куда. Лес, как я уже говорил, это – ощущение свободы. Сильное чувство!

И черники наберем. И полопаем ее вдоволь. И здоровым воздухом подышим. Красота!

Но уже доносится (неужто час пролетел?) далекое, как с другого берега:

– Рота, строиться!

Щас! Успеется. Еще пару ягод. А ягод этих в то лето выдалось не меряно.

Один за другим подтягиваемся в строй, какие-то совсем другие, посветлевшие, посвежевшие, хохоча и тыча пальцем друг в друга: у кого губы чернее, тот больше ягод и слопал. Вроде все. Вон еще Орех.

– Орех, давай скорей!

Орех – прозвище. Фамилия – Орешин. Запыхавшийся, пристраивается рядом со мной:

– Отсыпь чуть-чуть, – показывает полупустой котелок.

– Че, не набрал?

– Споткнулся о корягу, рассыпал...

– Ну, ты даешь! Ладно, возьми чуть-чуть. Саш, – толкаю Красненко. – Отсыпь и ты. Надо же выручать Ореха.

Красненко – сибиряк. «Хозяйский глаз и круглое колено», как мы его называли. А повод сам дал. Как-то зашел разговор о том, что важнее всего в жизни мужчины. Он и изрек эту сакраментальную фразу: хозяйский глаз и круглое колено. Хозяйский глаз – значит, мужик должен быть полновластным хозяином в доме, а круглое колено – добрая, послушная жена. Философ!..

Высоченный, а сапоги носил, смешно сказать, 38-го размера. И как на ногах держался? И шаг у него был короткий, куцый,

совсем не строевой. Да и не любил он строевую подготовку. Впрочем, кто ее любил? И еще постоянно хмурился. Вот и сейчас насупился:

– Ему бы только орехи и собирать.

Но ягод отсыпал.

– Рота, смирно! – командует старшина.

В лесу? Смирно? Чудной ты, старшина!

История его угадывалась безошибочно. Отслужил срочную, вернулся домой, в свой колхоз. Огляделся. Снова коровам хвосты крутить? Нет уж, и заспешил в военкомат: хочу на сверхсрочную. Знал ведь, служба сверхсрочника не пыльная. Обувка, одежда, питание, деньги, какие и не снились колхозникам, ежегодный 45-суточный (без дороги) отпуск. Словом, все, как у офицера, ладно, что образования всего-то семь классов. А тут еще и повезло: набор в Германию. А Германия – это двойной тариф: дойчмарки и (на сберкнижку) – рубли. И возможность прибараклиться, что в условиях тотального товарного дефицита в СССР считалось сверх удачей. Так оказался он в полку связи. В радио, правда, ничего не смыслил. Да от него, начальника казармы, этого и не требовалось...

– Напра-во! – команда. – Шагом марш!

Щас последует: «Запевай!» И запоем. Настроение у нас что надо: «Жил да был черный кот за углом...»

Знали, старшина не любил эту песню, считал ее несерьезной, не строевой. Но мы же, опять-таки, не на плацу. Мы – в лесу. А в лесу можно и расслабиться, и спеть, чего душа пожелает. Про того же черного кота. Кстати, песенка самая, что ни на есть строевая. Под нее и шагалось легче, и настроение поднималось, словно дома побывали...

А компот из черники получился на славу. Нам его несколько дней подавали, потом сказали:

– Хватит!

– Черника, что ли, закончилась? – недоумевали мы. – Так мы ее снова наберем.

– Отставить! – отрезал старшина, стрельнув глазами из-под лакированного козырька. – Черникой будете зимой баловаться.

Словом, потянулись обычные армейские будни с их подъемами и отбоями, дежурствами и караулами¹, долбанием морзянки² и неизменным утренним тррам-тррам-тррам.

А тут как-то после подъема объявляют:

– Всем собраться в ленкомнате³.

Мы переглянулись: с чего бы это? Срочное объявление, политинформация? Такое бывало.

Усаживаемся за столы с аккуратно разложенными на них подшивками газет, журналов: «Советская армия», «Советский воин», «Красная звезда», «Комсомольская правда»... – в окружении плакатов и стендов о Вооруженных Силах СССР, о боевом пути полка, ленинских цитат и выдержек из решений партсъездов...

Напротив, за столом – ротный (командир роты), начмед в белом халате поверх френча.

– Ну вот, – совсем не по-военному начал начмед.

Он недавно в нашей части, прибыл по замене. Почему-то мы его недолюбливали. Наверное, потому, что прибыл он с молодой медсестрой: красивая – спасу нет! Коротенький белый халатик...

– Так вот, – продолжал начмед. – Вы собирали в лесу чернику, две недели тому назад, и ваш Орешин... Орешин, встаньте!

Орешин поднялся, бледный, потерянный.

– ... подцепил триппер.

По рядам брызнул смех.

– Ничего смешного, – как можно строже сказал начмед. – В тот день кто-нибудь из вас видел немку на велосипеде?

– Не-е-е, – загудели мы.

– А немка-то оказалась заразной, – нагнетал он. – Ее специально к вам подослали.

– Да не видели мы ее!

– На хрен она нам нужна!

– Вот именно на хрен, – ухмыльнулся ротный. Он вообще любил подшучивать, при случае мог смачную присказку вкрутить,

¹ Охрана воинской части и ее объектов.

² Азбука Морзе.

³ Помещение в казарме для проведения собраний, политзанятий.

анекдот травануть. Такой он был, наш ротный, капитан Кашин. Может, в фамилии и заключалась разгадка легкости его характера. Мы, действительно, редко видели его раздраженным. Да это и не шло ему, что он и сам наверняка знал, потому как в крике мягкий баритон его срывался на такой дискант, что ему наверняка становилось неловко за себя. А нам – за него...

– Что ж, – протянул начмед и стал натягивать резиновые перчатки. – Тогда по одному ко мне.

– Насилие над личностью! Протестуем! – зароптали мы, не переставая ржать.

– Ладно, мужики! – выходя из-за стола, сказал ротный, ухмыляясь. – Надо – значит надо.

Что было делать? Расстегнули ширинки (в ленинской-то комнате!) и двинулись к начмеду. Дело обычное. Уж сколько раз приходилось спускать трусы, кальсоны перед разными начмедами – в военкомате, на сборных и пересыльных пунктах. Армия – штука суровая, мужская, и твои мужские достоинства в такой же мере принадлежат ей, как и ты сам...

– Орех, ну ты дал! Расскажи хоть, как дело было? – пристали мы к нему, рассаживаясь в курилке (вокруг вкопанной в землю бочки из-под солярки или бензина – такой, как сказали бы сегодня, корпоративной пепельницы).

– Да как, как? – вполне освоившись со своим положением, начал он. – Забрел я далековато. Смотрю, у лесной тропинки немка с велосипедом возится. Цепь слетела. Ну, я естественно, вызвался помочь. «Я-а, я-а-а!» – защебетала она. Ну, в смысле «Да-да».

– Знаем, знаем, – нетерпеливо загалдели мы.

– Я быстро поправил. – Орех явно тянул резину. – «Данке шён!», – прощебетала она и чмок меня в щеку, ну и как бы собирается уезжать. Я слегка придерживаю ее за руку и показываю на чернику в котелке: дескать, угощайтесь, мамзель. Она снова: «Данке шён!»

– Да что ты разданкался? – не сдержался хмурый Красненко.

– Сами же просили рассказать, – притворно обиделся Орех. – Ну, в общем, берет она одну, другую ягоду: «Гут, гут!» Я тоже беру одну, другую, а следующую придерживаю в губах и несу к

ее губам. Она секунду помедлила и принимает мою ягоду, и мы целуемся.

– А ты, молодой, как тут оказался? – наорали мы на невесть откуда взявшегося первогодку Ляликова. – Рано тебе еще такие вещи слушать!

– Да ладно вам, – обидно заворчал Ляликов, отходя в сторону, и лицо его по-юношески зарделось. Вообще, румянец не сходил с его щек. В благодатных местах, видать, обитали его предки, да и он сам. Служба, правда, у него не ахти как складывалась, зато на утренний осмотр становился одним из первых: не нужно было бриться. Да и что брить-то на девственных-то щеках?..

– Ну, а дальше? – мы снова – к Ореху.

– Дальше? – наигранно вздохнул он. – Снова подношу ягоду к ее губам, и мы снова целуемся.

Ну и?

– Что «ну и»? А-а...Во-о! – и он торжествующе поднял большой палец...

Из курилки расходились молча. Что-то с командой на завтрак медлят... А киселя из черники наверняка и сегодня не дадут...

Велосипедист Бойко

Ах, какое чудесное летнее утро! Чистое, светлое. За глухим дощатым забором, словно дразня нас, кувыркается молодое солнце, то за один ствол дерева спрячется, то за другой. А небо высокое, огромное, аж до самой России...

Топаем на плац. Плац наш, надо сказать, был не совсем обычный, то есть не общепринятый стандартный бетонный квадрат, а являл собой, по сути, огромный, хорошо ухоженный газон, заасфальтированный лишь по периметру. Наверное, во всей ГСВГ, а уж в нашей 2-й танковой армии точно он был единственный таковой, что подмывало любителей шагистики из соседних частей позлословить, мол, недооценивают в полку связи строевую подготовку.

ГСВГ... Сегодня многим наверняка и неведома сия аббревиатура, поясню: Группа советских войск в Германии. «Так,

группа», – скажет кто-то. Но мы, представлявшие ее, хорошо знали, что она есть такое, и понимали, зачем мы здесь: впереди – натовская группировка, за спиной – братья славяне и Великая страна...

Так вот, о шагистике. Пройти коробочкой, локоть к локтю, развернуться в движении на сто восемьдесят градусов – это мы могли. А большего от нас и не требовалось. В конце концов, не рота же мы почетного караула. Сам командир полка частенько говаривал, что главное для нас – связь. Надежная. Круглосуточная. Да и времени недоставало на эту самую шагистику...

Командир полка, как всегда, задержится. Минут на десять-пятнадцать. Видимо, считал не по статусу для себя появляться на плацу тут же, вслед за всеми. Он потом выкатится: щекастое пунцовое лицо, выдающийся вперед живот (при небольшом-то росте) – помидор, да и только, как прозвали его наши предшественники, кои давным-давно уже на гражданке, обременены сугубо житейскими заботами и уже позабыли, кто такой Помидор.

Хотя вряд ли. Все, что связано с армией, у каждого, служившего в ней, надолго западает в памяти. Если не навсегда. Вот и мне нет-нет, да и привидится та или иная армейская картинка. Причем, чаще всего забавная. В этом, наверное, и состоит жизненная мудрость: со временем из памяти, да и из сердца выветривается все плохое, грустное (А солдатская служба, да еще за кордоном, ох, как грустна!) и остается только светлое, доброе.

Выкатится комполка и первые его слова будут: «Учереашний день.... Военный совет...»

В переводе на нормальный язык это означало: вчера состоялось заседание военного совета армии, на котором был рассмотрен ряд важных вопросов, и о некоторых из них он хотел бы нас проинформировать. Что такое «некоторые из них» мы, в общем-то, знали: различные ЧП в частях (увечья, повреждение техники, имущества), козни вражеской пропаганды, предстоящий визит высокого воинского начальника, неблагоприятное по отношению к местному населению поведение нашего брата...

Это его «учереашний день» доводило меня до коликов.

Но вот – неожиданность: комполка уже на плацу. И не в центре, как обычно, а в стороне. Рядом с ним – его замы, комбаты, другие офицеры и... немецкие полицейские с овчарками.

– Дело пахнет керосином! – проронил стоящий рядом со мной Соколов. Соколов – щеголь: гимнастерка – в обтяжку, штаны заужены (как умудрился?), пилотка – набекрень. Таким, вероятно, он был и на гражданке: любителем покрасоваться. На гражданке – понятно: перед девочками. Но тут-то...

– За кем-то из нас пришли, – многозначительно заключил он.

– Оцэ дило! – аж присвистнул Балацкий. – И шо им надо?

– Разговорчики! – строго взглянув на строй, прикрикнул взводный, старший лейтенант Терентьев. Прикрикнул, конечно, так, для виду, хорошо понимая, что разговорчики все равно не прекратятся: уж больно пикантная картина разворачивалась перед нами.

– Какое вообще они имеют право заходить на нашу территорию? – проворчал Красненко. – Да еще с собаками.

– Имеют, имеют, – резюмировал взводный. – Сейчас узнаем.

Взводный наш, Терентьев, был единственный в полку из офицеров – москвич. Тоненький, беленький и даже какой-то флегматичный. Да все у него будет нормально. После Германии – домой, в Москву, а там и нужное местечко найдется...

– О! Герой-свинопас! – выкрикнул кто-то в задних рядах, и мы, невольно улыбнувшись, повели взглядом в сторону ворот, через которые въезжала повозка с важно восседающим на ней громилой Подопригорой.

История тут такая. Съездил Подопригора в отпуск. Смог ведь! На побывку нашему брату ох, как непросто было вырваться, даже очень непросто. Но ведь смог. Знать, водил дружбу с интендантским начальством. А спустя какое-то время в отпуск отбыл его земляк, опять-таки сверхсрочник-«макаронник», и, естественно, Подопригора попросил того заскочить к его родителям и передать им гостинец. Что земляк и сделал и буквально был ошарашен тем, с каким почтением односельчане отзывались о служивом Подопригоре. Он-де чуть ли не главный человек в полку, и сам командир время от времени обращается к нему за

советом. А однажды на учениях якобы спас генерала, машина которого перевернулась: на себе притащил генерала в медсанбат, за что тот пообещал представить его к награде и дать капитана. Вот трепло!..

– А лошадка-то умнее его: сама дотащит тачку до столовой и обратно – на хозблок.

– На свинарник, – уточнил кто-то.

– А мясо и сало откуда? – буркнул Балацкий.

Взводный снова как бы нехотя покосился на строй.

Полицейские ушли. Комполка покатился в центр плаца – краснее красного. Представляю, **каково видеть его такого совсем** рядом. Как рассказывали те, на кого он обрушивал свой гнев (в основном – на офицеров и «макаронников»), чем сильнее раскалялось его лицо, тем явственнее проступал на щеке глубокий продольный шрам. Тут уж поневоле во всем сознаешься и покаешься. Хотя, в принципе, относились к нему все нормально. Потому уже, что в полку он был единственный фронтовик. Подполковник Нещерет.

Не буду воспроизводить его «пламенную» речь, это, как понимаете, совершенно невозможно. В общем, суть дела такова. Вчера кто-то из наших, будучи в увольнении, украл у немки велосипед.

Украл! Слово, вообще неприемлемое для немцев, чей менталитет – не тронь чужого! – формировался веками. Потому и привыкли жить, не запирая дома, не пристегивая те же велосипеды к заборам.

Следы привели в наш полк. И теперь предстояло вычислить: кто?

– На все про все – час! – отчеканил комполка.

Вычислить воришку из двенадцати человек, побывавших во вчерашнем увольнении, труда не составляло. Один из них, Борис Бойко, сам во всем и сознался. Объяснил это так: опаздывал в часть, увидел стоящий у магазина велосипед и решил воспользоваться им. Когда же понял, что совершил что-то неладное, испугался, свернул к озеру и запустил велосипед в воду.

Бойко был из соседней роты, и мы его мало знали. Слышали только, что радист он классный и что почти безвылазно торчит

на армейском узле связи. А туда бездарей не берут. И вот нате вам...

Велосипед нашли быстро. Тут же доставили его полицейским, а те, в свою очередь – пострадавшей. Уж не знаю, как командование выкручивалось из ситуации, но до суда, по крайней мере, дело не дошло. Естественно, пострадавшей возместили материальный ущерб: мало ли какая неисправность могла обнаружиться у велосипеда после многочасового пребывания в воде. Возместили и моральный ущерб. Немцы в этом плане народ щепетильный.

Как-то Балацкий на своем ЗИЛе слегка, совсем чуть-чуть задел на повороте ехавшую на велосипеде пожилую немку. (Опять велосипед и опять – немка!) Хотя, скорее всего, она сама, завидев громадину-ЗИЛ, не справилась, как говорят в таких случаях с управлением, тыркнулась колесом в бордюр, ну и, понятное дело, свалилась.

Тут же подросли полицейские, скрупулезно все осмотрели: место происшествия, велосипед, саму пострадавшую, – и составили грозный протокол. Виновнику предстояло оплатить не только ремонт велосипеда (две царапины на крыле), не только лечение расшибленной немкиной коленки (ладно бы хоть молодой коленки), но и стоимость порванных колготок и, что нас вообще изумило, перенесенный ею испуг. Да, у немцев так: напугал – заплати!

Заплатили. Воинская часть заплатила. А Балацкому дали пять суток гауптвахты. Правда, уже через сутки выпустили: приближался техосмотр, и кому, как не ему приводить свой ЗИЛ в порядок.

Борису Бойко дали десять суток.

Нам он потом все иначе рассказывал:

– Ужас как захотелось прокатиться на велосипеде. Два года ноги педалей не знали. Сел – и ничего, поехал.

– Зачем же было топить его? – допытывались мы. – Вернул бы на место.

– Была такая мысль. Но как представил, что там, у магазина, меня уже ждут полицейские и та немка. Как бы объяснил им, что просто захотелось покататься?

– Оставил бы велик у другого магазина или у аптеки, да мало ли где. Полицейские тут же нашли бы его.

– Не сообразил.

– Дурак ты, Бойко! – констатировал Соколов и рассказал другую историю.

Я знал эту историю. Он и бульбаш Сидорович. Бульбаш, потому что обожал картофельное пюре и лучшим для себя нарядом (армейский термин) считал наряд на кухню, где такового можно было поесть вдоволь. Был случай, правда, давний, еще по первому году его службы, когда, вернувшись из очередного кухонного наряда, он прихватил с собой (и как удалось?) полбачка этого самого пюре и спрятал его под кроватью. То-то смеху было. А что смешного? Ну любит человек картошку, не насытится ею...

Так вот, блуждали они с Соколовым по лесу в надежде сбагрить женские часики, привезенные тем же Сидоровичем из отпуска («крабы», анодированные, модные тогда), и наткнулись на одиноко стоящий дом. Обошли все два его этажа: «Камрад! Камрад!» Ни души. Так и ушли, ни к чему не прикоснувшись.

– Вот вам крест! – божился Сидорович.

Где в это время были домочадцы? В поле? В лесопитомнике? Работали...

Не могу представить, как сегодня живет немцам, теперь уже в объединенной Германии, наводненной мигрантами, «обласканной» российской мафией и запуганной терроризмом. Наверняка заборами стали огораживаться...

Мама, я хочу домой!

Прежде мне не приходилось видеть генерала. Да и полковники не часто встречались. Наш командир полка Нещерет, например, ходил в подполковниках. Понятно, ждал третью, полагающуюся ему по должности звезду на погоны. А там уже будет легче. По крайней мере, на Север или куда-нибудь в Забайкалье не отправят, а уж точно – в один из центральных военных округов. Такое правило тогда было: после загранки – не далее Урала.

Еще мы знали полковника Сидоркина, начальника связи армии. Во, зверь был! Его у нас все боялись, за исключением, конечно, командира полка. Тот никого не боялся. О прибытии Сидоркина, едва он миновал КПП, мы тут же узнавали и невольно настораживались. Возникнуть он мог где угодно: в учебном классе, в салоне радиостанции, в аппаратной, – и непременно к чему-нибудь прицепится. Телеграфный ключ плохо закреплен (болтается), не отрегулирован телеграфный аппарат, антенные растяжки небрежно уложены... Так, по мелочам. Строил из себя такого связиста № 1. Не любили мы его...

А тут – генерал. Голубая шинель с шитыми золотом погонами, два ряда золотистых пуговиц, красные лампасы. Высокий, статный. Говоров! Да, тот самый: сын маршала, Героя Советского Союза Говорова, что на маршальской групповой фотографии рядом с Жуковым. До высот отца младший Говоров, забегая вперед, не дотянет, но четыре генеральские звезды получит. И звезду Героя. За что, про что, не знаю... Но это потом. А тогда, в конце 60-х, он был просто генералом. Генерал-майором. Ну и при соответствующей должности: начальник штаба 2-й танковой армии.

Однако ж в свои сорок. Во всех Вооруженных Силах СССР он был, пожалуй, самый молодой генерал. Рассказывали, на банкете по случаю присвоения ему генеральского звания подошел к нему один из штабистов и в довольно фамильярной форме, насколько это позволяла обстановка, выпалил:

– Вот вам, Владимир Леонидович, сорок, и вы уже генерал. Мне тоже сорок, а я все еще капитан.

– Служить надо лучше! – взвизгнул кто-то из окружения.

Говоров знаком руки одернул взвизгнувшего, и уже на следующий день капитан тот стал майором.

Но, как известно, солдату нечего робеть перед генералом: где он и генерал? Для генерала солдаты – так, перманентно изменяющаяся масса: сегодня одни, завтра другие. И, тем не менее, бытовало крепкое поверье: генерал для солдата – что отец родной. Даже этакий либерал. По крайней мере, никогда не станет распекать по мелочам, тем более, новобранца. Подумаешь, немелко честь отдал. Подумаешь, гимнастерка плохо заправлена.

Лишь пожурит отечески. А вот офицеру врежет: «Лейтенант, плохо подчиненных воспитываете!»

Особым почтением у генералов пользовались ефрейторы. Ефрейтор (желтая полоска на погоне – лычка) в иерархии воинских чинов самая низшая командирская ступень, типа старший солдат. От генерала ефрейтора отделяют тринадцать таких ступеней. Тринадцать! Мистика, да и только. Неспроста поэтому ефрейтора называют тринадцатым заместителем генерала.

Говоров наезжал к нам частенько: в преддверии армейских учений, когда и генеральское напутствие не будет лишним, на подведение итогов инспекторской проверки, просто по случаю праздничной даты – Дня Победы, 23 февраля, дня части. Судя по всему, он курировал наш полк, что, в общем-то, было логично: штаб и связь – неразделимы. В данном случае штаб армии и армейский полк связи, коим мы и являлись. Назову и полное название его: 5-й отдельный гвардейский Демблинско-Померанский орденов Александра Невского и Кутузова полк связи. Титулы и регалии – признание боевого пути полка.

Вот и снова Говоров пожаловал к нам. После ужина (селедка с картофельным пюре, теплый чай) велели собраться в клубе. После, сказали – кино: «Неуловимые мстители». Так что уж не знаю, чего больше мы ожидали: генерала или киношку.

В последнее время то ли по инициативе Тихони, как мы называли завклубом (Неприятный был человек: ходил неслышно, по-кошачьи. Что за сапоги у него такие были?), то ли по указанию комполка, что всего вернее, нам все чаще стали «крутить» кинокомедии. Понятно, чтобы жить нам, солдатушкам-ребятушкам было веселей.

Так вот, про Тихоню. Бывало, стоим в курилке или где-нибудь в тенечке, глядь – он. Как, откуда взялся? Зыркнет тусклыми глазками и засеменит дальше, словно он не кадровый офицер, а солист ансамбля «Березка». Да и фамилия у него была соответствующая: Марфушин. Даже честь не хотелось ему отдавать. Мы и не отдавали. По крайней мере, «старики». А он делал вид, что не замечает этого.

Приехал Говоров не один. По дороге заехал в гарнизонную кутузку и забрал наших «героев». Человек пять или шесть – сер-

жантов, рядовых. Один попался в самоволке у озера, причем совершенно по-дурацки: спрятал штаны и гимнастерку в кустах и развалился на травке рядом с немцами (немками), полагая, что патрули (а они вдоль озера так и шастают) не догадаются, кто он. А то, что на руке синело «Вася», не учел. Вот на этом «Вася» и попался. Другой – «загнал» немцам канистру бензина. Третьего обнаружили спящим на посту. Был тут и Бойко, тот, который угнал немкин велосипед.

Говоров по одному поднимал их на сцену и – давай... Нет, не чихвостить, а, как бы это сказать точнее, стыдить. Заводил примерно такой разговор:

– Откуда родом, боец?

Тот отвечал.

– Расскажи про свой край, город.

Тот, ничего не подозревая, рассказывал.

– Вот видишь, какая легендарная твоя земля! Что же ты позоришь ее? Землю потомственных металлургов, хлеборобов... Позоришь своего деда, отца-фронтовика.

Гауптвахтники – в смятении. Да и нам, сидящим в зале, тоже было как-то не по себе: уж больно проникновенными были его слова.

И еще объяснял, зачем мы здесь. Затем, что там, по ту сторону западной границы – они. И весь сказ.

Это было время холодной войны, войны нервов. У той, другой стороны они однажды дрогнули, когда в одночасье (13 августа 1961 года) оказались за бетонной стеной. Тут же двинули на нее танки, бульдозеры. Но с этой стороны уже стояли наши танки. С полным боевым комплектом...

Нам вообще казалось странным: Советский Союз, США, Англия и Франция сообща добивали гитлеровцев, и теперь – враги...

Потом Говоров приехал на подведение итогов инспекторской проверки, завершившейся опросом личного состава, причем, каждой его категории в отдельности. Была такая форма армейской демократии.

Выглядело это так. Полк выстраивается на плацу. В центре, на лужайке – генерал Говоров со свитой, полковое начальство. Комполка командует:

– Командиры батальонов и заместители командиров батальонов – тридцать шагов вперед. Командиры рот и заместители командиров рот – двадцать пять шагов вперед. Командиры взводов – двадцать шагов вперед. Старшины, сержанты – пятнадцать шагов вперед. Шагом марш!

Солдаты – на месте.

К ним Говоров в первую очередь и направился: как случится, есть ли жалобы, что пишут из дому?

Так вот, подходит он, как потом рассказывали, к Димке Громыко. Громыко – видный, длинный и, кстати, ефрейтор. Может, потому Говоров и выбрал его. Димка, естественно, по стойке смирно, отрекомендовался.

– Громыко? – удивился генерал. – Родом откуда?

– Из Гомельской области, товарищ генерал.

– Понятно! – протянул удовлетворенно Говоров.

– У нас полдеревни Громык, – продолжил, польщенный генеральским вниманием Димка.

Говоров улыбнулся:

– А скажите, ефрейтор Громыко, вам как радисту, какие сигналы легче принимать: низкие или высокие?

– Низкие, товарищ генерал.

– Почему?

– Не знаю, товарищ генерал.

И Говоров прочитал ему, да и всем, кто был рядом, целую лекцию о физиологии уха.

«Умный такой!» – с восторгом потом отзывался о генерале Димка.

И еще Говорову приглянулся Ляликов: выглядел тот уж очень юно – совсем ребенок. Говоров почему-то поинтересовался его портянками: чистые, мол, не рваные? Ляликов, огненно смутился:

– Никак нет, товарищ генерал, не рваные!

– Ну-ка снимите сапог.

– Какой, товарищ, генерал?

– Любой.

Честно, неловко было смотреть, как Ляликов, прыгая на одной ноге, снимал сапог с другой.

– Он еще б кальсоны проверил, – съехидничал кто-то в нашей, сержантской шеренге, наблюдая за происходящим.

– Они уж точно без завязок. Или – с одной.

– Еще и в столовую зайдет – солдатских щей похлебать.

– Показуха все это.

– А то не знаешь. Забыл, как дерном газоны у штаба устилали...

Говоров, видимо, удовлетворенный состоянием портянок Ляликова, двинулся дальше.

А дальше было еще прикольнее. Кто-то из молодых солдат пожаловался, что вот уже полгода не слышит трансляции Гимна Советского Союза. А и вправду, как ее услышать? Здесь шесть утра (подъем), в Москве – восемь, гимн отзвучал. У нас – отбой (десять вечера), в Москве – полночь, гимн опять отзвучал. Генерал задумался. Велел подать ему завклубом. Тот мигом подскочил на своих неслышных сапожках.

– В общем, так, – приказал ему Говоров, – трижды в неделю приглашайте рядового (назвал фамилию) в кинорубку и «крутите» ему гимн.

Анекдот, да и только! Хотя, должен сказать, эпизод тот не остался не замеченным, и гимн СССР в полку стал звучать чаще: по всем торжественным случаям и поводам.

А генерал уже направляется к нам, сержантам. Мы с Красненко стояли рядом, и вопрос у нас был один: отпустят ли поступать в вуз?



Дело в том, что накануне мы с ним окончили курсы офицеров запаса, что давало нам право на поступление в вуз и, следовательно, на досрочное (на три-четыре месяца раньше) отбытие в Союз. Чем не счастье! Даже если не поступим, дослуживать будем в ближайшем тамошнем гарнизоне. А это, считай, уже дома! Но ходили слухи, что отпускать срочников из-за границы для поступления в вузы больше не будут. Так ли это?

С Красненко мы договорились: к кому первому из нас подойдет генерал, тот и обратится к нему с вопросом. Говоров остановился напротив меня. Я, естественно:

– Начальник радиостанции, гвардии старший сержант... – и смотрю ему в глаза. Он тоже смотрит мне в глаза, что меня немало удивило: обычно офицеры при приеме рапорта или доклада смотрят куда-то мимо.

– Какой радиостанции? – спрашивает он.

– Эр-112-й, тропосферной, товарищ генерал.

Он повернулся к стоящему рядом начальнику связи армии Сидоркину.

– Таких станций две, – пояснил тот. – Одна в Вюнсдорфе, в штабе Группы¹, другая здесь, в полку связи. Это совершенно новые станции, на двух машинах.

– Ну и как станция, надежная? – снова обращается ко мне генерал.

– Надежная, товарищ генерал.

Не стану же я рассказывать ему, как мы намучились с ней. И кому там, наверху пришло в голову использовать ее как передвижной вариант? Абсолютно стационарный. Только на разворачивание антенны (подъем огромного дюралевого куба на 12-метровую высоту) требовалось по нормативам двенадцать часов. И столько же – на сворачивание. Два-три раза повозились мы с ней, и начальство сказало: «Хватит! Переходите на резервную». Слава богу, была и такая, телескопическая антенна. И оказалась она ничуть не хуже (по дальности связи) дюралевого куба. К тому же с ней можно было работать в движении.



¹ Штаб Группы Советских войск в Германии.

– С кем держите связь?

– С узлом связи Группы, с армейскими частями и соединениями, с батальоном связи армии ГДР... – А у самого одна мысль: как бы перейти к нашему с Красненко вопросу.

– Это хорошо! – одобрительно заметил генерал. – Письма домой пишете?

– Так точно! – товарищ генерал.

– Последний раз, когда написали?

– Неделю назад, товарищ генерал, – соврал я.

Он пронизательно посмотрел на меня: конечно же, не поверил. Да и знал наверняка, что на последнем году службы солдаты редко пишут письма – домой, друзьям. Все мысли о дембеле¹.

– Товарищ генерал, разрешите вопрос.

– Вопрос? Пожалуйста!

Я объяснил ему суть нашей с Красненко ситуации. Он некоторое время помолчал:

– Да, практика такая прекращена. Есть приказ министра обороны...

Тут же к нему приблизился кто-то из свиты:

– Приказ номер... Запретить направление военнослужащих срочной службы из частей, дислоцирующихся за пределами Советского Союза, для поступления в высшие учебные заведения...

Прозвучало как приговор. Вот она, правда! Значит, от нас с Красненко скрывали ее. Почему? Зачем? И что в таком случае я должен был ответить генералу? «Так точно!» «Понял!»

Я промолчал, чувствуя, как сердце словно провалилось. Такое же состояние наверняка было и у Сашки Красненко.

– А то, что окончили курсы офицеров запаса, – продолжал генерал, – молодцы! Стране нужны офицеры. – И пошел дальше.

Свита двинулась за ним.

¹ Дембель – демобилизация (армейский сленг). И другое значение: военнослужащий, увольняющийся из Вооруженных Сил по демобилизации.

Я взглянул на Сашку. Обычно краснощекий, он был блее мела:

– Кинули нас, Колька! А как уговаривали! «Окончите курсы, поедете поступать...»

– Д-а-а. Обидно.

И я понял, нутром, кожей почувал, что служба моя отныне закончилась. Да, я еще могу по привычной команде «Подъем!» вставать, есть, пить, забрасывать калаш за спину, долбить морзянку, но это уже будет не служба. Так, отбываловка. Мама, я хочу домой!..

«Прибыть на КПП!»

Армия без розыгрышей, приколов – не армия. Подшучивали, конечно, над новобранцами, дабы те скорее прониклись службой, загранкой.

Поступил к нам некий Маркин – маленький, щупленький, весь какой-то потерянный. Все у него не ладилось: ни физо (перекладину ох, как не любил, а «коня» вообще боялся), ни строевая – чем выше тянул ногу, тем более получалось вразвалку, ни стрельба. Не вышел из него и радист: что-то упустили отцы-командиры при его отборе или, как бы сейчас сказали, тестировании.

Вспоминаю, как у нас это было. Заходим в класс («А у нас – радиокласс!» – родился потом каламбур), рассаживаемся за столами, с любопытством взирая на привинченные к ним телеграфные ключи – видели их разве что в кино.

– Ну, что? – улыбается старший лейтенант Сысоев (фамилия его сразу запомнилась) – в новеньком, без единой складочки кителе, свежие звездочки на погонах, – будем учиться на радистов?

– Будем! – хватаемся за головки ключей.

– Э-э, – рановато! – сдерживает он наш порыв. – Сначала посмотрим, на что вы способны. – И стал по одному подзывать к себе и тыльной стороной указки что-то выстукивать на столе:

– Повторите!

Как могли, повторяли непонятную нам тарабаршину. Снова отстукивает, и снова нужно было повторить. И так три-четыре раза. И что-то записывает в тетрадку. Потом спрашивает:

– На каком-нибудь музыкальном инструменте играете?

Позднее я понял, к чему такой вопрос: радист все-таки должен обладать музыкальным слухом. В самом деле, не считать же эти самые точки, тире. Каждую зашифрованную букву, цифру «морзянки» нужно воспринимать нараспев, как мелодию. На пример:

Цифра 1: дай по – це – ло – вать; точка, четыре тире (. – – – –).

Цифра 7: дай дай за – ку – рить; две точки, три тире (. . – – –).

Буква Л: лу – на ти ки; точка, тире, две точки (. – . .) и т.д.

В общем, проверили нас, молодых, на точки-тире и на следующий день объявили: таких-то – в радисты, таких-то – в телеграфисты, а таких-то вообще – в линейщики. Линейщик (тяни кабель!) считалась самой не престижной связистской специальностью. Но и без линейщиков было не обойтись.

В линейщики Маркина и определили.

И вот сидим как-то после ужина в казарме – кто подворотничок подшивает, кто расслабившуюся пуговицу закрепляет, кто, притащив из каптерки дембельский чемодан (на втором году службы уже полагался таковой – большой фибровый с наклейками грудастых девиц внутри и видами городов – снаружи), в сотый, наверное, раз складывает-перекладывает содержимое.

– Шмоточки! – ехидничает ротный. – До дыр все протре!е!

– Не протрем, товарищ капитан, – отвечали мы. – Подарки – дело святое.

Да, подарки готовили – родным, близким. Подарки-то заграничные и в некотором роде необычные, тем более на фоне товарного дефицита в Союзе. Поэтому всячески старались сберечь ежемесячные пятнадцать-тридцать марок (солдатские, сержантские), плюс десять-пятнадцать марок – за классность. А на что их еще было тратить? Вот с гарнизонным магазином и дружили...

Золотистая с бахромой скатерть – маме. (Вот она, эта скатерть! До сих пор, как новенькая.) Папка, темно-зеленая с резинками-застежками, извините за тавтологию – отцу, синяя гэдээровская «пионерская» рубашка – брату, прозрачный шарфик – племяннице. Набор многоцветных шариковых ручек (редкость тогда в Союзе), открытки, журналы с фривольными картинками...

Иногда, доставая чемоданы, показывали друг другу фотокарточки подружек, просто одноклассниц. Особенно любил хвалиться фотками своей девушки Пашка Ушаков. Присылала она фотки ему чуть ли не ежемесячно: большеглазая, нежный овал лица. Бывало, разложит их на кровати и приглашает полюбоваться своей зазнобушкой. Мы лишь вздохали: «Да-а...» «Но дура такая! – продолжал самодовольный Ушаков. – Собрала мне посылку, уж не знаю, что там было. Сладости всякие. А посылку на почте не приняли. Нам же сюда, за границу, посылки отправлять запрещено. Она – к заведующей. В общем, унесла посылку домой. Вся в слезах. Дура такая!» – расхохотался.

Мы переглянулись: не смешно как-то...

И вдруг по селектору:

– Рядовой Маркин, срочно прибыть на КПП! Вас ждут родители.

Маркин замер. Глаза счастливо-испуганные. Вскочил и как был, без ремня, в расстегнутой гимнастерке – к выходу.

– Маркин, ты куда?

– Пусть пробежится, – хихикнул Соколов. Собственно, это он и подговорил дежурного по КПП сделать такое объявление. Тот, конечно, понимал, что за такое может влететь, но уж больно велик был соблазн разыграть молодого.

Проходит пять, десять, пятнадцать минут – Маркина нет. Наконец, является:

– Разыграли...

Продолжаем ржать:

– Маркин, неужели ты поверил, что родители – на КПП? Тут же Германия.

– Да нет... Ноги сами понесли. Потом все понял...

Шутка, конечно, грубоватая. Армия вообще штука грубая, чему тут удивляться? Грубы подъемы, караулы, груба шинель,

груб казарменный быт, груба пища (рубон) – закалка тела и души. И все же, как не восторгнуться ей, душе, при словах «дом», «родители»? Это в Союзе солдатам – лафа. К ним и родители могли приехать, и посылку и денежку прислать (к празднику, ко дню рождения). Нам о таком и не мечталось. И увольнения у них как увольнения: кино, танцплощадка. Можно и подружку завести. Опять же на побывку съездить. А отсюда попробуй, выберись. «Слишком накладно!» – твердили нам командиры. – Зато вы экипированы лучше».

Да, сапоги у нас были яловые. У ребят в Союзе – кирза. И ремни у нас были кожаные, у них – кожзаменитель. Еще была у нас шерстянка, как называли мы полушерстяную гимнастерку – на холода. Вот и все наши преимущества. Право же, они меркли перед всем тем, чем были облагодетельствованы, другого слова не найти, ребята в Союзе. Не зря бытовала присказка: «Лучше ходить в кирзе, но в Союзе, чем прозябать в яловых сапогах в Германии»...

Но бывают же такие невезунчики – я все про Маркина. Как-то поутру объявили сначала, понятно, о форме одежды – № 1 (с голым торсом), потом – совсем неожиданное:

- После физзарядки – купание в озере.
- Наконец-то! – загудели мы.

А надо сказать, мы давно просили заменить утреннюю физзарядку, естественно, в теплое время года, купанием в озере. Тем более что располагалось оно совсем рядом, километрах в двух.

Непростое это озеро – Шведтзее – и не просто говорить о нем. Да, гладкое, да, спокойное – словно замерло. Зеленые берега впереди, зеленые берега справа, а налево, где чернеет скульптура (согбенная с обессиленным ребенком на руках женщина), глядеть не хочется. То знак Равенсбрюка – бывшего концентрационного лагеря (чудовищней не придумать) для женщин и детей. За шесть лет, с 1939-го по 1945-й через него прошли около двухсот тысяч узниц – цыганок, евреек, полек, француженок, англичанок, бельгиек... Были там и русские женщины, в основном плененные – военврачи, медсестры, связистки.

Выше я упоминал немецкую фирму Сименс времен фашизма. В цехах ее, что были неподалеку, и использовали подневольный труд узниц – полуголодных, изможденных.

Рядом – крематорий с широкой трубой. Рассказывали, дно озера в этой его части до сих пор устлано пеплом сожженных. Страшное место, пусть это теперь и мемориальный комплекс. Не глядеть бы в его сторону!..

Прибегаем, сбрасываем сапоги, штаны и – с криками и визгами с мостков – в воду. И надо же было такому случиться: кто-то в прыжке угодил Маркину ногой в голову. Тот забарахтался, захлебнулся. Вытащили. Бледный, с дрожащими губами. О случившемся, естественно, доложили командиру полка.

– Всё! – сказал он. – Отныне никаких купаний.

Конечно же, купались: будучи в увольнении, просто отлучаясь в автопарк, от него до озера – рукой подать...

«Прибыть на КПП!..» Я уже не про Маркина, а о команде как таковой. Команда – обычная, селекторная: то дежурных по ротам к начальству вызовут, то срочно кто-то из офицеров или «макаронников» потребует. И лишь однажды звучит она... Господи, какие слова! Вслушайтесь: «Отбывающим на Родину прибыть на КПП!»

Сердце замирает.

Но прежде должен был появиться приказ о демобилизации – приказ Министра обороны СССР. Надо сказать, появлялся такой (дембельский) приказ каждый год в одну и ту же дату: 3 сентября. Это было железным правилом Вооруженных Сил. Поэтому когда «старики» восклицали перед отбоем «До дембеля осталось... столько дней!», они твердо знали, что именно столько дней – ни больше и ни меньше...

«Отбывающим на Родину прибыть на КПП!»

Только не надо думать, что в казарме начиналось что-то невообразимое: крики, возгласы. Ничего подобного. Дембеля – серьезней серьезного и даже какие-то сосредоточенно-напряженные, словно все еще не верят в свершившееся. (А вдруг последует команда «Отставить!»?) Молча, деловито поднимают они свои чемоданы и, не спеша, направляются к выходу. Мы – следом. Нет, мы не завидуем им, мы просто радуемся за них. Отслужили свое ребята...

А накануне казарма практически не спала. Каждому хотелось чем-нибудь услужить дембелю: подшить подворотничок,

китель отгладить, бляху отдраить, ту же «гармошку» на сапогах смастерить. Была тогда такая мода на дембельские сапоги: в гармошку. Были и мастера на сей счет. Делалось «гармошка» просто: с помощью раскаленного утюга. Ну, и еще нужны были сильные руки.

Старшина, понятно, будет ворчать, мол, утюг угробили. А то не понимает: дембель должен выглядеть с иголки. Сам что ли не служил срочную? Кстати, о сапогах: новехонькие. Будто только со склада. На самом же деле выдали их еще полгода назад. Но так принято было у дембелей: донашивать старые, битые-перебитые, а новые держать уже до дому.

Не обходилось и без хохм. Был в роте старослужащий Полушкин. Рядовой. Даже до ефрейтора не дослужился. Так ему сами же «старики» втихаря нашили на погоны лычки младшего сержанта, пусть, дескать, покрасуется в деревне перед девчатами. Командиры только отводили глаза, усмехаясь...

Но вот дембеля построены у КПП (последнее их построение). Вот уже отзвучали напутственные слова командиров, благодарность за службу. Выдан сухой паек (до Союза добираться суток двое, не меньше).

– По машинам! – команда.

Неуклюжие объятия. Да просто барабанили друг друга по спине, пряча увлажненные глаза.

Вот они уже миновали КПП (в последний раз). Протяжный рев клаксона. Прощайте!

Следующие – мы...

А Маркин, к нашему удивлению, оказался отличным стрелком. Когда выезжали на стрельбище, пусть и не так часто, как хотелось бы, в соседний мотострелковый полк, валил мишени одну за другой – лежа, с колена, на ходу. Как потом признавался, на гражданке не расставался с мелкашкой. Маркина хвалили, ставили в пример. А как-то на совместных с гэдээровским батальоном связи соревнованиях по стрельбе командир его вручил ему какой-то приз и спросил при этом, не сибирский ли он охотник.

– Нет, – отвечал Маркин. – Я из Ярославля.

– Ярославль, Ярославль! – закивали он, деля вид, что знает такой город.

Угощали нас наши гэдээровские коллеги сигаретами, кругленькими, с фильтром, а мы их – своими, махорочными.

– *Гут, гут*, – задыхаясь, кивали они.

Мы с ними – ровесники: по двадцать с хвостиком. И, значит, их и наши деды и отцы, по крайней мере, многие и многие из них бились в войну один против другого. А сегодня мы, внуки и дети их, рассевшись на пригорке, вместе раскуриваем сигареты...

А еще был случай...

Случай вообще нелепый, если не сказать – комичный.

Прибыли мы на учения. Тут же, естественно, сбежалась местная немчура:

– *Абцайт! Абцайт!*» (Значок! Значок!).

Дело обычное. У каждого из нас на такой случай всегда была припасена пилоточная звездочка или погонная эмблема: «*Бум-те!*» (Пожалуйста!)

Ну и занялись своими спешными делами: антенны, движки, кабельные, телефонные сети.

Примерно через час – общее построение, как это принято было после разворачивания узла связи. Суть построения – проверка наличия документов (военный, комсомольский билеты), снаряжения: автомат, подсумок с рожками, противогаз. И тут выясняется: рядовой Стежкин – без автомата. Боже! Больно на него глядеть было: сиротинушка, да и только.

Комбат Ермолаев – в бешенстве. Его и без того пепельно-серое лицо стало черным.

– Где автомат? – за шкирку Стежкина.

Тот, трясясь, объясняет:

– Примкнул в кабине «уазика». А куда потом делся, не знаю...

– Разжалую! – сатанеет комбат, имея в виду, конечно же, не Стежкина (рядового-то!), а его непосредственных командиров: начальника радиостанции, взводного. – Прочесать лес!

Прочесали. В одном, другом направлении, заглядывая под каждый куст. Нет автомата. И все больше убеждались: увели. Те

самые пацаны, что накануне толкались тут. Зачем, с какой целью увели? Автомат-то не игрушка. Возможно, вертелась мысль, сделали они это по назиданию кого-то из старших, из числа тех, кто люто ненавидел и ГДР, и СССР. А таких было немало. И называли они нас не иначе, как оккупантами.

В общем, все более очевидным становилось, что надо обращаться в полицию.

– Никакой полиции! – отрезал комбат Ермолаев. – Окружить лес! Не дать им уйти!

Глупее ничего нельзя было придумать. Ведь за это время пацаны (а уже никто не сомневался, что это их рук дело) дважды, трижды могли выйти из леса. Комбат, видимо, и сам понимал это, но сработала в нем чисто армейская логика: нужно предпринять все возможное, пусть и явно бесполезное, дабы впоследствии не быть обвиненным в бездействии. Своего рода инстинкт самосохранения.

Ермолаев... Почти Ермолов. По крайней мере, стремился походить на легендарного генерала времен Отечественной войны 1812 года, более всего, строгостью и даже жестокостью. Он словно заведомо видел в каждом из нас нарушителя, сачка, хитреца и уже не знаю, кого, и, похоже, даже ликовал в душе, когда удавалось уличить кого-то в провинности. Уткнется маленькими черными глазами: «Ну что, попался? Всех вас насквозь вижу».

Мне как-то объявил трое суток гауптвахты. Работали мы в подшефном немецком кооперативе, помогали убирать картофель или свеклу – уже не помню точно. Или просто колоски собирали. Случалось и такое. Немцы в этом плане народ прагматичный: ничему из выращенного пропасть не дадут. Рабочих же рук у кооперативов, как и у наших колхозов, не хватало. И, как и у нас, к уборочной привлекалась национальная армия. Нередко обращались и к нашим воинским частям.

А нам и в охотку. Все – не казарма. А если учесть, что многие из нас были из села, и вообще труд на земле ни для кого не был в диковинку, то – и в радость. Помощь наша, понятно, была не безвозмездной: в часть возвращались с машинами, груженными картофелем, овощами. Как-то даже сельхозкооператив подарил нам набор духовых инструментов. Потом на какой-то праздник

представители его приезжали к нам. Играли наши ребята, что надо! Откуда и таланты взялись?

Словом, в обеденный перерыв, наскоро похлебав щи и проглотив кашу с мясом, мы с Балацким, с нами еще кто-то из ребят, решили смотаться в деревню и вручить немочкам, которых я накануне фотографировал, снимки. Это километрах в пяти. Едем. Дорогая узкая, справа и слева кружатся яблони. Вдруг стук по кабине:

– Комбат сзади!

– Оцэ дило! – встрепенулся Балацкий, всматриваясь в боковое зеркало. – Точно, его «уазик», – и смачно выматерился.

– Тормози! – говорю ему, а ребятам, высунувшись из окна: – На пол!

«Уазик», подняв столб пыли, остановился впереди.

Гневу комбата не было предела:

– Куда? Зачем? Кто разрешил?

Пытаюсь объяснить ему, что везу фотокарточки в деревню и что это он, комбат, попросил меня сфотографировать нас с местными жителями и даже торопил с фотками. Слова сказать не дает. Потом поднимается на подножку и заглядывает в кузов. А там... Три затаившихся гаврика – ладно. Там, на дне кузова – яблоки. Тысячу, сто тысяч раз говорили нам, что яблоки у немцев, неважно где, в саду, у дороги рвать нельзя. Да еще вместе с листьями...

Вот и объявил мне трое суток губы (гауптвахты). Правда, потом сделал вид, что позабыл. Я же, в свою очередь, не доложил, как того требовал устав, ни взводному, ни ротному. И дело ушло в песок. Так я думал. Нет, ничего не забыл он и потихоньку доставал меня. То прикажет стенд какой-то срочно оформить, то какую-то схему начертить, еще что-то. Причем, это его «срочно» всегда приходилось на воскресный день, когда все отдыхали, или когда – кино. А кому было жаловаться?

Поджарый, черный. И никогда не улыбался. Говорили, что его мучила язва. Так в армии больных не держат. Еще говорили, что у него в семье нелады. А какие с таким могут быть лады?

Не знаю, доложил ли он о пропаже автомата командиру полка (тот находился в расположении другого батальона) или решил

повременить, надеясь, что к приезду того автомат удастся разыскать. Наверное, все же доложил. О таком – утрате оружия – вплоть до министра обороны полагалось докладывать.

Словом, раскидали нас вдоль опушек, у дорог. Так до утра и просидели (пролежали), куда кого определили, вглядываясь в силуэты черных деревьев, прислушиваясь к звукам просыпающегося леса. Никого.

А ночь выдалась темная и довольно прохладная: стоял поздний сентябрь. Да и всякие мысли в голову лезли. А что, если тот, ну, который с автоматом, где-то совсем рядом? Вон и ветки потрескивают. Или вообще – сзади зашел? А если у него еще и патроны? В общем, дурная ночь и дурные мысли.

К завтраку собрали нас. Уже было известно: обратились в полицию. А что еще было делать? К тому же к полудню придет комполка.

В течение, наверное, часа автомат был найден. Сделали это полицейские просто: заезжали в одну, другую деревню и приказывали всей детворе собраться на площади или у какого-то главного здания. Те тут же прибегали. Некоторые в сопровождении взрослых – таких же, как и они, напуганных-перепуганных: полицейские для немцев – это серьезно. Очень серьезно.

Стежкину и еще двум-трем солдатам, находящимся в комбатовском «уазике», велено было узнать вчерашних визитеров. Узнали. Те, размазывая слезы, все рассказали: да, был среди них такой Ганс, он постарше их, он-то и взял автомат.

Домой, к Гансу!

– Его нет, – бледнея, отвечали родители, владельцы аптеки, что, кстати, нас очень удивило. Владелец аптеки? Частная собственность что ли? Против которой выступал еще их Маркс? У нас, например, в стране победившего социализма, в стране Ленина, продолжателя дела Маркса, такого нет и быть не может. У нас все и вся – государственное. Потом мы узнали, что в ГДР еще и парикмахерские частные, и ремонтные мастерские, и вообще вся сфера услуг.

– Где он? – вопрос полицейских.

Как объяснили, наверное, у *гроссмуттер* (гроссмуттер по-немецки – бабушка). Это в соседнем хуторе.

Рванули к *гроссмуттер*. Там этого Ганса и нашли. На чердаке. Так он, мерзавец, услышав голоса, с грохотом открыл люк и, встав над ним, наставил автомат. Все, кто был на лестнице, прижались к стене. И тогда капитан Кашин, наш интеллигентнейший капитан Кашин, выхватил из кобуры пистолет и с матом-перематом, переходя на дискант, бросился наверх. Немчуренок дрогнул. Автомат с грохотом покатился по ступеням. Капитан Кашин мигом подхватил его, оттянул затвор и с облегчением вздохнул: пусто.

Немчуренка полицейские тут же скрутили. Зашелкнули на ручки и на запястьях родителей.

Капитан Кашин протянул автомат Стешкину:

– Держи, растяпа!

Тот возрадовался, как ребенок.

– Стоп! – придержал Кашин автомат. – Номер назови.

– АКМ 598437, – отчеканил Стежкин.

– Надо же! – одобрительно протянул Кашин.

– Да я его теперь под подушкой буду держать, – выпалил Стежкин, все еще с опаской поглядывая на комбата. Тот обжигал его испепеляющим взглядом.

Инцидент тот явился хорошим уроком для всех нас: отныне при выезде на учения велено было выставлять часовых не только по периметру временного узла связи, но и у каждой радиостанции, аппаратной. И ни пацанов, никого чужого и близко не подпускать. Ведь то, что случилось со Стежкиным, могло бы случиться с каждым из нас. Довольно благодущничать!

Вот и вся история. Что было с тем Гансом? Говорят, был суд. Скорее всего, присудили штраф его родителям, и им наверняка пришлось расстаться со своей аптекой. А там не знаю...

Как Ляликов разгонял помехи

День начинается медленно. Солнце низкое, едва-едва пробивается сквозь еловые лапы – сонное, что ли? И – тишина. Мы уже позавтракали, расположившись прямо на траве под

соснами. На ПХД (пункт хозяйственного довольствия), понятное дело, сбегал молодой – Ляликов. Каша, чай в котелках. Перекурили.

– Ладно, – сладко потянулся Балацкий. – Пойду движок завести.

– Да рано еще, – смотрю на часы. – На связь выходить где-то в десять.

– Пока раскочегарю...

У него, механика-водителя, одна забота: чтобы работали движки, их два – по очереди. А движки эти, ох, тяжеленные! Всякий раз так намучаемся, пока выгрузим их из салона. А еще и оттащить надо метров на двадцать-тридцать, чтобы не очень на нервы действовали. Тарахтят ведь без умолку.

– Заодно частоту проверю, – поднимается вслед за Балацким слухач Асмикович.

– Какой же без этого парадок? – подразниваю его.

– Да, парадок! – смеется он.

Асмикович в нашем экипаже недавно, его временно командировали к нам с учетом того, что Ляликов радист пока слабенький. А слухачом Асмиковича прозвали потому, что лучше всех в роте ловил морзянку. На ключе, правда, не так был силен: никак не мог нарастить скорость, к тому же на каком-то знаке, скорее всего, на букве Ц (та-а – ти, та-а – ти; *тире – точка, тире – точка*), цапля, как мы ее называли (коварная буква) сорвал руку. Для радиста сорвать руку – беда. Это все равно, что пианисту сломаться на каком-нибудь пассаже. День и ночь потом будет мучиться над ним. Так и радист. Не идет знак, хоть убей. Уже при одном виде его рука – колом. Из-за него, проклятого, вообще приходилось снижать скорость.

Но, как говорится, каждому – свое: кому-то больше удаётся работа на ключе, кому-то – прием этих самых точек, тире. Асмиковичу – прием. Плавно, спокойно ходил его карандаш. Со стороны могло показаться, что Асмикович вообще где-то далеко – отсутствует. Но вот «морзянка» смолкла, а он все записывает, записывает. «Это же какую надо иметь память, чтобы держать в голове десять-пятнадцать знаков?» – недоумевали мы.

А был случай вообще потрясный. В составе выездной смены дежурил он на узле связи штаба армии, что в Фюрстенберге. Спать, конечно, там запрещалось, но ребята все же ухитрялись, подменяя друг друга, прикорнуть слегка. Вот и Асмикович расстелил под столом газетку, сверху – шинельку и улегся. Даже захрапел. И тут ожил «Молибден», как окрестили здесь тумбуприемник по аналогии с одноименным позывным, таинственным и суровым – генштабовским. Выскакивал позывной «Молибден», вот именно выскакивал, раз в месяц и всякий раз неожиданно, и всего на несколько секунд. Знать бы этот день, час, минуту, секунду. Протрещит коротко и – адью! Не принять позывной «Молибден» – ЧП. Запрашивать же его запрещалось: связь одно-сторонняя.

Ребята схватились за карандаши. Успели. Но какие-то знаки все же упустили. И тут выползает из-под стола Асмикович с обрывком газеты в руке:

– Вот...

Ребята чуть ли не с объятьями:

– Ну, Асмикович, ну, ас! Не зря твоя фамилия начинается с «ас».

И, конечно же, подшучивали над его белорусским «парадок». А повод сам дал. Дежурил он как-то по классу: протер доску, столы, вымыл пол, и тут вваливается наш брат в грязных сапожищах. Что тут стало с Асмиковичем? Набычился. И на одном дыхании с матерком:

– Какой в... парадок? Как дам трапкой по бруху!

Это его «парадок» и прилепилось к нему...

Затараторил движок. Молодец Балацкий! С полуоборота завел. И вообще, движки его работают, как часы.

– Все нормально! – голос Асмиковича из салона станции (не стал говорить «парадок»). – Волна чистенькая!

– Проверь еще запаску! – кричу.

Запаска (запасная частота) – спасительница. Бывало, сидишь на основной частоте, и вдруг как обрушатся на тебя свист, гул, треск, а глушители были мощные, свои же, из соседнего батальона. Что делать? Скорее – на запаску, благо твой имярек извещен о ней еще при установлении связи – так положено было. А если

и запасная частота забита? Тогда, как говорится, полный кердык. Потому-то и стерегли запаску, время от времени (в перерывах между радиосеансами) заходя на нее и обрабатывая ее неистовым зуммером. После такой экзекуции становилась она, что гладь водная.

– Асмикович! – зову его. – Дело есть.

– Щас! – присаживается рядом.

– Давай разыграем Ляликова.

– Как? – а в глазах бесенята.

– Ты только молчи или поддакивай.

– Ладно!

– Ляликов! – зову Ляликова.

– Иду, товарищ сержант! – он как раз заканчивал мытье котелков.

– Слушай, Ляликов, что-то у нас со связью плохо. Помехи, наверное. Ты это, наломай веток, да побольше, заберись на крышу и разгони эти самые помехи.

– Ладно! – с некоторым недоумением отвечает он.

– Эх, Ляликов, Ляликов! Когда же ты, наконец, поймешь армию? Не «ладно», а «Так точно!»

– Так точно, товарищ сержант!

– Ну вот, другое дело. Только поскорее.

– Хорошо!

– Опять...

– Есть поскорее! – повеселев, выкрикнул он.

Асмикович все уже понял и, с трудом сдерживая смех, направился к станции.

– Да погоди ты, – говорю ему. – Самое интересное впереди.

– Догадываюсь. Сам придумал?

– Нет, конечно. «Старики» научили.

Прибежал Ляликов с огромной охапкой еловых веток, вскарабкался на крышу станции и давай размахивать ими.

– Ну, как? – кричит сверху.

– Да пока неважно, – отвечает ему Асмикович. – Ты посильней, посильней.

Бедный Ляликов! Старался он изо всех сил. Ветки уже вываливались у него из рук.

– Отлично! – кричит Асмиковича. – Связь есть!

Ляликов, довольный, чуть ли не спрыгивает с крыши станции, видимо, действительно, считая, что сделал доброе дело, и в тоже время не понимая, отчего мы смеемся.

– Слушай, Ляликов, – спрашиваю его, – ты в школе физику изучал?

– Ну да.

– Что значит «ну да»?

– Так точно!

– Зачем же тогда? – и, давясь смехом, показываю на антенну, – с ветками?

– Так это... – и тоже смеется.

– Ладно, Ляликов, – хлопаю его по плечу. – Изучай, изучай! Ты это, адресок заочницы дай. Обещал ведь.

– Хорошо.

– Опять...

– Есть дать адресок!

– То-то...

Мода такая у нас была: на заочниц. Где добывали их? В журналах, газетах. Мелькнет на странице некая симпатяга, понятно, передовик производства, общественница, и кто-то из нас тут же – письмишко на ту фабрику, в тот совхоз, так, мол, и так служу за границей (на это давили), скоро дембель, хотел бы познакомиться.

Но в основном заочниц поставляли нам новобранцы. Новобранцы вообще были для нас как вестники из другого мира. Мы буквально пытали их: как *там* одеваются, что танцуют, какая музыка, фильмы? И даже просили показать: как именно танцуют этот самый твист. Ну, и естественно:

– Адресочек дай!

Те с легкостью (жалко, что ли?) давали адреса знакомых девчонок, втайне радуясь, что потрафили «старикам».

Переписка, понятное дело, начиналась с обмена фотками. Не могу сказать, что всякая такая заочная связь заканчивалась судьбоносно, собственно та и другая сторона понимала: игра все это. С одной из заочниц, например, мы переписывались, что называется, хором. Представьте себе, приходит в роту письмо:

«Самому красивому солдату». Мы даже оторопели: кто же из нас самый-самый? Ну и чтобы не препираться, решили писать ей сообща.

О, это целая история! Но – кратко. Придумали мы некий собирательный образ, типа Теркина, и окрестили его Васечкиным. А фотку пересняли из журнала «Советский воин». Ее и отправили заочнице. Писали, понятно, одним почерком. Тут уже свое мастерство демонстрировал Лева Ошеров, радиомонтер и барабанщик по совместительству. Почерк у него был красивый, даже как-то по-девичьи красивый, а уж фразу мог завернуть.

Случаи, смешные ситуации для Васечкина придумывали самые невероятные, часто списывая их из кого-то из нас. И вообще, мнимый Васечкин настолько прижился в роте, что уже казался реальностью. Помню, вваливается в роту проверяющий и первым делом – к бачку с питьевой водой. Бачок, как полагается, на замке. Так он, хитрец, цап за крышку сзади и приподнял ее.

– Кто? – сурово спрашивает дежурного. – Кто это сделал?

Тот, не моргнув глазом:

– Рядовой Васечкин.

А подать сюда Васечкина! Искали, искали – не нашли. Так ни с чем и уехал тот проверяющий. Были и другие комичные ситуации, которыми мы щедро награждали нашего Васечкина...

Но Лева не был былевой. Как оказалось, втайне от нас он с той заочницей отдельно переписывался и решительно настраивался на встречу с ней (они почти земляки: он из Омска, она из Томска). Мы об этом случайно узнали. Да сам и проболтался. Простили ему такое самовольство. Пусть будет он самый-самый. А Васечкина тут же «демобилизовали» и отправили «домой», на Сахалин...

А солнце все выше, все горячее. Как же, наверное, хорошо там, в Союзе!

Роз-Мари

Право же, ни к чему нам были увольнения. В самом деле, куда податься, чем заняться в чужом городке? Сходить в кино? Но

кинотеатра, в нашем привычном понимании, похоже, здесь не было. А если и был какой-то, многое ли поймешь из фильма на немецком языке? Просто посидеть в скверике, поесть мороженого – и только?

Обычно шли к музею Равенсбрюк – на площадь. В субботние и воскресные дни она была буквально наводнена туристами – Европа, Америка, Азия. А шли мы туда с одной мыслью: повстречать соотечественников. Вычислить их было легко: болоньевые плащи (страшный дефицит тогда в Союзе и большая гардеробная гордость, а всего-то на всего – итальянские дождевики), мятые костюмы, серые безликие кофточки... Неважно, наши ведь. Мы, естественно, с вопросами:

– Ну, как там в Союзе? Что в магазинах?

А уж если земляк попадался, то-то радости было:

– Привет Туле!» (Минску, Запорожью...)

– А Серобородько Ивана Михайловича знаете? Не знаете? Так я ж его сын.

Обнимали мы их родненьких...

В музее Равенсбрюк я и познакомился с Роз-Мари – уже на последнем году службы. Дело было так. В книгу отзывов музея я записал, что давно собирался сделать, сочиненные мною стихи про Равенсбрюк. В армии почему-то тянет на стихи. Как и на песни. Сколько мы перепели их под гитару, баян, собравшись в бытовке. А стихи сами по себе сочинялись. Стоишь, бывало, на посту... В общем, такие строчки (почему-то записал их лешенкой):

*От мыслей
всего
шатало,
стою тяжело,
устало,
не вынимая
рук
из брюк:
передо мною
Равенсбрюк.*

Роз-Мари была года на четыре старше меня – синие глаза, темное каре, румянец на щеках. В музее Равенсбрюк она работала русскоязычным переводчиком. Жила с мамой и сестрой (отец погиб на восточном фронте). Окончила потсдамский университет – русский язык и литература. Русскую литературу даже очень хорошо знала, что меня несколько задевало. Я, как я полагал, тоже неплохо знал русскую литературу, но того же Достоевского читал мало. О Набокове вообще не слышал. Я все больше Пушкина цитировал. Она ответно читала и объясняла мне Гейне, Гете. Что говорить, меня тянуло к Роз-Мари, и я старался воспользоваться любой возможностью, чтобы повидать ее. Сотрудники музея, понимающе улыбались и оставляли нас наедине. Иногда мы бродили вдоль озера. И даже катались на лодочке...

И вдруг, как обухом по голове:

– Тебя контрик вызывает.

То бишь особист. Майор Скирда. А контриком прозвали его потому, что малейшую в его понимании моральную неустойчивость (и тут неважно, солдат ты или офицер) воспринимал он чуть ли не как контрреволюцию. В отместку за это контриком его и окрестили.

– Контрик? – а сам чувствую, как заколотилось в груди. «Пронюхал все же. Или кто-то донес. Эх, люди...»

Стучусь и, не дожидаясь ответа, вхожу:

– Товарищ майор по вашему приказанию...

– Ну, зачем так официально? – перебивает он меня, поднимаясь из-за стола. – Я же тебя просто так пригласил – поговорить, поспрошать, как служба, настроение? Да ты присаживайся.

– Служба – нормально, товарищ майор.

– Знаю, знаю. Вот и на последних учениях, говорят, хорошо сработал. Кстати, радиоделу где учился?

– Вообще-то я – самоучка. Увлекался физикой, мечтал поступить в институт. Не вышло...

– Молодец!

«Что значит молодец? Я же не поступил. А если бы поступил, не торчал бы сейчас перед тобой».

– А я вот мечтал о военном училище. И, представь себе, поступил. А конкурс был...

«И чего хвастается? Подумаешь, в военное училище! А попробуй на физфак».

– Сам понимаешь, время было трудное, – продолжал он. – А офицерам паек давали...

Я все еще не понимал, к чему он клонит. И эта его фамильярность.

– Надо бы твоим родителям письмо отправить, – сказал он и вроде как бы обрадовался такой мысли. – Поблагодарить за хорошее воспитание сына.

– Уже отправляли.

– Да? Ну ладно. Еще отправим. Родители кто твои? Знаю, знаю. Мать – учительница, отец – экономист.

«Если знаешь, зачем спрашивать? Чтобы показать, что вообще все обо мне знаешь? И про Роз-Мари?»

Он словно угадал мои мысли:

– Я тут все про всех знаю. Должность такая, сам понимаешь. Служим за границей, нужно быть особенно бдительными. Так что с этой немкой-экскурсоводом заканчивай.

– С какой немкой? – я сделал вид, что удивился.

– Не прикидывайся! Бегаешь, бегаешь к ней. А за такое, сам знаешь... Вот и на прошлой неделе бегал. В воскресенье.

– Да не бегаю я никуда. Это кто-то клепает на меня. Ну сводил молодых в музей. Мы туда их каждую субботу водим. В основном ротный это мне поручает. Как комсorghу.

– Еще и комсorgh! – закурил, выпустил струйку дыма. – Роз-Мари, кажется, ее зовут? («Вот гад, все знает!») Что у тебя с ней?

– Ничего!

– Ничего... – хмыкнул он. – Статью твою в газете напечатали.

«Эх, контрик! Не статью, а стихи».

– Это я стихи в книге отзывов написал, а они перевел на немецкий и отправили в газету.

– С твоего согласия?

– Ну, да.

– А почему мне не доложил?

– Да как-то не подумал...

– Не подумал... А о том, что контакт с немками запрещен, подумал? О том, что это прямое нарушение воинского устава, подумал? Да ты знаешь, что за такое... В общем, тебе мой совет, или, если хочешь, приказ: поведешь в следующий раз молодых в Равенсбрюк и скажешь этой своей Роз-Мари, что тебя срочно переводят в Союз. Или досрочно демобилизуют. И чтобы ноги твоей там больше не было. Понял?

– Так точно, товарищ майор.

– Ладно! Иди!

Я взял под козырек, развернулся.

– Стой! – вышел из-за стола. – А скажи мне, товарищ старший сержант, если уж ты такой честный (издевается, конечно), это правда, что меня контриком называют?

– Правда, – не моргнув глазом, отчеканил я.

Помолчал в задумчивости:

– Я не спрашиваю, кто. Этого ты не скажешь.

– Да все, – вырвалось у меня.

– Все? – вернулся за стол. – Вот идиоты! Даже не знают истинного значения этого слова. Контрик, запомни и передай другим, этот тот, кто против нашей революции, против советской власти, против всего нашего: политики, идеологии, против той же воинской дисциплины. Вот ты, например. Ты и есть контрик. Если я дам ход делу, тебе ох как не поздоровится. По крайней мере, дембель твой точно тормознут. Это в лучшем случае. Но я не буду этого делать. Не хочется портить тебе жизнь. Парень ты способный, будешь учиться... При условии, что сделаешь все, как я сказал. Иди!

«Все знает. И, похоже, давно. Почему же тогда молчал? Ждал, когда я окончательно проколюсь».

Уже на следующий день я рванул к Роз-Мари. День был будничным, туристов немного, и, значит, больше обычного удастся пообщаться с ней. Неужто в последний раз?..

Проводила меня до двери, и тут вижу, из-за автобуса выплывают трое с красными повязками на рукавах: старлей и два парадных солдата. И напрямик ко мне. Солдатики, ладно, не по своей воле в патрульной шкуре оказались и наверняка, будь у них малейшая возможность, выручили бы меня. Но офицеру

выслужиться надо. К тому же, наверное, он из соседней, автобатовской части, а автобатовцы, ох как не любили нас, связистов, обзывая чуть ли не интеллигентами.

Что тут было делать? Бежать? Смешно. Глупо.

Оглядываюсь на Роз-Мари: она все еще стоит у входа в музей. Замечательная все же эта черта: попрощавшись с родным, близким человеком, да просто с другом, проводить его взглядом, взмахом руки пока тот окончательно не скроется из виду: в поезде ли, в набирающем ли высоту самолете или, как я сейчас, за поворотом. И не понимаю тех, кто, буркнув «Пока!», тут же кажет тебе спину.

Я заспешил к Роз-Мари, почти подбегаю.

– *Вас ис лос?* (Что случилось?) – встрепенулась она. Меня всегда умиляло удивление на ее лице (а удивлялась она всему: моему плохому немецкому, моему неожиданному появлению, моему неумелому поцелую) – трогательное, по-детски наивное.

– Патрули! – только и сказал я.

– *О, майн гот!*

Офицер и солдатики деликатно замерли в стороне.

– *Шнэль!* (Быстрее!), – берет меня за руку и увлекает куда-то вглубь музея. – Здесь ты будешь в безопасности!

– Но мне надо в часть, – показываю на часы.

– Да, да... *Айн момент.*

Куда-то убежала и вскоре вернулась, радостно улыбаясь:

– Вот, ключи!

Словом, вывела меня через черный выход.

– Спасибо, Роз-Мари! Я побежал.

– *Николя!* – выдохнула она.

Так ничего и не сказал ей. Ладно, в следующий раз...

Вечернюю поверку проводил Сашка Красненко. Смешно было смотреть на шеренгу молодых. Шеренгу буквально покачивало, настолько нестерпимо было каждому, стоящему в ней, бороться со сном.

Знакомо! Бывало, так вымотаешься за день, что, ей богу, нет большего счастья, чем рухнуть в койку. А теперь вот не уснуть. И тут же просыпаешься, едва зашуршит динамик у поста дне-

вального – за две-три минуты до общеполковой команды: «Дежурным по ротам произвести подъем!»

«А, может, действительно, все сделать, как просил «контрик», и прощай Роз-Мари?»

Все будет нормально

Ни разу, сколько выезжали на учения, командир полка не приходил к нам на станцию. То ли оттого, что располагались мы всегда поодаль от штабной площадки (уж такова была специфика нашего передатчика: всех давил), то ли оттого, что более всего уделял внимания засовцам (специалистам закрытой связи) – эти всегда должны быть под боком.

И тут видим – о господи! – из-за деревьев появляются комполка и взводный наш Терентьев. Предупреждать же надо! Резко разворачиваюсь и – к ним, успев, однако, шепнуть Ляликову (Ляликов – форменное чучело: ремень на боку, подсумок где-то на заднице): «Подними Балацкого!» (Тот завалился в кабине.)

– Товарищ подполковник, начальник радиостанции!..

– Ладно, ладно...

Пыхтя, поднимается по лесенке в салон (сапожки хромовые, блестящие), усаживается на привинченный к полу металлический стул. Взводный и я становимся напротив: я – ближе к стойке радиоприемника, он – у телеграфного аппарата и как бы незаметно (спасибо, взводный!) приводя в порядок рабочий столик.

Как я уже говорил, комполка Нещерет был подполковником, но все или почти все в полку, те же комбаты, пребывающие в таком же звании, что и он, обращались к нему не иначе как «товарищ полковник». Этакий армейский подхалимаж. Но произносилось это, я замечал, как-то хитро, скороговоркой: «по-о-ковник», как нечто среднее между «полковником» и «подполковником». Нещерет не возражал. Сам в свое время усвоил эту этику. По крайней мере, не было случая, чтобы он кого-нибудь одернул или поправил.

Так что лицеизреть Нещерета в полковничьих погонах (а полагалась и каракулевая папаха) мне и моим однополчанам не

довелось. А жаль. Наверное, стал бы более солидным и менее грозным, и лицо его не раскалялось бы по поводу и без повода, и мы не называли бы его Помидором. Нет, все равно бы называли: в армии, да и вообще по жизни так: если уж к кому прилепилась какая кликуха, вовек от нее не отцепится. Словом, для нас Нещерет так и остался Помидором-подполковником.

Много лет спустя я узнал, что дослуживал уже полковник Нещерет свои календарные в Киевском военном округе. И не удивительно: сам-то он из Украины. Вот и осел в родных местах...

– Ну рассказывай, – обращается ко мне комполка Нещерет.

Я, честно, растерялся: о чем рассказывать? О самой станции? Ну тропосферная, на двух машинах, новейшая, мощнейшая. Настолько мощнейшая, что однажды в соседствующем с нами городке Фюрстенберг вырубилось телевидение.

Дело было так. Станция пришла, да, новенькая, еще пахнувшая заводской краской, и ужас как не терпелось опробовать ее. А что и как делать, я знал (специально направляли на курсы). И вот, задержавшись в автопарке, мы с Балацким выгнали из бокса машину-передатчик, подключили ее к сети, щелкнул я одним тумблером, другим, повернул ручку настройки. «Есть! Готово!» Послушно и грозно зашумел генератор, вспыхнула лампочка-индикатор. «Все! Эфир наш!» – приятно защекотало на сердце. Только радист такое может понять.

А спустя какое-то время на инструктаже зампотех поведал, что в военную комендатуру Фюрстенберга поступили жалобы от горожан: такого-то числа, в такое-то время в их домах не работало телевидение. «Твоя работа?» – зампотех испытывающе посмотрел на меня. «Никак нет, товарищ капитан!», – не моргнув глазом, ответил я. Он, конечно же, мне не поверил. Перед жителями, понятное дело, извинились.

– Радиogramм сколько приняли? – спрашивает комполка.

– Со вчерашнего вечера – двадцать пять, – отвечаю.

– А передали?

– Штук тридцать, – ответ, конечно, был неудачный, вот и взводный Терентьев поморщился: в армии не терпят неточности, неопределенности.

– А передатчик где находится?

– В метрах трехстах отсюда. Ближе никак нельзя, – сам незаметно поглядываю в окошко: забегали, забегали мои ребята. Марафет наводят.

– Кто на передатчике?

– Младший сержант Мальцев.

– Замену себе готовишь?

– Так точно!

– Это хорошо. Вот какое дело, старший сержант. Офицерские курсы ты окончил. С вузом, правда, не получилось. Почему – сам знаешь. Вот только зачем было с таким вопросом – к генералу. Пришел бы в штаб, все бы тебе объяснили.

– Я был у замполита...

– Да путаник он, твой замполит. В общем, такое тебе предложение: послужи еще. Аттестуем тебя. Примешь взвод.

«Так вот зачем ты пришел, товарищ комполка! Агитировать. Нет уж, дудки! Это мы уже проходили. Уговаривали, обещали. А что на поверку? Нет, армейским обещалкам я больше не верю».

– Нет, не могу, – товарищ подполковник. – Я хочу в институт.

– Ну и поступишь, – продолжил он. – В академию связи или во Львовское политехническое училище. Слышал, ты журналистом хочешь стать. Есть там факультет журналистики, – и, помолчав, добавил: военной журналистики.

– Товарищ подполковник, я хочу в МГУ.

– В МГУ-у? – неодобрительно протянул он.

– Попробую...

– Ладно, – поднялся, окинул взглядом салон. – А это что? – указал рукой на кронштейн на стене.

– Крепления для диполей антенны. Когда – на марше.

– А здесь спите? – ткнул пальцем в топчан.

– Так точно. Посменно...

– А вентиляция работает?

– Работает. Можем включить.

– Не надо. Где-то к полуночи вас вызовет штаб Группы. Так что будьте начеку. Не должен был вам об этом говорить. Уж не подкачайте.

– Все сделаем, товарищ подполковник! – снова так и сказал: «подполковник».

Он как-то странно ухмыльнулся:

– Верю, верю. А о моем предложении подумай, – осторожно спустился по лесенке (сапожки хромовые, блестящие) и, наверное, был удивлен чистоте вокруг станции: ни окурков, ни грязной ветоши, ни других случайных предметов. Ухмыльнулся:

– Н-да, – и, уже обращаясь к взводному Терентьеву: товарищ старший лейтенант, по окончании учений доложите мне лично, как сработал этот экипаж.

– Есть, товарищ поко-о-вник, доложить лично! – отчеканил взводный, показывая нам из-за спины кулак.

Ладно, взводный, все будет нормально.

29 августа 2009 года

Вместо эпилога

В Шереметьево-2 я отправился, на ночь глядя, на последнем с Белорусского вокзала аэроэкспрессе. Эка беда! Потолкаюсь там четыре-пять часов, читаю газету, выпью чашечку кофе, просто подремлю и – время скоротаю. По крайней мере, к регистрации (во всем надо видеть позитив) уж точно не опоздаю.

И в который раз прокручивал задуманное. Прилечу в Берлин, устроюсь в гостиницу и сразу же рвану в Фюрстенберг. Что там у них: поезд, электричка? Всего-то восемьдесят километров. Час с небольшим. Дальше – пешком, по шоссе или брусчатке. Потом – направо, в лес. Или налево. Нет, все же направо. Но есть и ориентир: музей-концлагерь Равенсбрюк. Если от него подняться вверх до перекрестка, то до воинской части, бывшей моей воинской части, будет уже рукой подать. Интересно, что там теперь? Какой-нибудь заводик, фабрика, жилой микрорайон?

Выпил чашечку кофе и даже побаловал себя рюмочкой коньяка.

А в музее Равенсбрюк Роз-Мари наверняка уже не работает. Столько лет прошло! Может, все же удастся разыскать ее? Кто-то из нынешних музейных работников вспомнит ее, поднимут архивы, наведут справки, подскажут, где она проживает...

Рейс все-таки задержали. Из-за тумана, который подобрался еще с ночи и теперь таил буквально на глазах. Торчим в «отстойнике», нетерпеливо поглядывая на пристегнутый к кишкестрапу белоснежный аэробус. В брюхо его грузчики, не спеша, закидывали багаж, под крылом сновали техники, обменивались с экипажем какими-то бумагами. «Ну, и ладно, взлетим чуть позже. В Берлине все равно будем утром, переведа стрелки на два часа назад».

...И какой же долгой была та, другая дорога. Сначала до приграничной станции Ковель. Из Николаева. Вернее из-под Николаева, где в тамошних военных лагерях проходили мы курс молодого бойца: учились ходить строем, отдавать честь, намазывать портянки, подшивать подворотничок, даже пострелять дали – перед присягой.

В Ковеле эшелон загнали в тупик, принесли кашу, чай и из вагонов велели не выходить. Так что мир обозревали через вагонное окно. А что там увидишь? Какие-то постройки, путеобходчики с молоточками, мужики на велосипедах. Улучив момент, я протянул в форточку проходящей мимо женщине (простое крестьянское лицо, матерчатая сумка в руках) конверт и попросил опустить его в ближайший почтовый ящик. «Не волнуйся, сынок, все сделаю, – с готовностью откликнулась она. – Дай бог тебе здоровья! И твоим товарищам». «Сынок? – удивился я. – Какой я ей сынок?» Позже дошло до меня, что для каждой женщины-матери парнишка в солдатской форме – сынок.

Письмо было родителям. Писал я им о том, что теперь точно везут нас в Германию (был вариант в Польшу, но в Польшу совсем не хотелось), что это последняя моя весточка из Союза, следующая будет уже из-за кордона, что помню их и люблю и что служить буду исправно. Наивно, высокопарно, но писал, как думалось и чувствовалось...

А конверт-то без марки! – тут же спохватился я. Их, такие конверты, выдали нам в военном лагере, где, отправляя почту, полковой почтмейстер на обороте каждого из них ставил треугольный штамп «Бесплатное солдатское письмо». Но это письмо мое не из воинской части, а из города Ковель, что я и указал в

обратном адресе. То есть гражданское письмо. Значит, оно либо не дойдет, либо оформят его как доплатное, и родителям придется опалить доставку. Сумма небольшая: 1 рубль. Все равно неприятно.

В первом же письме из Германии эти свои соображения и я высказал. Мама (в основном она отвечала на мои письма) удивилась: «Как без марки? Марка на конверте была...»

Спасибо той женщине!

Дальше – теплушки с двумя ярусами нар справа и слева и печкой-буржуйкой посередине, станции, тупики – польские, немецкие. Суток двое тащились. Какой-то Витшток. (Еще успею убедиться, что Витшток этот – всеармейский полигон, огромная, без края и конца территория бомб и снарядов.)

Утром приехали «покупатели». Суетливо перемещаясь вдоль строя, они наперебой выкрикивали поваров, музыкантов, спортсменов, художников... «А почему не танкистов, артиллеристов, ракетчиков? – недоумевал я. – Вернее будущих танкистов, артиллеристов, ракетчиков – кто кем хочет стать».

– А потому, – услышал мое ворчание какой-то офицер в синей фуражке – авиатор, – что военному делу непременно обучат, но и без гражданских специальностей армия не армия.

Потом нас уже вызывали по списку. Я и еще несколько ребят (тощий рюкзачок за спиной, скатка-шинель через плечо) попали в полк связи, что Равенсбрюке...

Берлинский аэропорт Шёнефельд (*красивое поле*) впечатления не произвел. Наше Шереметьево-2 внушительней. Об этом и сказал встретившему меня представителю турфирмы Виктору.

– Да, аэропорт небольшой. Есть еще два, но те даже меньше.

Виктор, светловолосый, сухощавый, лет тридцать пять ему – из поволжских немцев. Перебрался сюда вместе с родителями шестнадцать лет назад. Здесь же и повстречал свою будущую жену, тоже из советских немцев – оренбургских. Доволен и жизнью, и работой. Он – частный предприниматель, оказывает транспортные услуги, главным образом, российским турфирмам: встречает туристов, отвозит их в гостиницу, везет на экскурсии по

Берлину, в другие города, в другие страны. Для этого и приобрел фургончик «Мерседесс».

– Вот недавно возил группу во Францию, – как о чем-то совершенно обыденном сказал он. – А перед этим была поездка в Швейцарию.

– А я служил здесь, – я сразу решил обозначить суть своего прибытия.

Он мельком взглянул на меня.

– В Равенсбрюке, – добавил я. – Это в восьмидесяти километрах севернее Берлина.

– Не был, не знаю.

– Там еще музей-концлагерь с таким же названием – Равенсбрюк.

– Слышал.

«Странно, – подумал я, – столько лет живет в Берлине, а так и не удосужился побывать в Равенсбрюке. Понятно, место страшное. А, может, потому его не тянет туда, что ему, немцу, рожденному в СССР, вовсе даже не хочется отягощать душу зловещим прошлым своих исторических предков?»

– Работа... – многозначительно заключил он.

– И сколько набегают в месяц?

– Тысяч пять.

– Евро?

– Здесь говорят эоро. Европа по-немецки Эоропа... Все зависит от того, сколько заказов наберу.

– А как с жильем?

– Жилье арендую. С жильем здесь вообще проблем нет. Нет даже такого понятия: очередь на жилье. Нужна квартира – арендуй. Хоть пожизненно. А русских здесь много, – продолжал вещать он. – Бизнес удобный.

Въехали в Берлин, в бывший западный Берлин – безлюдные улицы (понятно: сегодня выходной), серые тяжелые дома.

– Ну вот, приехали. Гостиница «Шарлоттенбург».

«Это уже третье «ша», – ловлю себя на мысли: Шереметьево, Шёнефельд, Шарлоттебург».

– Откуда такое название – Шарлоттебург? – спрашиваю его.

– По названию станции метро, наверное. Она тут рядом. Но есть и дворец Шарлоттенбург... А гостиница русскоязычная – весь персонал из России. Да и останавливаются здесь в основном русские. Владелец гостиницы – одессит.

– Понятно.

Я попрощался с Виктором, поднялся в свой номер: чистый, уютный. Большое зеркало.

– Ну, с прибытием! – киваю своему отражению. – Вот отдохну чуть-чуть, попью пивка и – на вокзал!

Хауптбанхоф (главный вокзал) – монстр какой-то. Сами берлинцы не любят его. Перегружен он донельзя, запутан. Поезда и над, и под, еще и метро. И весь напичкан магазинчиками, барами, кафешками.

А поезд, так называемый региональный, понравился: сверкающий, легкий, бесшумный. У окна – розетка: можешь подзарядить мобильник, подключить ноутбук. На нижней площадке – стойка-автомат: печенье, напитки. И мимо, мимо – убранные поля, сверкающие озера, красочерепичные домики. Кстати, названия станций донельзя знакомые: Ораниенбург, Лёвенберг, Гранзее... Ясно: они же – и населенные пункты, через которые мы столько раз проезжали, отправляясь на учения...

Вот и Фюрстенберг. Рыжее зданье вокзала, две-три легковушки на «пяточке», бегущая вниз брусчатка. День ясный, солнечный.

– *Гутен таг!* – навстречу девочка с велосипедом.

Я, естественно, ответил, приятно удивившись: «С незнакомыми здороваются». А по правую руку – то ли парк, то ли сквер и вырастающий прямо на глазах белый обелиск с золотистой звездой. Как же, помню! В День Победы мы возлагали к нему венки и проходили парадным маршем, яростно чеканя шаг.

Обелиск свежевыкрашен, ухожен. Спасибо! На боковых плитках золотом:

л-нт Мамаев,
ст. снт. Некрасов Я. М.
ефр. Гречко И. Н.
ефр. Джумагандиев

ряд. Андропов Н. А.
ряд. Бурлак Г. К.
ряд. Зайцев К. И.
ряд. Марин Д. И...

Рядом – эти же фамилии в немецкой транскрипции.

56 фамилий. 56 чьих-то сыновей. Знают ли матери их, вернее, знали ли матери их (говорить, скорее всего, приходится в прошедшем времени), где они лежат? И что сказали тем, другим матерям, чьи сыновья значатся в списке неизвестных? Их таковых здесь 43. Но почему неизвестных, безымянных? Да, шли бои, брали Берлин. И неужто даже в той, победоносной ситуации (не 41-й же кошмарный) не было должного учета безвозвратных потерь? И сколько такихobelisks по всей Германии!

По кругу слова: «Вечная память героям, павшим в Великой Отечественной войне за свободу и независимость нашей Родины!» Слова (нисколько не кощунствую) не совсем точные. Родину – СССР – Красная армия освободила в 44-м, отбросив врага за западные свои пределы, и потом уже освобождала Европу. Так и нужно было написать (эх, политруки!): «... павшим за освобождения Европы от фашизма».

Все те же аккуратные домики с островерхими черепичными крышами, аккуратные дворики. Крохотная плотина, словно игрушечная – внизу шелестит речка Хафель. А вот и площадь: кирха, ратуша, понятное дело, гаштет. Вывеска только непонятная: «Цум гольцфуум». Однако, в рифму. (Потом перевел: «К дровяному дыму». Нормально!). Присел за выносной столик, попросил пива. Темного. Через пару минут, видимо, догадавшись, что я из России, ко мне подсели два немца: пожилой и средних лет.

– Вы из Союза? – спросил пожилой.

– Да, – ответил я, удивившись этому его «Союз».

– Я работать с вашими военными. КЭЧ¹. Гут! Хорошо! Теперь приезжать ваш генерал Миронов. Дали ему прием в ратуше. Он положить цветы к памятнику советским солдатам.

– Генерал Миронов?

¹ Коммунально-эксплуатационная часть воинского гарнизона.

- Да, командор танковой армии.
- Да, это он выводил нашу армию из ГДР.
- Вас? Что? – переспросил он.
- Я служил здесь.

Он кивнул.

- В полку связи, – добавил я.
- Полк тоже поехал. Теперь там немцы живут. Пансион.
- Понятно, – я закурил очередную сигарету. – А вы неплохо говорите по-русски.

Он улыбнулся:

- Еще в школе учил. И песни ваши, – и тихо, в полголоса напел: «Широка страна моя родня!..»
- Надо же! – удивился я. – Спасибо!
- Биттэ! – продолжал он улыбаться.
- «Динамо» Киев – чемпион! – воскликнул тот, который средних лет,

как бы давая понять мне, что и ему кое-что известно о теперь уже далеком СССР.

Да, киевское «Динамо» гремело тогда...

Но надо выбирать на шоссейку.

Сразу скажу: с час, наверное, шастал по лесу то справа, то слева от шоссейки – никаких признаков, хотя бы клочка знакомой территории. Ясно: надо идти к музею Равенсбрюк, благо, что направление к нему неоднократно отмечено указателями, и уже оттуда вести свой поиск.

Но музей Равенсбрюк – это Роз-Мари. И что-то подсказывало мне, что никто ее там не знает и не помнит, а услышать *найн* ох как не хотелось.

Легко вышел к озеру Шведтзее, прикрытому высокими деревьями. Во, вымахали! А вот место, где мы купались, и где Маркину в прыжке кто-то саданул по голове. Дальше, если идти вдоль берега, начинается музейный комплекс Равенсбрюк. Скульптурная группа (изможденная женщина с ребенком на руках). Далее – Стена наций. По всей длине ее выписаны названия государств, чьи подданные были заключены здесь. Более двадцати государств. Тут же крематорий...

Как же тяжело ступать по этой земле!

Но странно: вокруг – никого или почти никого, так, два-три человека. А было время, автобусы с туристами прибывали сюда один за другим. Неужто и в самом деле ослабевают интерес к той страшной войне? Уходят в забвение зверства фашизма?

Побродил еще по территории музея: длинные приземистые бараки. Зашел в административный корпус. Конечно же, сказали, что такую, Роз-Мари Мозес, не знают, не помнят. Я все же попросил навести хоть какие-нибудь справки о ней и пообещал подойти позже.

Ну, где же она, моя часть? От площади музея нужно подняться вверх, это – точно. Но тут же натыкаюсь на колючую проволоку. Обойдя ее, а для этого пришлось забраться на каменный выступ, попытался пройти по высокой пожухлой траве вдоль серых коттеджей. Снова – проволока. А коттеджи-то заколочены. Лишь таблички: «Не разрушать. Собственность Земли Брандербург». Но, похоже, и властям Земли Брандербург они не нужны.

Коттеджи эти были построены еще во времена фашистской Германии – для охранников и надсмотрщиков концлагеря Равенсбрюк. После освобождения концлагеря частями Красной Армии и дислокации рядом полка связи в коттеджи стали поселять офицерские семьи. Но и это уже в прошлом...

Снова выхожу на шоссе, держа в голове, что где-то рядом за деревьями должна быть железка. Есть! Нашел! Ржавые, заросшие травой и кустарником рельсы, полуразвалившиеся шпалы. Похоже, поезда здесь давным-давно не ходят. Впрочем, они и тогда не частили, так, два-три раза в сутки – какой-то рабочий поезд. Но как же я обрадовался этим рельсам! Они-то точно доведут меня до части, до бывшей моей воинской части. Вспомнилось дембельское: «Едем!» Но то – домой, я же, наоборот – из дому. В свое воинское прошлое. Сказал бы мне кто-нибудь о таком тогда, лет сорок назад, ни за что бы не поверил...

Чуть ли не бегу по шпалам. Вот-вот должен появиться деревянный настил-переезд. Слева от него будет КПП.

Размечтался. Ни КПП, ни решетчатых ворот с красными звездами. Теперь здесь что-то вроде хозяйственного склада, обнесенного металлической сеткой. Едва приблизился к ней, как с

лаем ко мне бросился кудлатый пес. «Ни фиги себе! Это на меня, бывшего советского солдата, кидается какой-то пес?»

На месте клуба – аккуратненький двухэтажный домик с высокой двускатной крышей и с размашистой надписью на стене: что-то типа «покрытие верха». Как можно догадаться, производство пластиковой черепицы.

Чуть дальше – тот самый пансион. «Пришоссейный дом». Веселенькое название! Здесь доживают свой век престарелые немцы. Кстати, таких пансионатов в Германии много. Просто не принято, чтобы родители до конца дней своих проживали вместе с детьми или хуже того – прозябали в одиночестве. Как только кто-то из них остается один, его (ее) тут же определяют в пансион. Наверное, это по-умному: все спокойная старость.

А там, где был плац... («Смирно!» – аж звон в ушах.) Там, где был плац («Здрав-жел-тов-поков-ник!»). Где был плац – два свеженьких домика с мансардами. Плотно зашторенные окна. И никого вокруг. Ни души. Потому, наверное, что сегодня суббота, а немцы в субботний и воскресный день предпочитают отсиживаться дома.

А может, это из-за меня? Узнав о моем приезде, обитатели их забились по углам. Из-за меня, советского солдата, пусть теперь и бывшего, которому, как и тысячам-тысячам других наших солдат, пришлось встать на охрану их западной границы и не позволить натовской машине сломать ее, в чем им теперь не очень хочется признаваться. Как, впрочем, и в том, что с объединением Германии проблем у них, у восточных немцев, не убавилось... Ан нет, кто-то вон появился. «Смирно!» – улыбаюсь про себя.

Тучный немец, в широких штанах и в вязаной кофте, не спеша направляется к синей «Тойоте». Я ускорил шаг:

– *Гутэн таг!*

Он приостановился:

– *Та-а-г!*

– Штаб. Где тут штаб? – спрашиваю его по-русски.

– *Штан?* – переспросил он. – *Штан канум!* – и куда-то махнул рукой.

«О, где ты, Толя Балацкий? Как бы сейчас врезал ему!»

Да, здания штаба нет. Нет и трибуны (синей деревянной), мимо которой мы столько раз проходили торжественным маршем с песней:

*Ощетинились антенны –
расстоянья не страшны.
Никакие вражьи тени
не закроют свет страны.*

Заводил Лева Ошеров. Мы дружно подхватывали:

*Бывает походная рация
сильнее любого огня.
Без связи слепа авиация
и даже броня не броня.*

Улетала наша песня выше сосен, елей, далеко-далеко...

Здание казармы, однако, сохранилось: двухэтажное из белого силикатного кирпича и с выложенными на торце – уже другим, красным кирпичом – цифрами: 1970. Год завершения строительства. Это уже после моей демобилизации. Сиротливое, безжизненное (окна замурованы), словно немой укор...

Зияющие пустотами автобоксы. По жухлой высокой траве пытаюсь пробиться к ним. Почва сухая, песчаная. И вдруг – стоп! Что это? Сапог? Да, он самый, сплюснутый, полуистлевший. Чей? И как тут оказался? Бедный Йорик! А был когда-то и блестящ, и легок, кокетливо поскрипывал по казарменному полу, лихо, на пару с другим, таким же вышагивал по плацу, позвякивая подковкой, носился по брусчатке, по лесным тропинкам.

Другой, должно быть, где-то рядом. Нет, не вижу. Подальше, значит. Еще дальше? Ясно одно: это кто-то из дембелей, переобувшись в обнову, старые сапоги один за другим вышвырнул за забор. За ненадобностью. Лет этак двадцать пять, тридцать тому назад... Вот и наша воинская часть со временем стала... за ненадобностью. И наша служба здесь – за ненадобностью...

Еще раз прохожусь по территории и – на выход. Мимо КПП, через распахнутые ворота (Тррам-тррам-тррам!). По дощатому

настилу через железку (Тррам-тррам-тррам!). Мимо стадиона. Господи, глядеть на него больно: дикое, заросшее поле. Вон до того поворота, что у офицерской столовой (какая-то полужемлянка с фанерными окнами). Мимо офицерских коттеджей (те же окна-доски)...

– Роз-Мари уволилась, – сказали мне в музее, – в 1982 году. Но охранился ее адрес: Лихен, Дорфштрассе, 14.

Лихен? Так это в двенадцати километрах отсюда. Там еще располагался армейский госпиталь, куда к сестричкам частенько мотались наши офицеры и «макаронники».

Снова, уже в который раз, выбираюсь на шоссе, останавливаю первую же легковушку и, перемежая русские слова с немецкими, прошу сидящего за рулем юного германца подвести до Лихена.

– *Биттэ!* – с легкостью соглашается он.

Ехать – всего ничего, однако же успеваю сказать ему, что прибыл из Москвы, что когда-то служил здесь. Он взглянул на меня не то чтобы с любопытством, а, скорее, с недоумением. Для него, родившегося явно уже после берлинской стены, в уже объединенной Германии, я был словно из другого мира, непонятного ему и неведомого.

– Вот еду повидать одну женщину, – прерываю затянувшееся молчание.

Он понимающе улыбнулся:

– *Гут!*

Зря опережаю события. Роз-Мари, может, там и не проживает, давным-давно перебралась в Потсдам или Берлин. Помнится, были у нее такие планы. И там, в Потсдаме или Берлине, у нее семья – муж, дети. Однако ж в доме-то кто-то будет, и, значит, подскажет, где ее искать...

Въехали в Лихен, и я попросил остановиться:

– *Цу фуз* (пешком). *Данке шен!*

– *Битте!* – деньги взять он отказался.

Вот и дом. Низенький деревянный заборчик, рядом с калиткой – почтовый ящик (*Дойче пост*), кнопка звонка. Нажимаю. Никого. Соображаю: звонок этот для извещения о почте, значит,

должен быть и другой звонок, у двери. Вхожу в калитку и тут вижу, на пороге появляется женщина в светлых брюках, с уже заметной сединой. Роз-Мари? Да нет. Вроде не она. Сестра, наверное. Или племянница. Здравуюсь и, с трудом подбирая слова, объясняю причину своего приезда. Женщина что-то отвечает. (Господи, сколько раз просил немцев не говорить быстро!) Ничего не понял, кроме *найн, нихт*. Нет дома? Уехала? Куда?

– Найн, найн, – и жестом предлагает в дом.

Большая светлая комната, круглый стол, накрытый бежевой скатертью, пианино (Роз-Мари играла на пианино? Вот не знал!), на каминной полке – большая фотография в рамке. Да, это она. Короткая стрижка, светло синие глаза. Совсем молодая. А женщина (сестра или племянница) все что-то говорит и говорит, я не слышу и не слушаю ее, и вдруг резануло: *тод*.

– *Тод?* Смерть?

Она кивнула:

– *Цванцигхундертзехс*, – достала блокнот, карандаш: 2006.

В ужасе гляжу на нее.

– *Кранкхайт* (болезнь), – добавила она.

Роз-Мари умерла? В 2006-м? И я об этом не знал? О, господи, что я несу? Откуда и как я мог бы узнать? Как будто у кого-то из ее близких, у этой же женщины, мог быть мой адрес. Его и у Роз-Мари не было: я как-то сразу закрутился, затерялся: студенчество, стройотряды, любимая журналистика...

– *А дизэ*, – показывает на фото слева: улыбающийся, в кожаной куртке парнишка, – *Зон* (сын). *Гюнтер*.

– *Гюнтер*, – зачем-то повторяю я.

– *Берлинэнмаэр*.

– Что? – непонимающе смотрю на нее. Ах, да, берлинская стена!

– *Шиссен* (стрелять), – продолжает она. – *Дойче зольдате*, – снова берет карандаш, записывает: 1987.

– Не понял. *Эс мёглих?* Неужели?

Она кивает.

Вот оно что. Убит при попытке перебраться в Западный Берлин. Гэдэровскими пограничниками. Такого Роз-Мари, конечно же, пережить не могла... Зачем все так?

Зачем я вообще приехал сюда? Чтобы лишний раз убедиться в том, что мое, наше, тысяч и тысяч советских солдат пребывание здесь на поверку оказалось ненужным и бессмысленным? Чтобы узнать, что Роз-Мари больше нет, что сына ее убили?

Через пару часов поезд мчал меня в Берлин, где мне предстояли две-три скучные экскурсии. Мне же не терпелось поскорее оказаться в подмосковной электричке...

И ЭТО
ГЛАВНОЕ...

Рассказы

СЕСТРЕНКА

Я буду долго гнать велосипед...

Н. Рубцов

В школьные годы был у меня друг Женька Бородин. С тех пор минуло немало лет, и мы, как это нередко бывает с однокашниками, потеряли друг друга. Сначала нас разлучила армия. На три года я ушел в погранвойска.

Женька писал мне довольно часто, делился новостями, подбадривал меня и непременно рассказывал о своих опытах – в то время он увлекался радиотехникой. Позже, когда поступил в институт, писал о полюбившемся им городе, где теперь жил, о студентах, преподавателях, но более всего о науках. Для него схемы, формулы, уравнения были родной стихией.

Расспрашивал меня о солдатской жизни. В армию его не брали из-за повреждения кисти правой руки. Как-то в детстве вместе со сверстниками он разряжал найденную в лесопосадке оставшуюся со времен войны мину. В те годы дети нередко наталкивались на подобные игрушки, и не раз окрестную тишину сотрясали глухие и страшные своей неожиданностью взрывы.

Женька остался жив. Но на кисти правой руки недоставало двух пальцев...

У Женьки я бывал часто. Меня тянуло к нему. И, несмотря на то, что мы ежедневно виделись в школе, пообедав и наскоро пробежав расписание завтрашних уроков, я садился на велосипед и уезжал к нему, на Песчаную.

В те годы в нашем городке велосипед был, пожалуй, самым главным видом транспорта. Велосипеды были у всех или почти у всех. В некоторых семьях даже по два: один для взрослых – отца, старших, уже работающих сыновей (женщины на велосипедах

мало ездили), другой – для детей. Это была поистине велосипедомания. И не моды ради, а из-за удобства, практичности велосипеда. В небольшом городке, где всего-то расстояния – от улицы до улицы, велосипед был вещью просто незаменимой. Это потом уже появятся мопеды, мотоциклы, «Запорожцы», «Жигули».

Подъезжаешь, бывало, к гастроному или другому какому магазину и видишь: все места вдоль стены и даже у ближайших деревьев заняты. Вот и приходилось прислонять свой велик к другому такому же. Или наоборот: выходишь, а твое двухколесное чудо придавлено двумя-тремя другими. Прodelываешь сложнейшие манипуляции, пока освободишь его, причем, несколько не досадуя на причиненное тебе неудобство. Объединял тогда велосипедистов некий неписанный кодекс взаимоуважения, взаимовыручки. Случись что с тобой – помощь тут же, рядом. Кто нипель предложит, кто недостающую гайку, кто колесную спицу, не говоря уже о ремонтных ключах.

У Женьки я попадал словно в другой мир. Его комната – то ли лаборатория, то ли мастерская – поражала обилием всяческих предметов. На столах, стеллажах, подоконниках – разобранные или полусобранные радиоприемники, усилители; в ящиках столов, в коробках – радиолампы, длинноусые (редкость по тем временам) полупроводники и прочие красные, зеленые, известные ему одному штучки. Под потолком – гирлянды проводов, а на деревянной подставке – вечно дымящийся паяльник. Схемы, книги. Книг было особенно много: физика, астрономия, шахматы...

В углу комнаты стояло копьe. Это была особая Женькина привязанность. Как-то на уроке физкультуры он сломал копьe, сам же и починил его, и физрук отдал ему его насовсем. Каждый вечер Женька уходил с копьем в расположенную неподалеку рощицу и метал его по часу и дольше. Сильно и метко.левой рукой.

Отца у Женьки не было. Жили втроем: он, мама, Екатерина Ивановна, и сестренка Ольга. Ольга была года на четыре моложе нас с Женькой, училась в той же школе, что и мы, была прилежной ученицей и образцовой пионеркой. Пожалуй, больше и сказать о ней было нечего. Ребенок, детский сад. Сестренка, как мы ее называли. И все же, ловил я себя на мысли, было в Ольге

нечто такое... Не знаю, как Женька, а я угадывал в ней будущую красавицу. Огненно-карие глаза. Длинные ресницы.

Женьке об этом я никогда не говорил. Стеснялся, что ли? А может, потому еще, что, сделав для себя такое открытие, считал его сугубо личным, а о личном, как известно, не распространяются...

Я приезжал к Женьке, и мы подолгу засиживались в его комнате. Он показывал мне свои опыты, идеи которых рождались у него тут же. Нередко, как мог, я помогал ему в предвкушении результата.

Но, пожалуй, самым сокровенным в наших встречах были разговоры и сами по себе возникающие споры. Мы словно проверяли друг на друге свое понимание жизни, отношение к тем или иным событиям, фактам.

Говорили и о любви. Правда, редко. Женька не любил эту тему и со свойственной ему прямолинейностью называл всех девчонок дурами, существами без логики, хотя, я подозревал, некоторые из этих дур, из того же нашего 10-б, были ему далеко не безразличны. Но он всячески скрывал это.

– Во взглядах на женщин, – глубокомысленно заключал он, – в своих суждениях о них я, наверное, старомоден. Женщина стала слишком упрощенной и слишком доступной всем своим обликом. И, вообще, в своей эмансипации (нам очень нравилось это не очень непонятное нам слово) женщина зашла слишком далеко. Ни таинственности, ни загадочности. Будь сегодня Пушкин, наверняка бы разочаровался: женщина перестала быть божеством.

Я протестовал: мол, время теперь такое... Все напрасно. Женька был непоколебим.

А Ольга тем временем гоняла на моем велосипеде. Этих минут ждала она с нетерпением. Каждый раз, когда я приезжал к ним, она тут же выбегала навстречу, полыхая огромными и каждый раз разными бантами в туго заплетенных косичках.

– Можно? – сверкая глазами, спрашивала она, и без того зная, что можно.

Женька что-то ворчал насчет уроков.

– Все, все сделала, – заверяла она и уезжала.

Ездила она быстро. Ее радовали ощущение скорости, натиск ветра в лицо, проносящиеся мимо дома, деревья.

Иногда мы катались вместе. Мы уезжали за город, где поменьше движение, и тут уж я не щадил ног своих: жал на педали, что есть мочи.

– Быстрей! Быстрей! – веселилась Ольга.

Мы так неслись, что становилось зябко.

– Вот так бы и лететь всю жизнь! – как-то сказала она. – Только сколько не мчись, все равно придется остановиться...

Признаться, она удивила меня своей философией, и я еще подумал: а мы-то с Женькой считаем ее ребенком.

– Тебе и не надо останавливаться, – сказал я. – Ведь ты же будешь очень красивой... – сказал и, сам не знаю, зачем, поцеловал ее в щечку.

Она не отстранилась, не обиделась, а только напряглась вся и стала какой-то отрешенной, задумчивой...

А как-то спросила меня, кем ей быть. Учителем, врачом, геологом?

– Можно и учителем, – сказал я. – Или врачом.

– Знаешь, – продолжала она, уже не слушая меня, – мне хочется сделать что-то такое... Что-то очень-очень необыкновенное, чтобы весь мир заговорил обо мне. Открыть звезду или остров. Что-то придумать, сочинить...

– Вот и молодец! – отшутился я.

... Пролетели дни, месяцы, годы.

И вот я дома. Это первые мои студенческие каникулы. В институт поступил я сразу после армии. А с Женькой мы так и не свиделись, и не знаю, дома ли он сейчас или опять где-то в стройотряде. И все же решил съездить к ним, на Песчаную. Может, увижу Ольгу?

Достал из чулана велосипед (До чего же он запущен, старомоден!) и долго, любовно с ним возился. И засверкал он прежним блеском, резво зазвонил его звонок.

Встретила меня Екатерина Ивановна:

– Тебя и не узнать, Алеша, большой стал, возмужал. А Жени нет. Да, опять в стройотряде. Как он сам говорит, калымит. К концу августа обещал подъехать. А ты еще будешь? Не будешь? Жаль. А Жене еще годик остался. Потом – аспирантура...

Она гордилась своим Женей и не скрывала этого. А что же Ольга?

– Беда мне с ней, – Екатерина Ивановна вздохнула, – школу бросила. Уж сколько Женя писал ей, уговаривал продолжить учебу – бесполезно. «Ни к чему, говорит, мне все эти науки. Женщине нужно, что полегче да что попроще».

– Работает?

– Маникюрщицей. Ногти красит. Встречалась тут с одним. Хороший вроде парень. Вместе в школе учились. Да что-то там у них не заладилось. А теперь вот – другой, Альберт Михайлович. Не лежит к нему моя душа. Весь какой-то сахарный, липкий, и все «маменька» да «маменька».

Я попросил разрешения пройти в Женькину комнату, вернее, в бывшую Женькину комнату. Ничего от прежнего в ней не осталось. Все говорило о том, что хозяйка здесь теперь – женщина. Пахло духами и прочей парфюмерией. Все не так, все по-другому. Разве что большая рамка с фотографиями. Она и тогда висела здесь, в проеме между окнами. Вот Женькин отец – он в лейтенантской форме, танкист. Вот Екатерина Ивановна, в строгом деловом костюме, совсем еще молодая. А вот и сам Женька – снимок студенческий: усы, редкая бородка. Тут же и Ольга – глазастая, с огромными бантами. А поверх стекла, слева, в углу – моя фотокарточка. Я – в наглухо застегнутом мундире, в новенькой фуражке с блестящим козырьком. Лицо какое-то напряженное, даже суровое. Самому смешно стало: «Неужто и впрямь такой был?» Взял карточку, машинально перевернул ее и замер: «Любимой Ольге от Алешки!» Ничего себе! Почерк ровный девичий. Сама себе подписала? А фотка откуда? Вроде не посылал ей. У Женьки взяла. У него фоток моих было дополна. Торопливо, словно боясь быть уличенным в чем-то некрасивом, водрузил фотографию на место и поспешил к выходу.

– Пойду я, Екатерина Ивановна.

– Уже? А я чаек поставила. Думала, посидим, поговорим. Да и Ольга должна подойти.

– Спасибо! В другой раз, – одеревенелыми губами пробубнил я.

Во дворе послышался шум мотора.

– А вот и Ольга.

Честно говоря, мне не хотелось с ней видеться. Отчего вдруг возникло такое чувство, и сам не знаю, и сожалел, что сразу не уехал. Женьки нет, надо было по-быстрому попрощаться с Екатериной Ивановной и укатить. Нет же, покажите Женькину комнату...

А навстречу шла стройная, светловолосая девушка с большими карими глазами. И вправду красавица!

– Ба! Какие люди! – заулыбалась она. – Здравствуй, Алеша! Что же ты забыл нас?

– Да нет, не забыл. Вот приехал...

Ладощка у нее нежная, теплая:

– А это Альберт Михайлович. Знакомься.

– Очень приятно. Алексей

Пружинисто развернулась, сверкнув разрезом юбки:

– Мам, мы ненадолго, мне только переодеться, – подошла к велосипеду, легонько провела рукой по никелю руля. – Тот самый?

На какое-то мгновение мне показалось, что она сейчас выведет велосипед на дорогу и, смеясь, помчится навстречу ветру, мимо деревьев, домов, прохожих...

– Оля мы опаздываем, – нетерпеливо затоптался у «Жигулей» Альберт Михайлович и зачем-то стукнул ногой по колесу.

Она улыбнулась, подняла на меня погрустневшие глаза:

– Береги его...

– Постараюсь, – а сам чувствую, как ходуном заходило сердце.

Они уехали. Я тоже засобирился. Екатерина Ивановна проводила меня до калитки.

– Не расстраивайтесь, – говорил я ей. – Все образуется. А Жене я напишу...

Велосипед легко катил меня по асфальту. А прежде, по песку, здесь было не пробиться. И вообще многое изменилось с тех пор. Нет больше пустыря, где мы с Женькой устанавливали мачты антенны. Теперь здесь многоэтажки. И рощица поредела. И, конечно же, не найти то дерево, в которое угодило Женькино копье. А здесь, на углу, мы поджидали велосипедистку Ольгу.

– Алеша, а завтра приедешь? – спрашивала она, передавая мне велосипед, запыхавшаяся и счастливая...

Не приеду, Оленька. Не приеду...

КАВКАЗСКАЯ ИСТОРИЯ

1

Я уезжал к морю, на Кавказ. Там меня никто особенно не ждал, и путевки или курсовки у меня не было, но был билет на самолет, и, как говорится, пора собирать чемодан.

Но прежде я позвонил Ирине, с которой виделся, бог знает когда, и отношения с которой давно уже стали не более чем приятельскими, если только можно назвать приятельницей женщину, за которой некогда волочился и даже был влюблен.

Но бури и страсти все позади; к счастью или к несчастью, кораблик наш они разрушили, и мы, благополучно выбравшись на берег в разных его местах, встречаемся теперь лишь для того, чтобы поглядеть друг на друга да обменяться дежурными комплиментами: «О, ты так возмужал!..», «А ты все хорошеешь...»

Прошлое стараемся не ворошить, хотя ее нет-нет да и заносит в дебри воспоминаний, и тогда я либо угрюмо молчу, либо увожу разговор в сторону, потому как на многое, оставшееся там, в прошлом, наши взгляды никогда не совпадали и не совпадают, а ссориться вроде ни к чему.

Словом, я позвонил ей и предложил встретиться. Просто так, посидеть, поболтать. Повода особого не было, разве что мой отъезд к морю, на Кавказ. Я понимал: все это из озорства, навеянного отпускным настроением и дружеским застольем, когда неудержимо тянет к некогда любимым женщинам, оставив которых, нам никак не удастся их оставить. О, этот мужской эгоизм!

Я уже представлял ее легкую, стремительную походку. Вот она скользит взглядом по спящей у метро толпе, как бы предоставляя возможность всем и каждому и, прежде всего, мне, конечно, полюбоваться ею. Смотри, мол, это уже не прежняя Ирочка-дурочка, воплощение наивности и непосредственности, а вполне

респектабельная и знающая себе цену женщина. О, это женское кокетство!

Но я знал: уже через минуту-другую она станет сама собой, какой была пять, шесть или даже семь лет тому назад – нежной, доверчивой, отзывчивой.

– О, ты так возмужал! – подставляет щеку для поцелуя. (Все те же духи. Завидное постоянство!)

– А ты все хорошеешь, – продолжил я.

Долго бродили по душной тополиной Москве. Больше говорила она. Работает в Интуристе, много ездит. Была даже в Самарканде. (Это – в пику мне. Я ведь тоже много езжу, а вот в Самарканде, как она считает, не был. Пусть так считает.) Вспоминали общих знакомых: кто-то женился, кто-то развелся...

– Да, чтоб не забыть: тебе привет от родителей.

Сказала как бы мимоходом, а в словах – заноза. Я-то знал, что родители ее по-прежнему хорошо ко мне относятся, и это меня то ли раздражало, то ли угнетало, словно я в чем-то был виноват перед ними.

– Спасибо! Как они?

– Ничего, держатся. Хотя, сам знаешь, силы уже не те, – улыбнулась. – Никак не дождутся моего замужества.

– Так в чем же дело? – как можно простодушнее спросил я.

– Не берут, Сереженька, не берут, – в тон мне ответила она.

– Ну, это ты зря.

– Может, и зря... Ты ведь тоже не женишься.

– Я – другое дело. С меня хватит...

Она знала историю моей женитьбы. Это была грустная история...

Несколько минут шли молча, взявшись за руки. Как пять, шесть или даже семь лет тому назад. Ее ладонь доверчиво лежала в моей ладони. Как родная.

– Вот на юг собрался, – прерывал я затянувшееся молчание.

– О-о! – встрепенулась она. – Поздравляю! Надолго?

– Дней на десять.

– Хоста, Сочи, Сухуми... – в ее голосе промелькнула грустинка.

– Да, наверное. А там как получится.

– Жестокий ты, Сережа. – Вскинула на меня огромные зеленовато-карие глаза. – Ты позвал меня для того, чтобы все это сказать?

– Ну, что ты? Мне, действительно, хотелось с тобой пови-
даться.

– Нет, ты неисправим.

– Исправим, исправим. Как все.

– Как вс-е-е? – удивленно и как бы прислушиваясь к своим словам, протянула она. – А я-то думала. – Глаза ее озорно за-
сверкали. – Люди, он такой, как все, как все!..

Тополиный пух садился на ее волосы, ресницы. Все-таки глаза у нее красивые. (Кажется, это у Лермонтова: если о женщине больше нечего сказать, говорят о ее глазах.) Но уже не скрыть было легких морщинок у губ и на лбу, и когда она чему-то удив-
лялась или так некстати (у женщины это всегда некстати) сосре-
дотачивалась, они прямо-таки портили ее лицо.

О, женщины! Поймав свое отражение в зеркале, иная из вас и ямочки на щеках изобразит, и губки подберет, и глазки соорит. Эх, преподнести бы вам сие зеркальце не в минуту победоносно-
го кокетства, а когда вы раздражены, во гневе. Бр-р-р...

– Люди, он такой, как все! – не унималась Ирина.

– А ты-то думала.

– А я-то думала. Да, Сереженька, думала. Ну, да ладно. При-
вет Хосте, Сочи, всем нашим местам. А помнишь? Ты только не перебивай, – она перешла на шепот, словно боясь, что ее кто-то подслушает. – Помнишь, мы ездили в Ткварчели. Но сперва при-
ехали в Сухуми. Ночь. Темень. Последний поезд ушел. Так и про-
сидели до утра в скверике. Холод жуткий. Ты все пытался укрыть
меня своей рубашкой. Помнишь, была у тебя такая: в голубую
полоску, нейлоновая.

А я помнил другое. Я помнил, что именно там, в Сухуми, на-
чались наши разговоры, выяснения отношений. Э-э, да что об
этом вспоминать?

Когда уже прощались, совсем поздно, она достала из сумочки
рыжий конверт (я догадался: фотокарточки.) и, увлекая меня к
фонарному столбу, стала показывать его содержимое:

– Нравятся?

Карточки мне не нравились. Мне никогда не нравились ее фотокарточки, как и не нравилось ее неумное желание фотографироваться, хоть с утра до вечера, и потом всем показывать эти фотки, дарить их. Не нравилось и то, что считала себя красавицей и мечтала стать актрисой.

– Опять кинопробы? – не без ехидства спросил я.

– Какие кинопробы? – с легким раздражением ответила она. – Это все в прошлом. Того времени уже не вернуть...

Я так и не понял, о чем она сожалела. О том, что не стала актрисой? Так через это прошли все мало-мальски смазливые девчонки. Или она самой себе завидовала? Той, другой Ире, юной, беспечной, счастливой.

– Вообще-то неплохо, – сказал я и для пущей важности держал один из снимков в руке.

– Можешь взять. И этот тоже. Здесь хорошая подсветка. Смотри, какие волосы. Будешь вспоминать меня. Там, у моря.

Боже мой! Этих снимков у меня хоть пруд пруди. Я, кажется, сам их кому-то дарил.

2

Устроился я на турбазе “Бургас”, что неподалеку от Адлера. Своим названием обязана она болгарскому городу Бургас. И, как говорят, там, на земле Кирилла и Мефодия, есть здравница, носящая имя нашего милого Адлера.

А устроиться помог один товарищ, которому его товарищ, по просьбе моего товарища, звонил накануне. Кажется, так все было. И еще, помнится, несколько смутила специализация заведения: турбаза. Полегче бы чего. Но все тот же товарищ, то ли грек, то ли грузин, объяснил, что туризм здесь – дело сугубо добровольное. Хочешь быть туристом – будь им. Не хочешь – не будь.

Я сказал, что не хочу.

– Вот и отлично! Отдыхай себе на здоровье! Загорай, купайся, – тараторил он, ощупывая взглядом крупные бедра проходящей мимо туристки. – Телефон мой знаешь. Если что, звони...

– Спасибо! Будете в Москве...

– Нэ надо, – перебил меня красноречивым жестом. – Вы там все такие замотанные...

Мы коротко пожали друг другу руки в полной уверенности, что больше не увидимся. Да и зачем, в принципе? То, о чем его попросили, он сделал и, как я понимаю, не столько для меня, сколько для нужного ему товарища, который, в свою очередь, нужен моему московскому товарищу и так далее...

Плюхнулся в “Жигули” и, посигналив улыбающейся туристке, укатил. Та еще откровеннее заулыбалась и повела в мою сторону синими, как море, глазами.

Надо же, заужала.

Позвала, однако, туристская тропа и меня. И не потому, что надоело быть матрасником, как в шутку называли здесь тех, кто только и знал, что пляж да послеобеденную койку. Быть матрасником – благо. Возлежи себе на солнышке, лениво переворачиваясь (лишь одна забота) с бока на бок, немного почитывая, немного покуривая, немного поплеывая, в душе, понятно, на весь белый свет. А захотелось – бултых в пенистое море. И опять – на солнышко. Для тебя единственного оно светит. И транзистор орет. И девушки прохаживаются...

В горы потащили меня Андрей и Марина, мои новые знакомые и тоже – москвичи. И поскольку судьбу мне было не ловить – для этого и в Москве возможностей предостаточно, – а всякие там пляжные мулечки уже мало вдохновляли, я согласился составить им компанию, тем более что парочка они были довольно симпатичная, жаль, что ссорились часто.

– Нет, ты обязательно должен пойти с нами, – уговаривали меня Андрей и Марина.

Мы сидим в их номере. Окно зашторено, но жара – спасу нет. На Марине легкий халатик. Русые, вьющиеся волосы собраны в тугой пучок. Стройная, изящная – столичная.

– Предстоит так-о-о-й маршрут! – нараспев протянула она и чмокнула Андрея в щеку. – Чудо! С восхождением на ледник.

– Какой ледник? – взмолился я. – Я выше Ленинских гор-то¹ и не поднимался.

¹ Ныне Воробьевы горы.

– Да не бойся ты. Мы тоже поначалу сомневались и вот решились.

– Тем более с таким инструктором, – вставил Андрей.

– А что инструктор? – с несколько наигранным, как мне показалось, удивлением протянула она. – Инструктор как инструктор. Весельчак, балагур и на гитаре играет. Уж не ревнуешь ли ты? – заглянула ему в лицо. – О, если бы ты хоть ревновал!

– Ерунда, какая! – пробубнил Андрей.

– Для тебя все ерунда.

Странная она была парочка. И не супруги, а такое впечатление, что всю жизнь вместе. И даже как бы поднадоели друг другу. Впрочем, к чему я это? Вместе – значит, нужны друг другу.

В общем, стоим мы с Андреем под сенью разлапистого клена и с наслаждением потягиваем холодное свежайшее пиво. Не знаю, как сейчас, а в те времена каждое утро коротышка-абхазец, вечно небритый и в вечной общепитовской как бы белой куртке, надетой поверх темно-вишневой, опять-таки нейлоновой сорочки (во мода была!), доставлял сюда бочку пива – огромную, росистую. То-то было блаженство!

Мы щурились яркому солнцу, раскаленным добела тротуарам, стенам домов, мерцающему рядом морю и спящим вдоль него синим, желтым, полосатым, в горошек, в клеточку купальникам. Лениво провожаем их взглядом и продолжаем потягивать наше пиво, аккуратно слизывая с губ коралловые островки пены.

– Вот бы всех их на Калининский!¹ – говорю Андрею.

– Зачем? Здесь они смотрятся лучше. Там – макияж, бутафория. Здесь – натура. Знаешь, чем всегда гордился мой сосед дядя Гриша, скромный чистильщик обуви? Тем, что добрую часть жизни провел у женских ног. Представляешь, сколько их побывало перед ним. Юных, стройных и не очень стройных, замужних, незамужних. И каждую ножку надо было обслужить.

– Художник твой дядя Гриша.

– Скорее, философ.

Мы допили наше пиво и поднялись ко мне в номер. Андрею хотелось лично убедиться в моей готовности к походу: кеды,

¹ Ныне улица Новый Арбат.

штормовка, рюкзак – мне их выдали на складе турбазы. Андрей посоветовал захватить что-нибудь из теплых вещей: ночью в горах холодно. Свитер, джемпер. Джемпер у меня нашелся.

– Вот и замечательно.

– На-ка взгляни, – я протянул ему фотокарточки Ирины, насколько не сомневаясь, что они произведут на него впечатление.

– Твоя что ли?

– Так... Из бывших.

– Актриса?

– Да нет. Однако ж мечтала стать актрисой.

– Ничего баба!

К походу у меня все было готово.

3

До Рицы нас довезли на автобусе. Дальше, сказали – пешком. «И пошли они солнцем палимые...» Хотя чаще повторяли другую присказку: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», – умиляясь противоречивости человеческого духа. Мы-то как раз шли в горы.

Впрочем, очень скоро всем стало не до шуток. Приуныли даже острословы.

– Километров уж пять оттяпали, – оглядываясь на ниспадающий серпантин дороги, заметил Андрей.

– Да в гору с километр, – поддержал его быстроглазый экономист из Читы Федор. Рядом с ним, послушная, как сенсорное управление телевизором, скользила его жена Лариса в синих штанах-трико, закатанных до колен, отчего белокафельно и еще как-то светились ее икры-кегли, напоминая об уютной городской квартире и мягком диване.

– Отдохнуть бы...

– Да и перекусить бы не мешало...

– Он что, берет нас измором?..

Он – это инструктор Витюша, сухопарый и черный донельзя. Вот человек! Часами может топтать, и хоть бы хны. Еще и песни орет. И анекдоты травит. Но сейчас и он притих и о чем-то шепчется с выпускницей Леночкой. Леночка впервые так далеко

уехала от дома. Все ей здесь нравится: море, горы. И инструктор Витюша. Это для нее он песни поет. И рюкзак ее тащит.

– Присесть бы...

– С нами ведь дети...

Зароптали, заворчали... Инженер из Тольятти и стюардесса из Уфы, товаровед из Жмеринки и бухгалтер из Пскова... Нумизмат, заика, блондинка, алиментщик... Кого тут только не было.

Марина тоже приуныла и, нисколько не капризная, повисла на плече у Андрея.

И тут ожил наш Витюша. Рванул струны казенной гитары и зарычал во всю мощь инструкторского горла: «Ведь это наши горы. Они помогут нам. Они-и-и помогут нам...»

Ну как можно было ему не верить, как и автору этих замечательных строк? И мы поправляли ненавистные лямки рюкзаков и еще громче шаркали ногами: инженер из Тольятти и стюардесса из Уфы, товаровед из Жмеринки и бухгалтер из Пскова, женщина с девочкой-подростком (женщину звали Зоя) и женщина без девочки-подростка, экономист из Читы с супругой, икры-кегли которой светились в горах седого Кавказа...

Вперед и вверх, а там!

4

А там все будет хорошо. Мы доберемся до заветного ледника. Пойдут, правда, не все, а самые-самые. Тут уже инструктор Витюша будет решать. Словом, дети и большинство женщин останутся в базовом лагере, как мы окрестили наши несколько палаток. Останется и Марина, сославшись на неважное самочувствие.

Вопреки нашим ожиданиям льда на леднике не окажется. Этот будет обычный снежный склон с той лишь разницей, что снег будет колючий и крупный, как морская соль. Мы тут же бросимся на него и, обжигая ноги и руки ледяным холодом, закидаем друга друга снежками.

Потом, стуча зубами, спрячемся от адского солнца за выступом скалы у крохотного, страшной глубины озера. Не помню его названия, помню только, что носит оно имя женщины-геолога,

открывшей и исследовавшей его. Здесь же, у скалы перекусим: бутерброды, чай. И снова – на ледник. Уже попрощаться. И сфотографироваться.

– Давай оставим что-нибудь, – предложу я Андрею.

– Зачем? «Здесь был Вася?..»

– Да нет. В общем, смотри... – и я достану из нагрудного кармана фотокарточку Иры.

– Ну и ну, – скажет Андрей. – С собой носишь. А говорил, «так, из бывших»...

– Ладно, не фантазируй. Пусть и она в горах побывает. Жалко, что ли? Сам об этом и расскажу ей. Ручка есть?

– Откуда? – удивится Андрей. – Постой, наверное, у Витюши есть. Щас сбегая...

«Привет Кавказу!» – напишу я на обороте фотокарточки, а ниже – семь цифр.

– Это еще зачем? – спросит Андрей. – А-а, понял: номер телефона, московский. Ну-ка? 137 99 78. Думаешь, кто-нибудь клюнет? А если после нас никто уже сюда не придет? Мало ли что может случиться. Возьмут и закроют маршрут.

– Значит, не судьба.

– Да ты, фаталист! – воскликнет Андрей. – Дай хоть напоследок взглянуть.

Мы вложим фотку в плотный целлофановый пакет, прижмем его со всех сторон камнями, чтобы ветром не унесло, а самым большим камнем прикроем от солнца.

Да помогут ей горы! И небеса тоже.

5

Я не сразу позвонил Ирине, не хотелось расспросов: как там Хоста, Сочи, Гагра? Я ведь, кроме как в Адлере, нигде и не был. Ну еще в горах. Но как раз об этом и не хотелось ей рассказывать. Да и неловко было за свою выходку. Фотокарточка та так и осталась на леднике. Отправившаяся вслед за нами группа туристов до него не добралась. Накануне в горах выпал снег (Андрей как в воду глядел), и руководство «Бургаса» приняло

решение снять группу с маршрута, а маршрут закрыть уже до конца сезона.

Потом мы встречали их, неудачников. Они же чувствовали себя, чуть ли не героями, восторженно рассказывали о снегопаде (и это в августе!), о том, как их разыскивал вертолет...

А потом я провожал Андрея и Марину. Марина была не в духе. Андрей тоже казался каким-то другим: вялым, скучным.

Боже мой! Какие мы интересные в отпуске, и какими становимся занудами, собираясь восвояси!

– Пока, Сережа! – грустно улыбнулась Марина, слегка прикоснувшись щекой к моей щеке. – Может, в Москве свидимся.

– Пока, старик! Ты звони, – поддакнул Андрей.

«Нет уж, ребята, подумал я, звонить я вам не буду. Разберитесь сначала в своих отношениях...»

Потом я провожал экономиста Федора и его жену Ларису. Хорошие они оказались ребята. К себе звали, на Урал:

– Бери командировку и – к нам! Чего тебе стоит?

Потом еще кого-то провожал. Потом – женщину с девочкой-подростком. Женщину звали Зоей. Она все заглядывала мне в глаза, поругивала своего начальствующего мужа (дома практически не бывает) и твердила, что никогда-никогда не забудет этот адлерский август. И пока дочка бегала за мороженым, целовала меня так, как, наверное, никого в жизни не целовала: с обидой и благодарностью, с упреками и прощением...

Словом, по возвращении в Москву я не стал звонить Ирине. Набежали всяческие дела, одна командировка, другая. И вдруг узнаю – прошло, наверное, с полгода, – что она выходит замуж. Узнал об этом я совершенно случайно от каких-то, бог знает откуда взявшихся общих знакомых. Значит, мог бы и не узнать. И я позвонил.

К телефону подошла ее мама, Клавдия Михайловна:

– Что же ты забыл нас, Сережа? А мы тебя часто вспоминаем. И я, и Алексеич, и Ира...

Пошло, поехало. Клавдия Михайловна любила поговорить. Пришлось ее перебить:

– Клавдия Михайловна, говорят, вас надо поздравить?

– Да, Сереженька, да! Дай бог ей счастья!

– Жених-то ничего?

– Вроде ничего. Самостоятельный, непьющий, – с удовлетворением констатировала она. – Он такой же, как ты, выдумщик. Представляешь, говорит, что в горах ее нашел. Был на какой-то вершине, и там она ему привиделась. Сочиняет, конечно... Извини, Сережа, звонок в дверь. Может, Ира?

Слышу в трубке, как хлопнула входная дверь, потом что-то загремело, зашуршало, заскрипело, как будто в прихожей, совсем крохотной, я ее до мелочей знаю, толпятся человек пять. «Ну, иди же, человек ждет». «Ничего, подождет...» А прежде неслась к телефону, все сменяя на своем пути.

– А-а, Сережа, здравствуй!

– Здравствуй, здравствуй! Это что же получается? Оставил девушку на несколько месяцев, а она туда же, замуж...

– На несколько месяцев? На годы и годы, Сережа. Это, во-первых. А во-вторых... Знаешь, приезжай!

– Вот те раз! Может, еще на свадьбу позовешь?

– А почему бы и нет? Мы же друзья. Ты сам всегда так говорил.

– Один ноль в твою пользу. Скажи только, где ты его подцепила?

– Ты груб, Сережа.

– Извини! Что же прикажешь мне совсем не переживать? Не чужой же мне ты человек.

– Да? – с нескрываемым удивлением спросила она.

– Не кокетничай!

– Сережа, почему так? Когда к человеку всей душой, он ноль внимания на тебя. А стоит отвернуться от него – в ноги падает.

– Ну, это уж слишком.

– Я не про тебя. Я вообще...

– Сказать тебе правду?

– Скажи.

– Из эгоизма все это. Все на свете из эгоизма. Вот ты выходишь замуж, чтобы проучить меня, не так ли? Просто не хочешь в этом признаться.

– Глупости говоришь.

– Нет, не глупости. Ладно... Как хоть зовут его?

– Андрей.

– И он про тебя все знает? И где живешь, и где работаешь, знает даже, что мечтала стать актрисой?

– Да, знает. Господи, да что я перед тобой оправдываюсь? Нет, Сережа, не приезжай. Не надо.

– Понял. И привет Андрею! Он про меня тоже многое знает... И я повесил трубку.

СИВЫЙ УС

Жил-был такой парень Панас. «Жил-был» говорю, потому что давно он уже никакой не парень, а – седина сединой, и вся ребятня, тот же внучек, единственный, кстати, внучек, называет его не иначе, как дид Панас.

– Так, так, – кряхтит Панас, поглядывая на желтый подсолнух, что примостился у самой изгороди. – Места, видите ли, ему в огороде мало. Желтел бы себе рядом с кабачками да гарбузами. Нет же, выпендриться решил, эгоист чертов! – и крутит свой сивый ус.

Ус свой он сколько угодно может крутить, но я-то догадываюсь, чем достал его этот подсолнух. В нем Панас увидел себя, молодого, горячего. Парень он и в самом деле был бедовый, и если бы надумал написать о себе, то вещица получился бы замечательнейшая. Но за перо Панас (знаю, знаю его блаженную лень) никогда не возьмется, поэтому попробую сам о нем рассказать. Он, действительно, того стоит.

А всему причиной любовь. Здорово она потрепала Панасову душу, раз за разом выворачивая ее наизнанку и подвигая его на такие подвиги, что и не снилось никому.

Влюбился Панас еще в школе. В одноклассницу Кристину. После уроков провожал ее домой и вообще всегда и всюду старался быть рядом с ней, всем видом своим показывая, что она, Кристина – его Кристина (голубоглазая, тугая русая коса). Кристине, понятно, приятны были его знаки внимания, но воспринимала она их не более чем проявлением школьной дружбы, и со временем все более настойчивые ухаживания Панаса стали ее раздражать.

Она уже не знала, куда деваться от него, и с нетерпением ожидала окончания школы.

Уехала она в другой город. И с ходу поступила, как о том и мечтала, в педагогический. Панас – за ней следом и тоже поступил: в политехнический. Такого от него Кристина явно не ожидала. А, надо сказать, и она, девка, горячая. Едва завершила первый семестр, забрала документы и – назад, в свой Миргород. И тоже – в педагогический. Панас хотел было рвануть следом, но перевода ему не дали. Расстроился он несказанно:

– Кристина, жить без тебя не могу!

– Вот закончишь первый курс, тогда и поговорим, – отвечала она.

Через год Панас все-таки перевелся в Миргород, теперь уже в машиностроительный. И снова: «Кристина, моя Кристина!» Прохода ей не давал. И уж не дай бог кто из ребят приблизится к ней. Отметелит за милую душу. Как-то один парень, с другого факультета, пригласил ее на танец. Панас буквально взбесился:

– Еще раз подойдешь к ней, зарежу!

Тот опешил:

– В самом деле, он способен на такое?

– Вполне, – хохотали мы. – Видишь, влюблен по уши.

А как-то возвращается в общагу мрачнее тучи.

– Что случилось? – спрашиваем его.

– Кристина сказала, что я не настоящий мужчина: в армии не служил. Вот, дескать, другие...

– Дурень! – талдычим ему. – Сколько парней стремятся зацепиться за вуз, чтобы избежать армии, а ты сам в нее напрашиваешься.

Все бесполезно. Уже на следующий день пошел он в военкомат, так, мол, и так, хочу служить. Потом доучусь...

Проводы устроили прямо в общаге. Кристины – нет. Поссорились что ли? Идем к ней. А она, видите ли, в спортзал собралась. В синем трико, в кедах:

– У меня тренировка.

– Какая, к черту, тренировка? Хлопец из-за тебя решил на такой шаг, а ты...

– Ладно, приду.

Побыла она недолго. Пригубила вина, пожелала Панасу хорошей службы. «А поцеловать?» – выкрикну кто-то. Поцеловала. В щечку. И убежала.

Служил Панас три года. Где-то на северной границе. Вернулся, а Кристина уже на четвертом курсе. Его же восстановили на прежний, второй. И снова везде и всюду с ней. Мы уже решили: точно поженятся. Фиг там! Кристина ставит ему новое условие: «Вот закончишь вуз, тогда...». Сама же перевелась на заочное отделение и уехала в какое-то село. Учительницей.

Панас мотался к ней чуть ли не каждый день. Возвращался поздно, на последней электричке. И как-то вваливается к нам в комнату, уже изрядно поддатый:

– Подъем! Водку пить будем! – и выставляет на стол две бутылки, закуску.

Мы сонные. Да и водку пить не хотелось. Мы тогда все больше на «Ркацителю» нажимали.

– Нет, вставайте! – приказывает он. – Я вам сейчас такое скажу, – голос взволнованный.

Ну, думаем, слава богу, все у них наладилось. А то уже устали от их неопределенности. Поднялись. Выпили.

– Ну, говори!

Он обвел нас торжествующим взглядом:

– Согласна!

Мы чуть ли не с криками «Ура!». А время было позднее. Наверняка пол-общаги разбудили:

– Поздравляем! Молодец! И когда свадьба?

Хитро улыбнулся:

– А никогда! Послал я ее, – и хохочет.

Мы оторопели (куда и хмель подевался).

– Как? Почему?

– А вот так. Взял и послал, – наполнил стаканы. – И она согласна. Расстаться согласна. Надоела...

Как на самом деле все было, нам оставалось только гадать. Может, как раз все наоборот было: Кристина послала его. С тех пор мы ее не видели. Наверняка вышла замуж, семья, дети...

– Так, так, – кряхтит Панас, поглядывая на подсолнух. – Выпендриться решил, черт рыжий! – и крутит свой сивый ус.

ЭХ, ДЯДЯ...

Но сразу скажу: с Леной у меня все нормально.

Так вот, неожиданно в Москве отыскался мой дальний родственник – дядя. Едва я приезжал к нему, он тут же выходил мне навстречу, держа в одной руке очки, в другой – газету:

– А-а, Володя! Государство в Африке. Пять букв. Знаешь?

Или спрашивал еще что-нибудь и смотрел на меня так, как будто видел во лбу моем все семь пядей.

Я, конечно, старался отвечать быстро и впопад. Дядюшка приятно улыбался и с наслаждением врисовывал в клеточки нужные буквы.

Зато как же огорчился, когда я не мог назвать какую-нибудь там рыбку или горную впадину. Тут надо было его видеть. Он весь тускнел, словно его кровно обидели, надевал очки и шел к своим энциклопедиям. И мне казалось, что он шепчет про себя: «Эх ты, студент...»

Понятно, я не мог видеть его таким, поэтому, готовясь к очередному визиту, шел в библиотеку и надолго засиживался над газетными и журнальными кроссвордами.

Вскоре это меня увлекло. Испытываешь истинную радость, видя, как пустых клеточек становится все меньше, слова удачно перекрещиваются, и каждое такое перекрещивание или заполненный уголок кроссворда – похвала твоему самолюбию.

Кроссворды для меня стали необходимостью. Я разгадывал их в метро, в троллейбусах, в сквере на скамейке, в очереди в столовую и даже на ходу. Ну и, конечно, на лекциях. И это меня чуть не погубило. Но, как говорится, не будем. И с Леной у меня все в порядке.

Так вот о ней. Конечно, она меня не понимала. Называла примитивом и прочее и очень бурно реагировала на каждый мой кроссворд. Иногда они у меня исчезали. Она их просто выбрасывала или прятала. Особенно эта ее реакция усилилась после одного случая. Пошли мы в кино. Я не помню названия фильма, поскольку всецело был занят словом из семи букв, которое означало бы название североамериканского города. Так вот, фильм неожиданно прервался, и в зале зажгли свет. Все, конеч-

но, заволновались, зароптали, иные даже засвистели. А мне что? Я рад. Я доволен. Тут же достаю из кармана должным образом сложенную газету с заветными клеточками, отыскиваю нужную строчку и... Эврика! Нашел!

А когда снова погасили свет, и, счастливый, я уставился на экран, от полноты чувств ничего решительно не понимая, и потом наклонился к Лене, а ее – нет. Ушла. Потом, конечно, объяснились.

Через несколько дней мы снова должны были с ней встретиться, как всегда, у памятника Пушкину. Времени у меня было предостаточно, и я пошел пешком. Захватил по обыкновению МК («Московский комсомолец»). Тут же смотрю последнюю страницу. Есть! «Советский кинорежиссер и сценарист». Ге-ра-си-мов. Подходит. «Торговое объявление». Ну, конечно же, реклама. Отлично! Так, что дальше? «Лекарственное растение».

Этого я не знал. И тут вижу, что нахожусь у аптеки. И в это время из нее выходит пожилой гражданин в серой шляпе. Я, конечно, к нему:

– Извините. Лекарственное растение. Шесть букв. – И сую кроссворд.

Он заглядывает в него, зачем-то пересчитывает клетки, словно я обманываю его, потом достает из кармана какую-то коробочку и тихо так, с гордостью читает:

– Жостер.

Я – с благодарностью.

– Пожалуйста! – говорит он.

Жму руку и иду дальше.

И вдруг тот же голос:

– Простите, а что по вертикали?

– Электронная лампа, – говорю я. – Никак не вспомню.

Стоим – думаем.

– Знаете что, – говорит он. – Тут неподалеку живет мой приятель. У него недавно сломался телевизор. Может, он знает...

Заманчиво, конечно, но я отказываюсь (все-таки к шестнадцати нужно быть у памятника) и только робко предлагаю, не спросить ли у кого.

Мой «аптекарь» тут же исчезает и вскоре возвращается с долговязым парнем с чемоданчиком в руках, подобно тем, что носят настройки телевизоров.

– Пентод, – еще издали говорит он. – А больше ничего такого?

– Как же! Вот, например, 14 по вертикали. «Явление в радиотехнике».

И парень снова угадывает.

Теперь мы идем втроем. Шаг за шагом, минута за минутой, и вот уже полкроссворда заполнено. А слова все прибывают и прибывают. У ювелирного магазина нам подсказали название драгоценного камня. Какой-то бородач, с виду геолог, назвал редкий минерал. Девушка из магазина «Ткани» угадала «свое» слово. В общем, когда мы остановились на перекрестке, нас было уже много: историк, географ, инженер, кулинар... Мы стоим у светофора и ждем, когда он «позеленеет». Возле нас останавливаются прохожие, интересуются, в чем дело, предлагают свои услуги. Каждому хотелось угадать слово первым. Из-за этого, чуть было не поссорились.

И тут я взглянул на часы. О, боже! И бегом к стоящему у обочины такси.

– Что там происходит? – спросил таксист.

– Кроссворд разгадывают.

– В эмкашке? – спросил он, доставая из бардачка газету.

– Нет, нет, не сейчас! – умоляю его. – Погнали!

Лена, конечно же, меня не дождалась. И, как вы понимаете, это был последний в моей жизни кроссворд. С тех пор ненавижу кроссворды. Презираю. В дрожь кидает...

И ЭТО ГЛАВНОЕ...

Когда меня спрашивают друзья, приятели, где и как познакомился я со своей будущей женой, я определенно отвечаю: «В пункте проката», – заведомо зная, что тут же последует ехидное: «Напрокат взял?» «Да, – усмехаюсь я, – на пожизненный». И рассказываю такую историю.

Был я юн, холост, жилья, конечно, своего не было, снимал комнату. И тут неподалеку открылся пункт проката (холодильники, телевизоры, спортивный инвентарь и прочее) – были тогда такие пункты-выручалки. И решил зайти туда. Просто так, из любопытства. Мне-то особенно ничего не нужно было. Жил один. И как увидел ее глаза, что синее неба синего, ее, что солнце утреннее, улыбку...

Нет, что-то все же промямлил, дескать, еще не определился, зайду завтра.

Завтра... Но ведь так просто к ней, в пункт проката, не явишься. Телевизор у меня есть, холодильник есть, приемник тоже есть. Что еще? И решил я по хозяйской части удариться: то электродрель возьму, то набор отверток. Пусть, дескать, видит, какой я деловитый и хозяйственный. Но когда в очередной раз возвращал ей пылесос, она так посмотрела на меня, что меня в жар бросило:

«Болван! Что я делаю? Чего доброго, подумает, что я женат и что это жена раз за разом посылает меня то за одним, то за другим?»

Но через неделю пришел снова и попросил фотоаппарат, хороший фотоаппарат – «Зенит» или японский «Канон». Пусть убедится, что я не лишен и всякого рода увлечений.

– В отпуск? – взмахнув ресницами, спросила Аня. Я уже знал, что ее зовут Аня.

– Угу, – прогудел я.

– Желаю хорошо отдохнуть!

– Спасибо!

«Идиот! – костерил я себя, выходя из пункта проката. – Какой отпуск? Ни в какой отпуск я не собираюсь».

Два дня я усердно постигал основы фотодела: негатив, позитив, фиксаж, – и, надо сказать, небезуспешно. Фотокарточки у меня получались что надо. По крайней мере, друзьям нравились. Но мысли-то все о ней. А-а, была, не была! Пойду!

– Так скоро? – встретила она меня улыбкой.

– Расстроился мой отпуск, – как можно отрешеннее вздохнул я. – По производственным, так сказать, обстоятельствам.

– Не переживайте. Возьмите еще что-нибудь. Магнитофон, гитару.

– Гитара у меня есть. Правда, старенькая и без струн. (Никакой гитары у меня не было). Что ж, пожалуй, возьму.

Самоучитель я раздобыл сравнительно быстро и уже через неделю брал самые сложные аккорды.

Потом я учился игре на аккордеоне, осваивал машинопись. Наконец, решил взять посуду: столовый, чайный сервизы, рюмки, фужеры – персон на десять-двенадцать. И магнитофон. Пусть у меня будет день рождения. И пусть придет Аня.

Хорошо, что она не пришла. Вернее, хорошо, что я не пригласил ее. Как бы выглядел перед ней со своим враньем?

Посуду я отнес уже на следующий день, для пущей важности разбив два фужера, дескать, шумно было и весело. За причиненный ущерб, как полагается, заплатил. Вернул и магнитофон:

– Спасибо! Он нам очень пригодился.

– Хорошо погуляли? – спросила она, принимая магнитофон.

– Да-а, нормально...

– Что ж, поздравляю! – В голосе ее послышалась грустинка, а может, мне так показалось. – Кассету-то возьмите – ваша.

– Нет, нет, оставьте, – воспротивился я. – Там хорошая музыка. Можете послушать. И вообще...

Спустя несколько часов автобус «Аэрофлота» увозил меня в Домодедово. Я уезжал в командировку. На душе было и светло и грустно. Светло от того, что в жизни моей появилась Аня. А грустно? Потому что увижу ее теперь только через неделю. И представлял, как она прослушивает мою кассету. Там я ей все-все сказал. И что она – самая лучшая девушка в мире. И что в пункт проката я приходил и брал разные вещи только лишь для того, чтобы увидеть ее. А заодно освоил фотографию, научился играть на гитаре, аккордеоне...

Вернувшись из командировки, я тут же помчался к ней. Волновался, конечно. Вдруг моя выходка обидела ее? Или, наоборот, лишь вызвала усмешку?

Глаза Ани сияли. Я пригласил ее в кино.

Теперь мы уже не расставались. После работы я прямиком бежал к ней, в пункт проката, и уже не уходил до его закрытия. Иногда помогал ей в ее нехитрых делах. А тут как-то является

один клиент, приносит магнитофон, точь-в-точь, какой я брал: «Грюндиг», кассетник, и улыбается так ехидненько:

– Девушка, это, кажется, вас касается, – и нажал на клавишу. «Здравствуй, Аня!», – раздалось в динамике.

Я узнал свой голос.

– Немедленно выключите! – бросился я к магнитофону.

– Нет, нет, не надо! – остановила меня Аня, удивленная и счастливая. – Я послушаю.

– Там, в конце, – по-доброму сказал клиент, – наши поздравления. Так что будьте счастливы и все такое...

Я готов был провалиться сквозь землю.

Аня улыбалась...

Она и сейчас улыбается, едва я начинаю рассказывать эту историю – знакомым, незнакомым. Улыбаются ее синие, синее неба синего глаза, улыбаются (такие родные) лучики-морщинки... Улыбается. Потому как знает, что все это я сам и сочинил. За исключением того, что действительно одно время работала она приемщицей в пункте проката. Но придуманная мною история до сих пор ей нравится. И это главное...

МИЛАЯ СВОЯЧЕНИЦА

Вагон оказался хвостовым, и это меня даже обрадовало. Прильнув к торцевой двери, я еще долго мог видеть моих провожающих: три застывшие на перроне фигуры с поднятыми в прощальном взмахе руками. Эту картинку и увожу с собой. А им оставляю свою: такой же взмах руки над головой. Прощайте! Когда еще свидимся?

Фигурки быстро уменьшаются, вот они уже еле неразличимы: Валера, Нила, Люба, Валя. Шутка ли! Тридцать лет не виделись!

Вот они осторожно переходят через железнодорожные пути. Валера (стоматолог, изрядно располневший, впрочем, он и в школьные годы был пухленьким) поддерживает под руку молчаливую Нилу (она всегда была такой: тихой, замкнутой – работает воспитательницей в детском саду). Вот они уже на привокзаль-

ной площади; площадь большая, круглая (Как же здорово было гонять по ней на велосипеде!) с пышным цветником в центре и возвышающимся над ним рыже-золотистым бюстом легендарного Фрунзе...

Вот они направляются к валеркиной машине. О чем говорят? Конечно же, о вчерашней встрече. Встреча получилась, что надо! Даже из других городов приехали.

А собрались на школьном дворе (он все такой же, песчаный, утоптаный-перетоптанный). День воскресный. Кроме нас – никого. Потом (понятно, с разрешения дежурного) поднялись в класс, суетно уселись за столы, кто уж с кем оказался (а прежде парты были, массивные, густо зачерненные). Каждый должен был вкратце рассказать о себе: учеба, работа, жена (муж), дети, внуки. У девчонок (для нас они всегда девчонки) все сложилось более или менее одинаково: дом, семья. У нас, у мальчишек (для них мы всегда мальчишки), все как-то не слава богу: мотание по свету, женитьба, разводы...

Потом – ресторан: тосты, воспоминания.

– А Лариса почему не приехала? Она ведь тоже в Москве.

Я ждал этого вопроса.

– Она давно уже не в Москве. Где-то далеко. За океаном.

– А такая любовь была, такая любовь, – вздыхали девчонки...

Задавливаю в пристроенной к дверной решетке консервной банке окурки и иду устраиваться. Вот и мое купе. С удивлением отмечаю про себя, что все полки в нем, кроме одной, свободны. И это в июне! В курортный сезон! Господи, чему я удивляюсь? Весь люд на юг устремился, это я – на север. А на север – пожалуйста...

Все полки кроме одной... Наверное, это чисто железнодорожное: «Электропоезд следует со всеми остановками кроме...» Но если кроме, значит, уже не со всеми...Такой вот стилистический парадокс.

Полка нижняя. Напротив, свернувшись калачиком и подложив руку под голову, лежит светловолосая девушка: синие брючки, белая футболка. Спит, что ли? Так всего-то за полдень. Какой сон? Впрочем, в поезде всегда в сон тянет. Уже сам стук колес

убаюкивает. А уж если отъезду предшествовало «на посошок», и еще скучная книга попалась... В любом случае поезд – хорошая возможность отоспаться.

Ловлю себя на мысли, что, в общем-то, это редкий случай: запросто, бесцеремонно разглядывать спящую незнакомку. И даже как-то непростительно неприлично. Кто она? Короткие светлые волосы. Правая рука, тонкая, загорелая, покоится на высоком (Ну как такое не отметить?) бедре. Интересно, какого цвета у нее глаза? Синие? У блондинок обычно синие глаза, даже у крашенных. Конечно же, не спит. Просто делает вид, что спит, а сама – сто процентов! – шеей, спиной чувствует, что ее разглядывают.

Вот чуть заметно вздрогнула ее рука, шевельнулась копна волос; медленно, как бы нехотя, она перевернулась на спину, прикрыв согнутой в локте рукой глаза. Но вскоре и эта поза ей наскучила. Отняла руку, легко, пружинисто поднялась, нащупывая ногами шлепанцы.

– Здравствуй! – опередил я ее.

– Здравствуйте! – улыбнулась.

Лет, наверное, за тридцать ей. Мягкий овал лица. А вот глаза не угадал – карие. Большие карие украинские глаза.

– Это какая станция? – спросила она, отводя челку со лба.

– Синельниково.

– Да? А я что-то заспалась.

«Ох, сочинялка! Нисколько ты не заспалась. Так, слегка вздремнула. Иначе не почувствовала бы моего присутствия».

Как бы прогоняя сон, энергично взъерошила волосы, взяла с сетки-полки полотенце и, извинительно улыбнувшись, вышла из купе. Понятно: женщина, если она не в форме, чувствует себя в высшей степени некомфортно.

Вернулась посвежевшая, сверкая радужными глазами и наверняка нисколько не сомневаясь, что произведет на меня впечатление. В общем-то, да. Нежная кожа лица, припухлые губы. Лет, наверное, под тридцать ей.

– Ну что, едем? – откровенно настраиваюсь на разговор.

– Едем.

– Вам тоже до Москвы?

– До Москвы, – положила ногу на ногу, подергивая розовым шлепанцем.

– А я вот с однокашниками встречался, – сходу начал я. – Двадцать лет не виделась. – Я зачем-то скостил десяток лет, видимо, для того, чтобы не показаться совсем уж древним.

– Здорово! И много вас собралось?

– Человек двенадцать. Все так изменились. Особенно девчонки. Да какие они девчонки? Мамы и даже бабушки. Располнели... А мы с вами так и не познакомились: Никита.

– Лена.

Выдержав паузу, ушли от банального «Очень приятно!» В самом деле: такая условность! Ведь и без того ясно, что – приятно.

– Вот такие дела, Лена, – философски протянул я и добавил: – Елена Прекрасная.

Она никак не оттенила мой комплимент, видимо, посчитала его не оригинальным, если не вообще банальным. Уж этого «Елена Прекрасная» наверняка наслушалась за свои тридцать... Тридцать пять. Впрочем, неважно. Для меня всегда было проблематичным определить возраст женщины, тем более с ее умением искусно скрывать его, благодаря всемогущей косметике.

– Пойду покурить. Заодно спрошу у проводника пива. Вы пиво пьете?

– Ну, да, немножко.

Вернувшись, с удивлением обнаружил на столике воблу и еще какую-то рыбешку.

– Вот эта да!

– Родители с собой дали.

– А они где живут, в Приморске?

– Нет.

– В Акимовке? Я эти места знаю.

– Да какое это имеет значение? – подняла на меня карие глаза. – Это – вам! – протянула очищенный бок воблы. – Ну что? За вас! За ваших однокашников!

– С удовольствием!

Пиво, «Черниговское», показалось удивительно вкусным, хотя и далеко не прохладным: лето все же. Но вобла! Мясистая, с икрой.

– Икру обожаю! – не удержался я.

Она довольно улыбнулась:

– Отец вялил. А вы – молодцы! – вернулись к начатому разговору. – Собрались. А мы вот все говорим, говорим, а собраться никак не можем.

– Тут должен быть организатор. Ну, и повод, конечно – юбилей.

– Юбилей уже был. Вот еще икра. Берите!

– Десять?

– Что десять? – округлила и без того круглые глаза.

– Ну, юбилей. Десять лет.

– А пятнадцать не хотите? – и уже рассмеявшись: о, господи, вычисляете мой возраст. Зачем это вам? Лучше скажите, Никита, – она впервые обратилась ко мне по имени, – та девушка, ну, ваша первая любовь на встрече была?

– Первая любовь? – удивился я такому ее вопросу. – Почему вы так решили?

– В школьные годы все влюбляются.

– Да, неверное. Нет, ее не было. Она далеко теперь. Вообще, первая любовь на то и первая, чтобы лишь остаться в памяти. Так по жизни складывается. У ребят – армия, пути-дороги. А девчонкам – поскорее бы замуж. Словом, любим одних, а женимся на других.

Она на секунду задумалась, как бы решая, соглашаться со мной или не соглашаться.

– Не дождалась вас?

– В общем-то, да, – недовольно поморщился я.

– Из армии. А я вот дождалась.

– Ну, это редкость. Очень большая редкость. Кстати, у нас есть такая пара.

– И счастливы?

– Наверное. Дети, внуки. Да все у них нормально. У вас ведь тоже все нормально?

– Ну да.

– Сын, дочь?

Секунду помедлила:

У меня трое детей.

– Трое? – я чуть не подпрыгнул. – Вот это да! Мать-героиня.

– Да уж, – неопределенно протянула она.

В полумраке вагона я не мог разглядеть ее лица, но почему-то мне показалось, что оно не светилось радостью.

– А у вас? – спросила она.

– Двое. От разных браков.

«Наверное, лишнее болтаю». Приподнялся, нащупывая в кармане сигареты.

– И я с вами, – потянулась за сумочкой.

– А я думал, вы не курите.

– Иногда. По настроению.

Вышли в тамбур и невольно замерли у торцевой двери. Непривычно и как-то даже тревожно было глядеть на стремительно убегающие нити-рельсы, столбы, строения, синие, красные огоньки.

– Так и жизнь летит, едва успеваешь разглядеть ее, – философски проронил я.

– Это уж точно, – согласилась она. – Кажется, только вчера были школа, институт...

– Знаете, Лена, а я завидую машинисту, – продолжал я свою философию. – Он весь устремлен вперед, он первым встречает мосты, реки, города.

– А мы лишь провожаем их, – с грустью заключила она...

В Харькове к нам подседа тучная женщина с двумя тяжеленными сумками и чем-то явно недовольная. Я помог ей загрузить сумки в ящик, уступил свою полку. Она тут же улеглась, не переставая ворчать: «Через час одна таможня, потом другая. Выспаться не дадут, уроды!».

Лена тоже улеглась: свернувшись калачиком и повернувшись лицом к стенке. Я собрался было почитать, но чтение не шло в голову. Раз за разом всплывали лица, голоса однокашников: «Такая любовь была! Такая любовь...» И чего им неймется? Ну не вышло у нас с Ларисой, не сложилось. Но не сам ли оттолкнул ее? Ведь письма мои к ней, особенно в последний год службы, становились все более прохладными, словно меня раздражало то, что все у нее складывалось хорошо: вуз, студенческая жизнь. Мне, солдату, о таком можно было только мечтать! И вообще определил

для себя два жизненных этапа: до армейский и после армейский. До армейский – это детство, школа. После армейский – да, вуз. И уехать куда подальше, в Москву или Ленинград. И там, в новой своей жизни Ларису уже не видел. Она и сама это чувствовала, неспроста в письмах ее проскальзывало: «Вернешься, будешь засматривать на молоденьких, я для тебя буду уже старухой. Да глупости! А потом узнал, что она вышла замуж. Потом (об этом тоже узнаю) еще раз выйдет замуж. И снова разведется. Потом вместе с семьей дочери, та выйдет замуж за иностранца, вообще уедет в другую страну...

Проснулся я от постукивания ложечки в стакане и шуршания пакетов. Это завтракала харьковская пассажирка. Напротив сидела Лена – свежее личико, прибранные волосы:

– Доброе утро!

– Доброе, доброе!

И, не сговариваясь, вышли коридор. Снова несущиеся мимо дерева, какие-то постройки, столбы.

– Как спалось? – спросил я, надо же с чего-то начинать разговор.

– Да нормально, – улынулась она. – Как только можно спать в поезде, – помолчала. – Знаете, я вчера вам неправду сказала.

– В смысле?

– Ну, по поводу детей. Вы тогда еще удивились: как трое?

– Да, удивился. Такая молодая и трое детей.

– Один у меня ребенок. Дочь. Ей десять лет. А двое других, старших – мальчик и девочка – не мои.

– Приемные?

– Как сказать? Дети моей старшей сестры. Она умерла. Два года тому назад. Я к этому времени уже была в разводе. Вот вы вчера про первую любовь говорили, мол, несчастливая она и прочее. Любовь не бывает несчастливой. Она сама по себе уже – счастье. Но почему-то порой все так плохо заканчивается. Вот вас девушка из армии не дождалась. А я дождалась своего парня. Поженились, родилась дочь, и все равно все рухнуло.

– Жаль, – искренне посочувствовал я.

– Да что теперь говорить? – вздохнула. – И родители мои уговорили меня выйти замуж за мужа моей покойной сестры.

Чтобы мачеху в дом не приводил. Мол, сестрины дети любят меня, да и Андрей, Андреем его зовут, хорошо ко мне относится, вот и будете вместе детей растить. И я согласилась, – секунду помедлила. – Но не люблю его.

– А он?

– Он любит. И как теперь понимаю, давно. Всякий раз, когда приезжала к ним, в Мытищи, это под Москвой.

– Да, рядом.

– Всегда чувствовала подчеркнутое его внимание к себе: «Сво-яченица! Милая свояченица!» Я не придавала этому значения. Для меня важно было, что сестра счастлива. И вот... Стала его женой.

Я не находил, что сказать:

– Отдать себя в жертву?

Она секунду помедлила:

– Да, ради детей. Но уж очень ревнив.

– Встречать будет?

– Конечно. Вы уж, пожалуйста, не выходите вместе со мной.

– Хорошо. Номер телефона оставь... Оставьте. Вот моя ви-зитка.

– Не надо, – коснулась ладошкой моей руки. – И запомните: я мать троих детей, – слегка улыбнулась.

Поезд прибыл вовремя.

Я, конечно, на перроне понаблюдал за ней. Пришел, пришел ее ревнивец. Так себе, небольшого роста, полненький и уже за-метно польсевший. Взял ее под руку и, что-то тараторя, повел к подземному переходу мимо снующих пассажиров, носильщи-ков, мимо торговой палатки, мимо меня у этой палатки. И все тараторил и тараторил. Наверняка она не слушала и не слышала его – стройная, легкая, летняя...

ДОМ ПОЭТОВ

Где он, этот дом? И вообще возможно ли такое: дом поэтов? Возможно. Благо, стоит он на дороге, ведущей к Храму.

– На самом краю села Маслово, – уточнил Владимир Зель-ский, когда мы, рассаживаясь по машинам, стартовали в дальнее

Подмосковье: главный редактор журнала «Стихи» Лев Подковыров, поэты Григорий Блажнов, Владимир Серегин, Андрей Скирда, прозаик Влад Дроф и автор этих строк.

Собственно, Зельский, руководитель местного литобъединения «Вдохновение» и пригласил нас:

– Приезжайте. Почитаете стихи. Послушаете наших поэтов. Отдохнете. А главное – познакомитесь с четой Груздиных: Геннадием и Татьяной. Удивительные они люди!

И когда через два с половиной часа впереди замаячила грациозная колокольня, и блеснули купола, мы поняли: приехали.

А навстречу с объятьями уже шла Татьяна Груздина. Представилась, правда, весьма неожиданно:

– Я – Лев!

– Как это? – опешили мы. – У нас уже есть Лев – Подковыров.

– Ну и что? Я тоже Лев! Или, если уж вам так будет угодно – Львица.

На том и порешили, тем более что столы уже были накрыты – прямо под вишнями. Зазывали свежестью огурчики, серебрились холодными боками поллитровки.

Подошел Геннадий Груздин, высокий, загорелый и чем-то похожий на московского поэта Александра Боброва, но более коренастый и крупный:

– Поэты, значит... Я тоже почитаю... Потом...

– А сколько у вас земли? – деловито осведомился Гриша Блажнов.

– Да, с гектар, наверное.

– Н-е-е! Больше, – авторитетно заявил Гриша.

Ну, Гриша! Мы еще и оглядеться не успели, а он уже все прикинул, подсчитал. Не зря – шахматист-разрядник.

– Пойдемте, покажу, – предложил Груздин. – Вот огород, вот банька, можете пропариться, вот пруд. Дальше – просто лес: березы, сосны. А вон петух прохаживается...

– Да-а, с гектар, – соглашается Гриша.

Но не терпелось к столу: с дороги все-таки. Да и народ подошел: местные поэты (человек пять или шесть), заведующая

библиотекой Галя Чаривная, редактор местной газеты Раиса Сигматуллина с умными и красивыми глазами...

Хотя, конечно же, по-настоящему перезнакомились где-то после стопки четвертой-пятой. Хорошо Льву Подковырову: не пьет, поэтому всех тут же запомнил.

Но лучше бы он пил – может, поменьше бы запоминал. А то на утро всей нашей команде такое припомнил. И то, что кто-то у баньки потерял плавки. А другой (не будем переходить на личности) был уложен в одном месте, а проснулся в другом. И что кто-то из наших (я что ли?) прочитал дважды одно и то же стихотворение. Но, как говорится, не будем. Вон Серегин, тот вообще спал неизвестно где, и ничего. Лева ему – ни слова, ни полслова.

Итак, тост первый. Впрочем, за что, не помню. За нас, наверное, за гостей. А, может – за хозяев? Честно, не помню. Наверное, в ту минуту я смотрел в умные и красивые редакторские глаза.

А тост все-таки был за поэзию. И звучали стихи. До самой первой звезды и еще задолго после нее. Луна так вообще замерла над домом. Да что Луна? Вся округа затихла, прислушиваясь к дому Груздиных, к Дому поэтов.

И были песни (невесть откуда взялся аккордеон.) Это были свои, масловские песни – на слова своих поэтов и своих музыкантов. Тон задавали директор музыкальной школы Надежда Октавина и солист Дома культуры Иван Бузулук. Показали нам и гимн Маслово.

Все бы хорошо, да подвела банька. Искусила она все-таки наши мужицкие струны Вот и понеслись на ее зовущий пар. А аккордеон все играл. И звучали песни. И думалось, что он вечно будет играть, и вечно будут звенеть женские голоса. Ан, нет...

Опростоволосились. Стыдно, мужики! И дело не в том, что кто из нас чего-то там, у баньки потерял. (А так получилось, что в самый разгар парилки погас свет, и мы мигом – наружу.) Дело – в другом. Когда выбрались из баньки, под вишней уже никого не было: ни аккордеона, ни меццо, ни сопрано. Лишь непонятная тишина. Допарились! И что оставалось делать? Всем дружно идти топиться, благо пруд рядом?

Самое трудное в таком деле – утро. Поглядело бы солнце на нас со стороны. Что, впрочем, оно и делало. Потому так и пекло нещадно. Собрались, естественно, у вчерашнего стола. В ожидании хозяев. Сосредоточенный Гриша Блажнов (он, как всегда, решал шахматные задачки); Владимир Серегин в неизменной своей куртке-безрукавке (убеждал нас, что спал в чулане, и при этом ощупывал в карманах какие-то свои железки); прильнувший к кассетнику Андрей Скирда (прослушивал свои песни); притихший Влад Дроф (плавки-то он нашел, но оказалось – не его).

Долго не могли найти Льва Подковырова, но и он, наконец, появился, как всегда, деловой и решительный. Но его опередила Львица-Татьяна. Счастливо улыбаясь, она вышла к нам в белоснежной, расшитой яркими узорами кофточке и поставила на стол вареники с картошкой. Чем не поэзия?!

И снова – стихи. Вопреки обещанию прочитать что-то свое Геннадий Груздин не стал читать. Просто отдал листки Подковырову:

- Посмотрите... Может, чего отберете...
- Отберем, отберем, – буркнул Лева.

Груздин, вообще, человек многословный, напряженно-сосредоточенный, анализирующий. Он из породы тех, о ком говорят: человек дела. Это уж точно. Отпахал на разных производствах будь-будь. Кинулся в бизнес. Нет, не то. Душа не принимает. Потом взял и соорудил часовню. У источника. На краю села. «Пусть для людей будет...»

К меценатам он себя не относил: не любил это слово. Но все знают, что собрал он в округе шпану – алкашей, наркоту – и на свои деньги лечит их. Оно ему надо?..

Уезжали. Лев Подковыров сказал всем добрые и нужные слова. (Это с его легкой руки дом Груздиных стали называть домом поэтов.) Поблагодарил всех, кто помог организовать эту встречу, в том числе местных предпринимателей Семена Фролова и Виктора Кирпичникова.

– Кичерин, – разыскал меня взглядом, – напиши про все это. Только не ерничай...

Пишу, Лева, уже пишу и ничуть не ерничаю. Подумаешь, пару раз упомянул красивые глаза. Ну, так нельзя без этого...

САБИНА

На Монмартр можно было подняться на фуникулере, он где-то тут, рядом. Но что для моих неугомонных башмаков, истоптавших чуть ли пол-Парижа (рыжие плетенки, специально по такому случаю приобретенные), какие-то сто двести ступеней?

Ведут ступени на вершину холма к белокаменному собору Сакре-Кёр (Сердце Христа), сооруженному в память о казненных здесь христианских первосвященниках. Да и Монмартр в переводе с французского – холм мучеников.

Собор католический: тусклые иллюминаторы-витражи, длинные ряды скрипящих стульев, канонический аскетизм.

Как и все, что построено в Париже, собор – известняковый. Даже купола, головной и два боковых, из известняка в виде – ну, и ассоциация! – огромных перевернутых фужеров. Уж никак не наши луковицы, которые к тому же еще золотые. Но и эти светятся. Как раз благодаря своей известняковой природе. Особенно красивы они в солнечную погоду: молочно-белые. Видеть их можно с любой точки Парижа.

Налево от собора-базилики – щель-улочка. Тянется она к площади, да, к той самой, где вершились казни. И не единожды. Так что площадь долго еще слыла парижской голгофой. Так мрачно все... Затем, уж полтора века тому назад точно, площадь сию, крохотную, тесную «застолбили» художники. Представить только: здесь за мольбертами сиживали Ренуар, Дега, Ван Гог, Матисс, Сальвадор Дали... Впрочем, может, и не сиживали. Наверняка у каждого имелась своя комнатка-мастерская. Но уж выставлялись здесь – точно. Это было нормой: первый вернисаж – на Монмартре.

Французы – народ вообще-то странный. Это они, разобрав на кирпичи тюрьму Бастилию, установили рядом табличку: «Здесь танцуют!» И ведь танцевали, опьяненные музыкой революции. О, кровушка Парижа! Не дважды и не трижды ты озаряла небо: «Вина! Свободы! Хлеба!...» На первом месте, как видим, «вино». Знать, не случайно пороховые подвалы Бастилии стали винными.

То же с Монмартром: зловещая площадь его стала отдушиной живописцев, цирковых артистов, бродячих музыкантов и вообще – музой Парижа.

Рисовальщики тут – пруд пруди. Из года в год, в любую погоду восседают они на складных стульчиках вокруг под бордовой парусиновой крышей крохотного ресторанчика. Кстати, все ресторанные и кафешные вывески в Париже бордовые, как и вывески отелей. Дался им этот цвет! Что-то от революций, что ли? Вряд ли. Скорее, от темного каберне. Как бы там ни было, цвет этот для Парижа традиционный.

И вообще, французы – подчеркнуто традиционны. В своем отношении к прошлому (даже Людовиков почитают, несмотря на то, что одного из них сами же казнили). В своем эстетизме: все, что создается во Франции, непременно должно быть прекрасным и сделанным на века. В своей любви к Парижу, к его архитектуре, дизайну. И если уж какая деталь закрепилась в его облике, вовек от нее не отступятся. Отсюда – неизменные витые ограды на балкончиках (балкончики эти узенькие, так, площадка для цветов), складные ставни на узких высоких окнах.

Любят парижане свой город, берегут его. Я не увидел над Парижем (а забирался, куда повыше!) ни одного башенного крана. Здесь вообще запрещено что-либо строить. Как, впрочем, и крушить. Мысль проста. Каким сложился город за последние два века, таким и должен оставаться: шестиэтажным, с узкими, разбегающимися веером улочками, с бесчисленными скульптурами, барельефами (подумать только, пять памятников министрам финансам!), фонтанами. Город-музей. А за чертой Большого Парижа, пожалуйста, строй, возводи. Хоть небоскребы...

Рисовальщики в основном – портретисты. Работа скорая: пятнадцать-двадцать минут и – портрет готов. Цветной – сто евро (однако!), черно-белый – 40-60 евро, в зависимости от размера ватмана. Все равно дороговато: где-то под две тыщи наших. Но здесь не скупятся. Еще бы! Привезти свой портрет с самого Монмартра! Где жили и творили великие. На их авторитете и выезжают нынешние рисовальщики. Как-то один из них взял и начертал на холсте, широко, размашисто: *Monmartr*. И что вы

думаете? С руками оторвали. Монмартр стал брендом, фетишем. И как тут не взгрустнуть: великий Ван Гог продал за всю свою жизнь лишь одну свою картину.

Есть тут и пейзажисты. Народ – серьезный. Под любопытствующие взгляды они неспешно, скрупулезно копируют в миниатюре свои же прежние картины (уголки Монмартра). Видимо, сам процесс увлекает.

Рядом еще один ресторан: Ля мэзон Катрин (Дом Катрины). Ресторан примечателен тем, что 30 июля 1814 года, как гласит вывеска, здесь останавливались отобедать русские казаки и, поспешая, покрикивали: «Быстро! Быстро!» Понятно, обслуживали их так, как они того пожелали, но это «быстро!» навсегда осталось в памяти монмартровцев и всех парижан, трансформировавшись впоследствии в «бистро». Кафешек с таким наименованием в Париже, да и во всей Франции – дополна. Своего рода – русско-французский Макдональдс.

Один профессор из Сорбоны поведал мне, что при всем очевидном, поистине воинственном отстаивании лингвистами-французами чистоты родного языка лишь одному чужому слову позволено было в нем «прописаться», и слово это – «бистро».

Профессор был хитер, выжидающе ухмылялся. Я угадал его мысль: дескать, русский язык чуть ли ни на треть французский: киоскёр, шофёр, парашют, театр... Что там еще?..

– Так уж и одно? – возмутился я. – Очень даже до фига! Водка, например.

– *У-и-и!* – согласился он. В смысле, да-а-а!

Почему ресторан называется Дом Катрины, я так и не узнал; всяк, к кому обращался, недоуменно пожимал плечами, а профессор уже был далеко. Скорее всего, та самая Катрин была его владелицей. Может, даже во времена, когда захаживали сюда наши казаки. (И наверняка называли ее по-своему: Катя, Катюша). А может, она была женой владельца ресторана, и тот в избытке чувств назвал заведение ее именем? В принципе, не столь важно: «Катя! Катюша! Быстро!» – и все тут...

– *Бон жур!* – оторвавшись от стойки бара, встречает меня рыжий полноватый администратор.

– *Бон жур!* – отвечаю заученно.

Жестом приглашает меня к столику. Тут же вырисовывается официантка – белоснежная с короткими рукавами блузка, узкая черная юбочка:

– *Бон жур!* – и, мило улыбаясь, кладет на стол книгу-меню.

– *Бон жур!* – улыбаюсь и я. – *Мерси!*

– *Силь ву пле!* – Та же белозубая улыбка.

И как французы не устают от этих бесконечных «Бон жур!», «Мерси!», «Пардон!»? Впечатление такое, будто весь день только тем и заняты, что здороваются, извиняются и благодарят друг друга.

У нас, правда, тоже в неких заведениях стали говорить «Здравствуйте!» Но лучше бы не говорили. От этого их «Здравствуйте!» не только всякий аппетит (*appetite*) пропадает, но и само желание переступить порог – как будто в твой кошелек заглядывают.

Делаю вид, что углубляюсь в меню. Да-а... Разговорник зря не захватил. Ладно, разберусь. Салат – понятно: он и у нас салат (*salade*). Как и тот же антрекот (*entrecote*). Чертов профессор!

Ресторан довольно просторный: один зал, далее, двумя-тремя ступеньками выше – другой. Неужто и в самом деле бывали здесь наши казаки? Пили, закусывали. И песни пели. Правда, надо было поспешать на Елисейские поля – на парад армии-победительницы...

Ресторан, наверное, тогда был поменьше. А вот скатерти наверняка – такие же: бордовые. Бордовые, понятно. Но, увы, ничего русского, казачьего. Хотя бы пару глечиков у стойки подвесили или чугунок. Не говорю уже о нагайке.

Ловлю улыбающийся взгляд официантки. Уже рядом:

– *Месье?*

Тыкаю пальцем в меню:

– Салат, мясо.

– *У-и-!* (Да).

– И борщ.

– *Борч?* – ее гладкий лобик мучительно наморщился. – *Кёс кё се борч?*

– Ну, борщ! – всем своим видом показываю, что крайне изумлен незнанием ею такого известнейшего во всем мире блю-

да, а пуше всего – непониманием того, что я просто разыгрываю ее. Конечно же, никакого борща у них нет.

– *Айн момент!* – метнулась к стойке бара и мигом – назад: *Пардон, месье. Но-о борч,* – извиняющееся улыбается.

– Да знаю, знаю. Нет у вас ни борща, ни шей. А туда же: здесь были русские казаки. Хотя бы вывеску уважали.

Все тот же, жалко наморщенный лобик.

– Ладно, *мерси!* – примирительно бормочу. – *Вайн* (вино).

– *Бланк? Руж?* (Белое, красное?), – прильнула ручкой к блокнотику.

– *Руж.*

Вскоре все было на столе:

– *Бонн аппетит!*

Я, понятно, в ответ: *мерси!*

Не знаю, как так получилось, но подала она совсем не то, что я ожидал. Салат – ладно, уж какой есть: достаточно салатного листа. А вот вместо мяса – рыба. Причем, с такой немисливо острой приправой, что я не сразу и понял, что это – рыба. Ладно, рыба, так рыба.

Киваю, мол, все в порядке. Она все так же улыбается и, подхватив поднос, понеслась к выходу.

Да, все основные посетители кафе располагались за выносными столиками. Лето! Не томиться же в духоте. А здесь и покурить можно. Так что в зале я, почитай, был один, не считая двух пожилых француженок за боковым столиком, неугомонно, как это могут только француженки, тараторящих и жестикулирующих, изредка поднося к губам крохотные кофейные чашечки.

А она? Она снова у стойки бара. И снова, сверкая белоснежными зубами, поглядывает в мою сторону. Что ли хочет понравиться мне? Или показывает, что я ей понравился? Размечтался! Просто обязанность у нее такая: быть приветливой. И все же, так работать... Легко, с улыбкой. Нужно или очень любить свою работу, или быть очень счастливой. Отношу сие к последнему.

Смуглое открытое лицо (ощущение открытости усиливали собранные сзади в пучок чернящие волосы), яркие губы, темные выразительные глаза.

«Наконец-то, – ликовал я, – наконец-то, встретил в Париже красивую девушку. А то совсем уж было расстроился: ни одной, ну, ни одной более или менее симпатичной. Сплошь суховатые личики, острые носики, мелкие глазки. Непременно подойду к ней и скажу что-нибудь приятное. Может, в щечку чмокну».

Приподнимаю бокал: за тебя, мол, белозубая! Она в ответ, светясь, кивает.

«И вообще сфотографируюсь с ней. Бармен же и щелкнет. Трудно, что ли ему? А для меня будет память. О Париже, о Монмартре, о кабачке Катрин, где бывали наши казаки, а самое главное – подтверждение того, что есть, есть красивые девушки в Париже».

Легким знаком руки подзываю ее, дескать, расчет – *total*, по-французски.

С улыбкой подходит, кладет счет.

– Я из Москвы, – пытаюсь завязать разговор.

– *У-и*, – крохотная родинка на изгибе шеи.

– Николай.

– Сабина.

– Сабина! – восклицаю я: *О-о! Бьен!* – И приподнимаю большой палец. Дескать, здорово! Чудное имя.

– *Мерси!*

«Сабин!» – голос у стойки бара.

– *Пардон!* – спохватилась она и мигом умчалась.

Что поделать, работа есть работа. Допиваю вино, отсчитываю причитающиеся с меня 21 евро, плюс пару евриков на чаевые, и, дождавшись, когда она снова появилась в зале, напрямик – к ней.

Наверняка она мало что понимала из того, что я ей говорил, перемежая французские слова русскими, а то и немецкими (когда-то изучал). О чем говорил? О том, что завтра уезжаю, о том, что она очень красивая и что я бесконечно рад тому, что в Париже есть красивые девушки, отчего я еще больше буду любить этот город. Может, даже снова приеду.

Она, конечно же, ничего не понимала, лишь продолжала улыбаться.

– *Бу за ве паризьен?* (Вы парижанка?), – в завершении спросил я, не отпуская ее ладошку.

– Но-о! Итальяно.

– Итальяно? – разочаровано протянул я.

– У-и-и!

Уж не знаю, что прочитала она на моем лице. Недоумение? Сожаление? Растерянность?

– До свиданья! *Оревуар!* – говорю ей.

– *Оревуар, месье!* – ладошка уплывает.

– Вернее, *чао!* – уточняю я.

– *Чао, чао!* – и машет смуглой ручкой.

«Ну, попал! Вспомнилось евтушенковское: «Ах, какие девушки в Париже!» Слукавил Женька. Нет красивых девушек в Париже. Ну разве что не парижанки...»

Закурил. О, господи, что за грохот? Похоже, барабанная дробь. Так и есть. Я потом разглядел их, этих барабанщиков: невозмутимо-горделивые, в ярких национальных костюмах. А впереди сопровождаемый приветственными возгласами, аплодисментами и осыпаемый женскими и мужскими поцелуями, шествовал низенький, полненький, седенький, в темных очках и в ярко-синем пиджаке поверх светлой футболки (какие детали!) человек. «Артист», – подумал я, – наводя на него объектив фотоаппарата, при этом чуть не выбил поднос у оказавшегося рядом араба-официанта:

– *Пардон!* – и показываю глазами вперед.

– Лё Пен! – раздраженно вскидывает он брови.

Лё Пэн? Да, есть такой. Экстравагантный, как наш Жириновский. И тоже метил в президенты. Франции, разумеется.

Процессия прошествовала дальше, барабаны и расталкивая зевак-туристов.

Монмартр есть Монмартр.

И прощай, Сабина!

ПРО АЛЬМА-МАТЕР И ГОРИЛКУ С ПЕРЦЕМ

Антон Федоркин, предприниматель из Кировограда, прибыл в Москву по двум обстоятельствам: повидаться с однокашниками, что, прежде всего, и толкнуть картину одного художника:

морской пейзаж. Не Айвазовский, понятно, но вещица, как он полагал, весьма недурственная, и наверняка в Москве ее с руками оторвут: Крым все-таки. А у кого из москвичей не дрогнет сердце при воспоминании об этом теплом полуострове?

Себя же он считал знатоком живописи, работы отбирал тщательно, в основном крымских художников. Почему крымских? Так получилось. Познакомился с одним из них, с другим, третьим. И набралось у него этих полотен до полусотни. Толкнуть морской пейзаж он намеревался через Леву Березина, Березу, как его звали на курсе.

Федоркина никто не встречал. Так они договорились слевой: встречать не надо. Пусть Лева занимается своими делами, а встретятся уже к вечеру и поедут к нему, раз уж он так настаивает. Но позвонить Федоркин позвонил, дабы сообщить, как доехал, с чего начнет свой ностальгический маршрут. С Ленинских гор, конечно, то бишь, с Воробьевых: с МГУ.

Вспомнил, как впервые, еще в солдатской шинели, топал к этой знаменитой сталинской высотке (которую усатый вождь так и не увидел), а та, вырастая прямо на глазах и, дразня золотистым шпилем, казалась все величественнее и неприступнее. Провел рукой по шершавой стене: «Неужто не суждено?» С завистью поглядел на порхающих студентов, студенточек...

«Поступать будете?» – обратился к нему парнишка. «Ну да», – растерянно протянул Федоркин. «Поступите!» – как-то совсем буднично сказал тот и, видимо, так расчувствовался шинелью Федоркина, что провел его через проходную, показал мраморные холлы, аудитории, затем увез на какой-то высокий этаж в комнату, где проживал с таким же, как он, студентом-физиком. «Надо же, – удивился Федоркин, – отдельная комната, санузел, душ!» Ему, еще не отошедшего от казарменного быта, все это казалось фантастикой. Аж под ложечкой засосало. Парнишка объяснил, как пройти в столовую («Там все дешево») и убежал.

А потом Федоркин искал свою шинель. Так вышло, что разделся он в сопровождении того студента в одном гардеробе (номерок брать не стал, да и гардеробщица не предложила: зачем, дескать, если он тут один – солдат?), а, отобедав, пришел, сам

того не подозревая, в другой, такой же гардероб. Искали, искали, нет шинельки. В конце концов, сообразили: это – в противоположной стороне. Нашлась шинелька! «Да лучше бы она не находилась!» – подумал тогда он, настолько не терпелось отрешиться от всего армейского.

Как все давно это было!

Пробежал глазами по этажам университетского корпуса: восьмой, девятый. «Вон и окно его комнаты. Там теперь проживают другие счастливики. Пусть все у них будет хорошо! – похлопал рукой по мраморной колонне. – Повидались и – ладно».

И пошел к метро.

Москва – город ассоциаций. Улица, переулок, кафе, ресторан, кинотеатр да просто магазин – словно странички из памяти. Да, еще более суетная и еще более необъятная. А уж рекламы! Здание «Известий» вообще не разглядеть: снизу доверху задрапировано огромным в пять этажей полотнищем. Так в годы войны маскировали Большой театр...

Чеса в четыре позвонил Лева:

– Хватит тебе ноги бить. Говори, где находишься, я подъеду.

Вглядывались друг в друга, тискали один другого: вроде никак не изменились. Разве что стали осанистей и степенней.

– Сколько же мы не виделись?

– Лет двадцать, наверное.

– Да поболее.

– Поседел, гляжу.

– И ты, смотрю, полысел.

Рассмеялись, еще раз обнялись.

– Ну, что вперед? – Лева распахнул дверцы серенькой «Тайоты».

– Но сначала на Киевский, сумку заберу.

– Окей!

«Э-э, да ты, Береза, не только полысел, но и животиком прирос. – Федоркин незаметно покосился на Леву. – А слыл таким спортсменом! Восемь мячей из десяти укладывал в баскетбольную сетку. На спор. Правда, в тот раз уложил на мяч меньше. И, тем не менее – семь бутылок пива. Хватило на всю компанию...»

– И как тебе Киевский? – спросил Лева.

– Да ужас! Наворотили черти что.

– Ты еще на Курском побывай. Там такого монстра соорудили. Этих торговых центров в Москве...

– И еще банков. Золотистые таблички. Знаешь, когда я настоящему почувствовал ту, нашу Москву? Когда спустился в метро. Таким знакомым пахло: «Площадь революции», «Маяковская», «Пушкинская»... Правда, названия у многих станций теперь другие.

– И ментов прибавилось, – съехидничал Лева.

– Да уж. И знаешь, что еще бросилось в глаза: в метро мало красивых женщин. Прежде, бывало, зайдешь в вагон – глаза разбегаются: одна краше другой.

– Старик, красивые женщины на метро давно не ездят. Все больше – на лимузинах. Да еще и с личным шофером.

– Антон, давай, знаешь, о чем договоримся (голос Льва): при Лариске, нынешней моей жене, о Вике ни слова.

– Лады.

– Ревнует, не ревнует, но не любит, когда о Вике заговаривают

Федоркин хорошо помнил Вику. Эдакая черноглазая стройняшка. Из каких-то южных краев. Помнил, как завязывалась их отношения слевой. Лева даже пытался на гитаре играть, то и дело заскакивая к ним общежитие: покажите один аккорд, другой, третий. А больше и не надо. Поженились они уже на втором или третьем курсе. И переехали к левкиным родителям, куда-то на Преображенку.

– А почему развелись? – невольно вырвалось у Федоркина. – Впрочем, извини, глупый вопрос. Сам ведь тоже развелся, а так, если разобраться, не пойму, почему. Видимо, наступает такой момент в супружеской жизни, когда начинают тяготиться один другим. Резче проступают незаметные прежде не лучшие черты характера, разность интересов...

– У меня все иначе, – Лева притормозил у «зебры». – Я ведь после «Энциклопедии» ушел в бизнес.

– Помню, помню: ты в издательство «Энциклопедия» распределился. Неплохое местечко.

– Да крохи. Конечно, надо было идти на диссертацию. Но это такая морока. Потом еще в одном издательстве работал. А тут

семья, ребенок. Взял кредит. Да какой к черту кредит!? Просто свели с одним толстосумом, он и дал деньги. Открыл я точку на рынке, закупил товар – шмотки и прочее. Еще и продавца нанял. Поначалу дела шли в гору, а потом, как сглазил кто: все хуже и хуже – совсем по нулям. А подошло время возвращать долг. Раз, другой раз дали отсрочку, потом поставили на счетчик. Что делать? Оставалось одно: продать трехкомнатную квартиру и купить меньшую. Вот тут Вика и взбесилась. Но другого выхода у меня не было. Перевез ее с дочкой в двушку и ушел.

– История, – протянул Федоркин, невольно проводя параллель со своими делами. – Та же квартирная история: ушел.

– Какое-то время жил у родителей, – продолжал Лева. – Теперь вот у Лариски. Уже семь лет.

– У нее тоже ребенок?

– Дочь. Елизавета. Бариста.

– Что такое бариста?

– Профессия такая. Работник кофе-бара по-нашему. Да она сама тебе расскажет. Если не поздно вернется. Ну вот, приехали.

Шумно вошли в прихожую:

– Знакомься, моя жена Лариса.

«Странно, – поймал себя на мысли Федоркин. – Лева, давнишний друг, однокурсник, воспоминания о котором всегда ассоциируются с Викторией, приглашает к себе домой дом и в качестве жены называет другую женщину. Вроде как, и Лева уже не Лева...»

– Он вообще эстет, – тараторил Лева. – Представляешь, говорю ему: поезжай, в Царицыно. Такое удовольствие получишь. «Нет, сначала в Третьяковку». Побывал все же?

– Не успел. Завтра.

На кухне уже шипело и шкварчало.

– Я тут захватил, – Федоркин расстегнул сумку. – С перцем.

– Горилка с перцем? – воскликнул Лева. – Вот с нее и начнем.

– Это для вас, – усмехнулась Лариса. – У меня вино.

Федоркин уже в который раз почувствовал ее пристальный взгляд. Наверняка думает, что он сравнивает ее с Викторией. «Да успокойся, все нормально: и молода, и симпатична. И верно сказано: с каждой новой женщиной мужчина молодеет. Вон Лева. Энергия так и прет из него».

Первый тост, понятно, за встречу, за знакомство. Потом – за альма-матер.

– Мужчины стоя! – вскочил Лева.

– Да ладно вам, гусары, – усмехнулась Лариса.

– За альма матер с перцем! – выкрикнул Лева и лихо опрокинул рюмку.

– Ну, ты загнул! – рассмеялась Лариса. – Впрочем, у вас своя альма матер, у меня своя.

– Она финансист, – уточнил Лева, – окончила финансово-экономический. Деньги лопатой гребет.

– Лева, не паясничай.

– А мы с Антошкой – из МГУ. Где учились великие Герцен, Огарев, Лермонтов, Лев Толстой...

– И Лев Березин, – съехидничала Лариса. – Великий ты мой.

– Да, и Лев Березин, и Антон Федоркин. Лар, а знаешь, что Толстой завалил вступительный экзамен в университет. Латынь, кажется. Приняли его условно. То есть за бабки. Как же, барин! Ком иль фо. А мы с Антоном сами поступили. И гордимся этим.

– Вот и гордитесь, – в глазах ее бесенята.

– Вот и гордимся. Мы еще Сережке Дугину позвоним. И Степке Безукладникову, он в Думе работает. Большо-о-й человек! И Людке Любимовой.

– И Вике Березиной, – уколола его Лариса. – Ладно, вы тут повспоминайте, а мне еще документы надо посмотреть, – поднялась, эффектно одернув тугую блузку.

Ушла.

Лева наполнил рюмки:

– И чего капризничает? Столько лет прошло...Как там у Чехова? Если боитесь одиночества, не женитесь. А мы с тобой, значит, не боимся одиночества, и уже дважды женимся. Правда, бизнесмены из нас не ахти.

– У тебя что сейчас? – спросил Федоркин.

– Мебель. По заказу. Аренда. Налоги буквально душат. Надо что-то другое искать. Да что мы все про меня да про меня. Ты о себе расскажи.

– А что рассказывать? Некоторое время учительствовал. Потом ушел в райком комсомола, в отдел культуры. Потом – в гор-

ком. В девяностых, когда все рухнуло, остался не удел. Знающие люди посоветовали заняться земельными делами.

– О, наш славный комсомол! – воскликнул Лева. – Непотопляемый!

– Лева, жить-то надо было. Взял колхозные паи. Гектаров двадцать. Нет, сам я не пахал и не сеял. Нанимал. Урожай сбывал на рынке.

– А что? Не плохо.

– Ну да. Но из-за этой самой земли меня чуть и не пришибли. Соседние фермеры и стоящие за ними бандиты. Да просто отняли землю. Потом занялся аптечным бизнесом, благо дочь от первого брака закончила мединститут. С аптеками тоже нахлебался. С такой столкнулся конкуренцией! Поджоги, угрозы. Дочь вообще вынуждена была уехать за границу. Теперь у меня один бизнес: коллекционирую картины крымских художников. Художники племя – голодное, каждой копейке рады. Вот и покупаю у них за недорого картины, устраиваю вернисажи, что-то удаётся толкнуть. Сейчас покажу, – Федоркин прошел в прихожую, достал из сумки свернутый холст, развернул его на свободной части стола. – Ну как, неплохо?

– Да вроде ничего. Я, правда, не очень разбираюсь. Лар! Сейчас за Лариской схожу. Хватит ей дуться. Лар, погляди! Это же Крым! Не пойму только, Форос или Судак?

– Новый свет, – Федоркин указал на скалы. – Там дальше – Царский пляж.

– Лар, а ведь мы с тобой бывали там, – обнимая Ларису, прочувственно сказал Лева.

Лариса похвалила картину, спросила, кто автор.

– Из местных. Некий Чуб.

– Смешная фамилия.

И Антон понял, что сейчас сделает то, что просто необходимо сделать:

– Возьмите! Нужно еще рамку подобрать.

Как Лева и Лариса ни упирались, мол, подарок слишком дорогой, Антон все же всучил им холост и даже пообещал подыскать багет.

– Спасибо! – Лариса чмокнула его в щеку.

– Ну, старик, осчастливил, – Лева тоже полез с поцелуем. – Лара, звонят. Посмотри, кто там? Может, Дугин? Было бы здорово! Антон, представляешь, звоню ему, так, мол, и так, Антошка приехал, он тут же: «Бросаю все дела, еду к вам».

– Лева это к тебе, – голос Ларисы.

Вернулся он мрачнее тучи:

– Наливай! – и, не дожидаясь, сам наполнил рюмки. – Вот, – положил перед Антоном лист бумаги.

– Что это?

– Читай.

Это было письмо из суда, извещавшее его, Льва Березина о том, что в связи с большой арендной задолженностью он лишается офисного помещения. Улица, номер дом...

– Да-а, – протянул Федоркин. – И много?

– Два лимона. Рублей.

– Прилично. У меня с собой есть...

– Старик, не надо. Выпугаюсь.

– Лева, тебя можно? – подошла Лариса.

«А тут еще я, как с неба, свалился, – Федоркин почувствовал явную свою неуместность. – Наверное, лучше мне уехать». Об этом и сказал Лева, когда тот, раскрасневшийся, снова уселся за стол.

– Нет, остаешься у меня!

– Лева, еще совсем не поздно. А гостинцу я на всякий случай присмотрел. «Азия». На Рязанском проспекте.

– Да, есть такая. Ладно, извини, что так все вышло. Может, ты и прав. Кстати, будешь с Дугиным встречаться или еще с кем из наших, ничего им не говори.

– Ладно.

– Ну, что, на посошок? С перцем!..

ПОДСОЛНУХИ ГОГОЛЯ

Я в Полтаве. Утро чистое, свежее, но уже ощутимо припекало. «Восемь по полтавскому, что двенадцать по московскому», – хмыкнул про себя и направился к группе таксистов-частников (а иных здесь, на привокзальной площади, и не было).



- Мне – в Васильевку, в музей-усадьбу Гоголя.
- Это далеко, – зароптали они, – километров под восемьдесят. – И обратно столько же.
- Ладно, – один из них, Алексей, лет сорока, высокий с коричневым лицом согласился: – Триста, – и уточнил: гривен.
- Да понял. И полчаса ожидания там, на месте.
- Тогда четыреста, – резюмировал он.
- Поехали!

Желтые до горизонта подсолнухи... Наверняка по этой же дороге (А куда бы ей деваться?), тогда совсем еще узкой, пыльной, раскаленной в жару и расплывшейся по осени, проезжал и Гоголь. И когда учился в полтавском училище, а затем – в нежинской гимназии, и когда, будучи уже известным писателем, навещал родителей. Последний раз он побывал здесь, кажется, уже перед смертью. Объехав доселе пол-Европы. Почему-то тянуло его в Европу. Особенно любил Рим, где и создавал свои «Мертвые души»...

«Диканька» – мелькнул указатель. Как же, как же? «Вечера на хуторе близ Диканьки». Веселенькая вещь! А хутор этот – Васильевка. Да вот он. Правда, теперь под другим названием: Гоголево.

Длинное, утопающее в зелени одноэтажное здание с колоннами. Огромная, обязательная для дворянских усадеб круг-клумба.

В тенек Алексей и вырулил:

– Чтобы салон не нагрелся. Тут и подожду.

Музейщики – народ приветливый. К тому же с начала дня я был, пожалуй, первый посетитель.

– Все покажем, обо всем расскажем. (Ох уж эта круглолицая смуглянка с блестящими черными глазами! И впрямь гоголевская Оксана из «Вечеров на хуторе...»)

Комната матери, сестер Гоголя, гостиная, столовая... Мебель, интерьер – все в стиле того времени (полосатые обои).

И тут вижу приближающегося Алексея.

– Решил тоже посмотреть, – как бы извиняясь, сказал он. – Ни разу не был.

– И правильно, – поддержал я его.

Портреты отца, матери, бюст писателя, сделанный на основе посмертной маски. Белая заношенная жилетка, узкая, совсем детская. Трость. Прижизненные издания. Письма к матери. Много писем. Все – на русском. (Так, для себя отметил).

Потом перешли во флигель. Именно здесь работал Гоголь над вторым томом «Мертвых душ». Работал до иступления, порой сутками не выходя из комнаты. Комкал листы, сжигал их. (После, уже в Москве, сожжет всю рукопись.)

Посмотрели еще могилы родителей писателя: Василия Афанасьевича и Марии Ивановны Гоголь-Яновских. Это рядом с домом-усадебой.

И – назад.

Подсолнухи, подсолнухи... Как и при Гоголе. Как и после него...

– Станный он был, этот Гоголь, – заговорил Алексей. – Ни жены, ни детей. Он что действительно не любил женщин?

– Как сказать? Влюблялся, конечно. Просто не отвечали взаимностью.

– Бедный был, – заключил Алексей.

– Да уж не богат.

– И ростом полтора метра, – хихикнул.

– Дело не в этом...

– И еще была другая фамилия, – продолжил он. – Шас, – достал мобильник, – Валь, а скажи, какая другая фамилия у Гоголя?

Почему спрашиваю? Потом расскажу. Так какая? Не знаешь? Яновский! – расхохотался и, уже обращаясь ко мне: – Не знает! А еще учительница. Ладно, я, бомбила...

2012 г.

ПРИВЕТ, АНАНЫЧ!

Отца моего звали Ананий. Не любил он свое имя. Как сам говорил, из-за извечного при обращении во всякого рода инстанции, да и просто при знакомстве – недоумения: «Ананий? Странное имя. По святам что ли?» И совсем не возражал, когда кто-то из друзей, коллег, не мудрствуя лукаво, называл его Андреем или еще как-то – дескать, так удобнее. Да и сам он частенько в поезде, в другой какой неформальной обстановке представлялся Андреем.

А назвали отца Ананием в честь дяди его, погибшего при невыясненных обстоятельствах. Собственно это было убийство. На дворе стоял 1918-й год.

Ананий Соляник, совсем еще молодой (и сорока не было) проживал с семьей – жена и трое детей – на хуторе близ села Великая Лепетиха, что на Херсонщине. Село это действительно было большое, красивое. (Ныне это поселок городского типа.) Красива и легенда о происхождении села, уж позволю себе такое отступление. Легенда следующая. Екатерина II, направляясь с Потемкиным в Крым, была буквально поражена красотой представших перед ее взором в низовьях Днепра бесконечных, поросших камышами и кустарниками берегов – плавлен. «Лепо и тихо!» – сказала она. Это «лепо и тихо» и легло в основу появившегося здесь села Лепетиха. Впоследствии к названию его прибавилось «Великая». В честь императрицы, вероятно...

Так вот к началу XX века сельская община разрослась чрезмерно, и земли для новых ее членов уже не хватало. И тогда часть селян обратилась в Херсонский земельный банк с просьбой предоставить им кредит для приобретения наделов на стороне (все – в рамках столыпинской реформы). Просьбу их уважили. И около десятка новых лепетихских семей получили такие наде-

лы (из фонда казенных земель) – по 22 десятины. Это по нынешним меркам 22 гектара. Нормально!

На одном из таких участков и обосновался хлебопашец Ананий Соляник. Лошади, волю, плуги, сеялки... Труд – от зари до зари, до седьмого пота. Выстроил и дом.

И как-то под вечер появилось трое всадников. Спешились тут же, у колодца. Попили воды, лошадей напоили и со стуком в дверь: «Соляник тут живэ?» «Тут», – откликнулся Ананий, открывая дверь. И рухнул замертво. В сени выскочила жена – второй выстрел. Третий выстрел настиг старшую дочь. Двое других малолетних детей успели спрятаться под кроватью.

Кто, за что расправился с семьей Анания Соляника? Явно же не грабители – взять-то ничего не взяли. Значит, недоброжелатели, завистники, враги – Ананий-то слыл крепким хозяином. А в округе, в той же Лепетихе, уже прокатилась волна поджогов домов богатеев.

Я не знаю, как выглядел тот Ананий – фотография не сохранилась. Наверняка был высокий, кряжестый...

Драма на хуторе потрясло лепетихцев. Уже не говоря уже о семействах Соляников, а таковых здесь было уже несколько. И когда родился мой отец – в феврале 1919-го – решено было назвать его Ананием.

Не любил он свое имя.

Соответственно я, появившись на свет много лет спустя, стал Ананьевичем. Как и младший брат мой Михаил.

Не знаю, как брату, а мне из-за отчества моего (как отцу из-за его имени) «доставалось»: «Какое-то оно необычное у тебя». И не раз и не два в разных бумагах – письмах, справках, – проскакивало Андреевич, Александрович. Был вообще курьезный случай. Получил я загранпаспорт и, довольный – скорее домой. Собираться. Через два дня вылет: Лувр, Монмартр...

Как сейчас вижу: утро теплое, солнечное. Птички поют. (Или так показалось?) Невольно тянусь к вожделенным корочкам, бережно открываю их, а солнечные блики так и скачут по ламинированной страничке, и – аж дыхание перехватило: Александрович. Быть такого не может! Загранпаспорт все же. Перемещаюсь в тени, под деревья, подальше от этих чертовых бликов. Да – Александрович. Ну

сколько можно? И – назад в паспортный стол, при этом, конечно, нещадно костеря себя за то, что сразу внимательно не посмотрел.

Помню, старлей (начальник паспортного стола) чуть ли не матерился: «Ну, шалавы! Глаз да глаз за ними...»

Новый загранпаспорт выдали мне уже на следующий день.

Не могу не привести еще один такой же курьезный случай, но уже касательно брата моего Михаила: до сорока лет ходил он, так сказать, с паспортом с... моим именем. Обнаружил он это не сразу, но лишь махнул рукой: «А-а, ладно...»

Поясню. Жил он в Киеве. А в союзных республиках, каковой являлась и Украина, паспорта были двуязычные: на русском и на национальном языке. Так вот в паспорте брата на первой странице значилось Михаил Ананьевич, а на второй – Мыкола Ананиевич. Но Мыкола – это я.

Самое удивительное, что нигде, ни в каких кабинетах, куда ему, конечно же, доводилось обращаться, этого не заметили – ни, скажем, в жилотделе, ни даже когда переходил с работы на работу. Оно и понятно: чиновники обычно смотрели первую (русскую) страницу паспорта, а вторую просто перелистывали.

Как-то я пошутил: «Давай, – говорю брату, – когда приеду к тебе, ткнусь в какую-нибудь контору, допустим, в пункт проката спортивного инвентаря, предъявлю твой паспорт, открыв его на второй, «моей» странице, и чего-нибудь возьму там. «Ну это уже криминал», – усмехнулся он...

Нет уже ни брата моего Михаила Ананьевича, ни других Ананьевичей (детей убиенного фермера Анания Соляника). Я один остался – Ананьевич. И как-то спокойно на душе...

Но как же радуюсь, когда вдруг услышу:

– Привет, Ананьич!

Да, общались...

Воинскую службу я проходил в Группе советских войск в Германии. Дело давнее.

Но и поныне меня, да наверняка и моих однополчан спрашивают, общались ли мы с местными.

Да, общались. Пусть на кое-каком немецком, а с той стороны – на кое-каком русском, но ведь изъяснялись: кто есть кто, откуда, немного о политике.

Мы называли это народной дипломатией.

Вспоминаю такой случай. Как-то в гаштете мой друг Балацкий, механик-водитель, ефрейтор, общался с одним пожилым немцем при помощи всего двух фраз.

«Гитлер – сука!», – восклицал Балацкий, уже изрядно поддавший.

«Сталинград!», – вторил ему немец, качая хмельной головой.

«Гитлер – сука!», – снова восклицал Балацкий, ударяя кулаком по столу.

«Сталинград!», – повторял немец и, задрвав на спине рубаху, показывал зарубцевавшиеся раны.

И ведь понимали друг друга...

*Б*ЕРЕГА

Стихи

ЗНАТЬ БЫ...

Волга впадает в Каспийское море.
Знать бы, куда улетают стихи.
Серый кувшин на веселом заборе,
Рядом прогуливаются петухи.

Спрячусь под крону шелковицы сонной –
Губы мои, словно темень, черны.
Бродит по кругу рыжий подсолнух,
Рыжий подсолнух с любой стороны.

Тянется к небу изысканный тополь.
Я этот тополь давно приглядел.
Вон и дорожка, которой потопал
Не понарошку в сегодняшний день.

Сказка такая не скажется скоро.
Все вперемежку – любовь и грехи.
Волга впадает в Каспийское море.
Знать бы, откуда берутся стихи.

НОСТАЛЬГИЯ

Когда курили «Шипку»,
а «Явка» мнилась шиком,
И был про всякий случай
на Пушкинской – ломбард,
Мы девочек любили.
Небрежно нарочито.
И каждый был немножко
философ или бард.

Когда курили «Шипку»...
Под завороты твиста
ловили в небе звезды.
Мы все тогда могли.
И падал рядом месяц,
как вобла серебристый.
И пенились в стаканах,
понятно, «Жигули».

Манил костер таежный –
был вечер семиструнный.
К утру просохнут кеды.
А, может быть, и нет.
И счастливы ведь были!
Представить даже трудно.
Куда, река, уносишь
мой запоздалый след?

Когда курили «Шипку»...
Плечом зари касались
И девочек любили.
Да что там говорить?
Мы были – не казались.
Таковыми и остались.
Ищу в кармане двушку,
да некому звонить...

БЕРЕГА

Берегут меня берега,
Тот, что слева, и тот, что справа.
На одном – лютует пурга.
На другом же – лютуют травы.

Тот, что слева, покоя не даст,
Душу выметет, словно сени.
А куда мне теперь, куда?
Берег правый – мое спасенье.

Благодать. Синева, соловьи,
Плеск волны и трава до неба.
И певуньи-колдуны мои.
Здравствуй, правый!
 Давно здесь не был.

Пью вино. За глотком глоток.
И ромашкам кричу: «Спасибо!»
Но крадется уже холодок,
Слышу голос паромщика сиплый:

«Нет ни ночи тебе, ни дня.
Закрутился ты, парень, право...»

Остуди, берег левый меня.
Отогрей меня, берег правый.

* * *

Убежали светлы дали.
Улетели сладки грезы.
Вы случайно не видали,
Где растут мои березы?

Где растут мои осины.
(Не дождусь от них привета.)
На каком краю России?
На каком краю планеты?

Мне бы сердце – да попроще.
Мне бы душу – да почище.
Утону в зеленой роще.
Я, ей богу, там не лишний.

Я, ей богу, не напрасно
Проторил свою дорожку.
Жизнь была отнюдь не праздник.
Но ведь было и хорошее...

Чист, уютен подоконник.
Мне б глотка дорожной пыли.
Ускакали чудо-кони,
Седока, видать, забыли.

* * *

Дурнее прежнего курю,
И на душе такая лажа!
Наверно, все же к февралю
Зима характер свой покажет.

Тогда уеду в Снегири,
Найду забытую избушку
И, что уж там не говори,
Наполню содержимым кружку.

В сугроб случайный завалюсь.
Что есть на свете снега чище!
И перед Богом повинюсь
За то, что жить не научился...

ПОДКОВА

Нет, ничто в мире не ново,
Кроме сна.
А приснилась мне подкова.
Кто бы знал!
Яко солнце, золотиста –
Очи жжет.
Я ее слегка потискал –
Подойдет!
В путь-дорогу выйду снова
Вон за той рекой.
Бережет меня подкова –
Сон такой.

МОЙ ПРЕДОК

Мой предок соль возил –
В Черкасы, на Вольты.
Корячились возы,
Горбатились волы.

Пусть не нажил добра –
Тот невеликий кошт, –
Пил воду из Днепра,
Достав небесный ковш.

Молил Чумацкий шлях¹
До дому довести.
И чтоб поганый лях
Не встретился в пути

Иль турок-басурман...
Далече Перекоп.
И всяк себе сам – пан,
Но не скажите «Гоп!»

Чу, звякнуло ведро.
Все обратились в слух.
«Ой, ты, Днипро, Днипро!..»
Та то ж Великий Луг!²

Слова – наперебой.
И медовуха плюс.
Стою я под вербóй
Солянику дивлюсь.

¹ Млечный путь.

² Историческое название днепровских плавней, вотчины запорожских казаков.

ПРОСИЛА ЖЕНЩИНА МЕНЯ

Опять жестоко кем-то брошена,
Но лишь себя одну виня,
«Скажи мне что-нибудь хорошее», –
Просила женщина меня.

И сознавала, что беспомощна,
Что всякий может упрекнуть.
И все шептала тихой полночью:
«Скажи, скажи мне что-нибудь».

Уйду и я, как все, как прочие.
Что делать, значит, не судьба.
«Скажи мне что-нибудь хорошее», –
Попросит женщина тебя.

И будет рядом, осторожная,
Не заклиная, не кляня.
Скажи ей что-нибудь хорошее.
И за себя, и за меня.

Все в этом мире перекошено.
Звучит до истечения дней:
«Скажи мне что-нибудь хорошее» –
Молитва женщины моей.

* * *

Буду учиться жить без ста грамм.
Буду ходить в Переделкинский храм.
День перепутаю с лунною ночью.
Буду учиться жить между строчек.

Только куда же мне без ста грамм?
Да и не ждет Переделкинский храм.
И не уснуть до скончания ночи.
И пустота, пустота между строчек...
Буду учиться жить без тебя.

МОНМАРТР

А на Монмартре виноград
И кабачок «Катрин»,
И рисовальщиков парад,
И суетность витрин.

Убрался весело балкон
Каштановой листвой.
И «Быстро! Быстро!» – казаков –
Звучит: «БистрО! БистрО!»

Мерцает Монпарнас вдали.
Нотр-Дам, как прежде, строг.
И усмехается Дали,
И хмурится Ван Гог.

ДОБРОТА

Добро должно быть с кулаками.

С. Куняев

Твоей обидою гонимый,
Своей жестокостью казним,
Я знал и верил: где бы ни был,
Живу прощением твоим.

И вот мы рядом. День печальный.
И рук податливых тепло.
Я обижал тебя нечаянно,
Не шутки ради, не назло.

Ты замираешь – словно камень.
Очнись, хоть слово пророни.
Добро должно быть с кулаками.
Так проклинай меня, кляни!

А ты молчишь. Рукой усталой
Прибрала волосы-фату.
Ты добротой отстояла
Свою святую доброту.

ЕЛОВАЯ ШИШКА

Еловая шишка на нашу скамейку
Свалилась, как с неба.

Наверное, знак.

Давай загадаем: быть вместе
навек.

Навек и вместе.

Иначе – никак.

Шумели дожди,
и хрипели метели.

Цветы расцветали –
как видно, не зря.

Февраль не узнает,
что будет в апреле.

Апрелю неведома
грусть февраля.

Я жизненный путь не чертил
под линейку.

Как жил, так и жил,
погоня года.

Еловая шишка
летит на скамейку.

А что загадать?..

СВЕТ ОБИТЕЛИ

*Моим родителям –
Марии Григорьевне
и Ананию Семеновичу*

Как же светел путь –
Дорога к родителям!
В их глаза заглянуть:
«Вас здесь не обидели?»

Мать в слезах и молчит –
Слова не находятся.
А отец все ворчит
На власть, как водится.

В доме тихо, тепло,
Борщ украинский.
Что вкуснее его?
Маме слова мои
нравятся.

Все гляжу на себя
С фотографии.
Благодарна судьба
Биографии.

Будь же вечен, будь
Свет обители!
Как же тягостен путь –
От родителей!

2000 г.

* * *

По-над берегом солнце крадется,
Раздвигая кусты ивняка –
То в оконце мое улыбнется,
То прищурится издалека.

Потянулся дымок неспешный.
Встрепенулся гусар-петух,
На селе он совсем не лишний.
И заветной калитки стук.

Коромысло гремит у колодца,
Не дождется ведерка никак...
По-над берегом солнце крадется.
Песня сложится – наверняка.

* * *

Не проси любви у нелюбимой.
Нелюбовью не тревожь любовь.
На крыле беспомощно-счастливым
Ей лететь недолго за тобой.

Задрожит осенней паутиной,
Зимняя нагрянет круговерть.
Не проси любви у нелюбимой.
Дай любви до срока умереть.

НАС РАЗЛУЧИЛИ ГОРОДА

Брату Михаилу

Нас разлучили города –
Два важных стольных града.
И мы не думали тогда,
Кому все этот надо.

К тебе мне ехать за кордон.
Крещатик тот же? Там же?
И не дождусь тебя в мой дом
На полденечка даже.

А где-то в дальней стороне
Не спится маме. Боже,
Как пусто, одиноко ей!
И сердцу кто поможет?

Тоска.

Тоска...

«Да пусть тоска.

Не знать дурной бы вести», –
И крестит небо, где Москва,
И там, где Киев, крестит.

УКРАИНА

В золото колоса и неба синь
Гнилой подкинули апельсин¹.
И норовят переписать тебя заново?
Чтобы стала еще и банановой?
Беда не ходит одиноко –
Ревет и стонет Днепр широкий!

¹ Оранжевая революция в Киеве (2004 г.).

МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС

Одноклассникам

Он ведь рядом как будто –
Шестьдесят какой год.
Столько было напутствий.
Столь прощальный аккорд.

Тополя с интересом
Озирались на нас.
И звучал в поднебесье
Мелитопольский вальс...

Разнесло нас по свету.
Но и счастливо ведь.
И в глаза нашим детям
Нам не стыдно глядеть.

Пусть живем мы вчерашним,
И немало нам лет.
Расцветает черешней
Нашей юности свет.

Светом полнятся лица.
Две слезинки. Ну что ж?
Это просто пролился
Мелитопольский дождь.

ПУШКИНУ

Он на ногах с утра чуть свет –
Дурных как будто нет примет.

Ну Вяземский ворчит, сосед.
Ворчит он добрых двадцать лет.

Жуковский не прислал привет,
Кухаркин подгорел омлет.

Ну дак и что? На все семь бед
Крылова-душеньки портрет.

А ввечеру опять балет –
Оповестит о том брегет.

Потом на званый на обед.
Но что сказать? Какой ответ?

У Черной речки санный след –
Дантеса черный пистолет.

МОЛИТВА

Боже, спаси: я падаю!
Страшен небесный гнев!
Шел я по жизни за правдою,
С правдой в огне горел.

Шел, как умел, за верою
В благодати бытия.
Высшею самой мерою
Ты не карая меня.

Стану светить лампадою
И призову любовь.
Падаю, падаю, падаю –
И поднимаюсь вновь.

МАРСИАНЕ

– А на Марсе есть своя Россия? –
Внучка – ни фиги себе! – спросила. –
Свой Париж и, как ее, Женева?..
Я оторопел: – В Женеве не был.
Но Москва! Гляди: кружится в вальсе.
Значит, хорошо и там, на Марсе.
Значит, есть и там своя Россия.
Просто марсиане попросили...

ВОТ ЗАТЕМ МЕНЯ МАТЬ РОДИЛА

Я бежал, закусив удила,
Торопил самолет, поезда.
Оказалось, бежал не туда.
Ах, зачем меня мать родила?

Принимал суету за дела,
Первых встречных – за лучших друзей.
А теперь ни друзей, ни рублей.
Ах, зачем меня мать родила?

Не держу ни обиды, ни зла.
Падал больно. Опять на ногах.
Видел солнце в росистых лугах...
Вот затем меня мать родила.

* * *

Вам скажу по секрету, братцы,
У меня есть четыре акции:
Поле чистое, небо ясное
И славянская мудрость ясеня.
И еще вся в цвету акация.
Вот и все, как видите, акции.
А насчет дивидендов, так, что же?
Всякий день для меня – погожий.

ЗРАНИ



Заметки, наблюдения

ТАК ВЫШЛО...

Первой в России женщиной, поднявшейся на воздушном шаре, была княгиня Прасковья Юрьевна Гагарина. Женщина она была отважная: следовала за мужем генералом Ф.С. Гагариным в годы русско-турецкой войны, польского восстания (1794 г.), где и потеряла суженого, а сама оказалась в заточении (вызволил ее Суворов).

Овдовев, жила обособленно. И когда в 1803 году в Москве объявился изобретатель воздушного шара француз Жан Гарнерон и предложил желающим из числа женского общества полетать вместе с ним, Прасковья Юрьевна охотно согласилась. А было ей уже за сорок.

Поднялся шар примерно в том месте, где находится сейчас Курский вокзал, и приземлился через три четверти часа далеко (по тогдашним меркам) от Москвы: в имении князей Вяземских Остафьево. Так вышло. Зацепившись за верхушки парковых деревьев. Кстати, тогдашний владелец усадьбы Петр Вяземский впоследствии станет ее зятем – поэт, литературный критик, друг А.С. Пушкина...

О полете на шаре русской княгини Прасковьи Гагариной сообщили все мировые газеты.

А через полтора ста лет мир узнал о другом приземлении – Юрия Гагарина. Уже из космоса.

Вот такой поворот: от воздухоплавательницы Гагариной до космонавта Гагарина.

«МЕДНАЯ БАБУШКА»

Прадед Натальи Николаевны Гончаровой был о-о-очень богат. В честь посещения Екатериной II его имения Полотняный Завод,



что в Калужской губернии, и самих заводов (как ни как часа четыре пробыла) заказал он в Берлине трехметровую ее скульптуру (3 тонны бронзы), уплатив за все про все, а это и доставка, 100 тыс. рублей. Но вскоре умер.

Наследникам его скульптура оказалась непотребной, и они просто-напросто убрали ее в подвал, где она и провалялась более 30 лет. И тут дед Натальи Афанасий Николаевич смекнул, что скульптуру можно предложить Пушкину в качестве приданого внучки: пусть он либо продаст ее, либо в лом пустит. И вправду носился Пушкин с «медной бабушкой», как называл он изваяние великой императрицы, как дурень с писаной торбой.

В конце концов, скульптуру через вторые, третьи руки выкупило екатеринославское дворянство – за 24 тыс. (1834 г.). И установило ее на главной площади Екатеринослава, где и стояла она более ста лет, до осени 1941 года. Немецкие захватчики, оккупировав город (к тому времени уже Днепропетровск), демонтировали скульптуру и увезли ее в Германию. И следы «медной бабушки» потерялись.

В музее-усадьбе «Полотняный Завод» хранится уменьшенная ее копия.

ГРИБОЕДОВ

Николай I:

– А где Грибоедов?

Несельроде:

– В Тифлисе.

Николай I:

– Почему не в Персии? Поторопите!

Несельроде:

– Хорошо. Я сегодня же напишу Паскевичу (*командующему Кавказским корпусом, – Н.С.*).

«Поторопите!...» Звучит более чем наивно. Деша из Петербурга в Тифлис шла более месяца. За это время Грибоедов успеет жениться.

А в Персии его настигнет смерть. «И для чего тебя пережила любовь моя?», – напишет овдовевшая Нино Чавчавадзе на его надгробии.

ЕВДОКИЯ

«За некоторые противности...» Фраза, право же, умиляет. Но именно с такой формулировкой царь Петр удалил жену свою Евдокию Лопухину в монастырь. И даже как-то кокетливо: за противности. Что поделать? Постылой стала ему Евдокия, к тому же рядом уже была Анна Монс, что из Немецкой слободы...

Нет, Петр знал, что говорил. Противности Евдокии для него заключались в неприятии ею его деяний по перестройке России на европейский лад (она же усматривала в них не что иное, как разрушение всего изначального самобытного).

Впоследствии противности эти выльются в противостояние царю всего рода Лопухиных, других боярских родов, и где главной фигурой окажется царевич Алексей, сын.

Алексей будет умертвлен. Евдокию же (после смерти Петра I, а затем и Екатерины I) вернет ко двору внук ее Петр II, сын царевича Алексея. Но и он вскоре умрет. Евдокия вполне могла претендовать на трон, но ей, 60-летней «государевой бабушке», это было уже ни к чему, и она уступила его Анне Иоанновне, двоюродной сестре своего бывшего окаянного мужа – Петра I.

КАК ГЕЛЯ СТАЛА МАМЛАКАТ

До войны 10 из 12 станций кольцевой линии московского метрополитена были украшены бюстами и барельефами Ста-



лина, и одна из станций (Арбатско-Покровской линии) носила его имя. Там же возвышалась и двухметровая скульптура «Сталин и Геля» с текстом в ее основании: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Геля (Энгельсина) была дочкой министра земледелия Бурят-Монгольской автономной республики Адана Маркизова и вместе с ним присутствовала (разрешили, однако) на встрече

руководителей партии и правительства с трудящимися данной республики в Кремле в январе 1936 года. И даже вручила цветы Сталину.

Снимок девочки на руках у вождя напечатали все советские газеты и журналы; увеличенные репродукции снимка были вывешены в детских садах, школах, на предприятиях. А скульптор Георгий Лавров по фото создал скульптуру, растиражированную в следствие в миллионах копий.

В 1937 году отца Гели арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Монголии и вскоре расстреляли. Геля, таким образом, оказалась дочерью врага народа. И скульптуре дали другое название: «Сталин и Мамлакат». Мамлакат – девочка из Узбекистана. Внешне она не очень походила на Гелю, но кремлевцев это нисколько не смущало. Главное – героиня. А прославилась Мамлакат тем, что первой в республике стала собирать хлопок двумя руками. За высокие показатели в труде она, школьница, была награждена орденом Ленина...

А Гелю Маркизову вскоре забыли. Да и жить ей пришлось под другим именем и другой фамилией, которые дали ей уже после детдома приемные родители.

Станцию же метро «Сталинская» (в ноябре 1961 года) переименовали в «Семеновскую». Скульптуру соответственно убрали.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОМОД

Мы дружили с Мишкой Шкудовым. Квартира у Шкудовых была большая, светлая – казенная (отец его был заместителем директора машинно-тракторной станции – МТС).

Еще у Шкудовых была фисгармония. Это такой большой комод с приделанной к нему клавиатурой. Нажал на клавишу – раздался звук. Но при этом нужно было постоянно работать педалями, закачивая воздух в этот самый комод.

Мишку музыкальные клавиши и педали мало интересовали, а вот сестра его Людка с удовольствием усаживалась за инструмент и исполняла для нас что-нибудь веселенькое, сама и напевала: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?»

Потянулся и я к клавишам. «Да легко!» – сказала она, и уже через пять минут я играл «собачий вальс». Правда, ничему большому так и не научился.

И еще Людка любила вертеться перед зеркалом (читай: перед нами с Мишкой) в легком, коротком платьице, обнажая колени, бедра: «Ну как я? – игриво поглядывала на нас, потом резко останавливалась. – Да что вы понимаете, мелюзга?»

Да, она была старше нас: мы еще только ходили в семиклассниках, а она уже на финише – выпускница.

А однажды, покружившись перед зеркалом, спросила скорее у самой себя: «И почему мужчины не ходят в колготках?»

Мы с Мишкой переглянулись. Дурацкий вопрос! Позже я понял, что в Людке тогда просыпалась женщина, и само собой возрастал интерес ее к противоположному полу...

А потом прошел слух, что Людку изнасиловал местный тракторист. В подсолнухах. Так это было или иначе – слух, он, словно снежный ком. Отец Людки грозился наказать негодника. Но все как-то затихло. Тракторист остался трактористом, а Людка уехала в город поступать в вуз.

Через три года и мы с Мишкой расстались. Я подался в гуманитарии, он – в железнодорожники. И мы потеряли друг друга. Но, думаю, все у него сложилось хорошо: дети, внуки. Как наверняка и у Людки. Дай-то бог! Да и у меня все более или менее нормально. Но нет-нет, да и возвращаюсь в те далекие солнеч-

ные дни, где весело гремел комод и вертелась перед зеркалом Людка...

ТАНЦПЛОЩАДКА

Танцплощадка в советские времена были неотъемлемым атрибутом парков, домов культуры. Были даже разработаны правила для танцующих. Вот некий их образчик, кажется, 50-60-х годов.

«На танцевальные вечера трудящиеся должны приходить в легкой одежде и обуви. Запрещается приходить в рабочей или спортивной одежде».

Логично: в робе – не надо.

«Исполнять танец нужно четко и одинаково хорошо как правой, так и левой ногой».

Уже казуистика! Ну как трудящемуся заставить ноги работать одинаково?

Дальше – больше:

«Женщина имеет право в учтивой форме выразить неудовольствие по поводу несоблюдения мужчиной положенного расстояния в три сантиметра и потребовать объяснения в учтивой форме!»

Тут два раза «в учтивой форме». Ну да ладно. Видимо, для усиления момента. Но скажите, как мужчине было соблюдать эти положенные (и кем положенные?) три сантиметра. Что ли одной рукой удерживать партнершу за талию, а другой раз за разом проверять расстояние до ее груди? Он-то был бы не против, но вряд ли ей такое понравилось бы. Может, с помощью линейки? Измерять расстояние? Да чушь!

Стало быть, это она, партнерша, каким-то образом (по ощущению?) должна была контролировать положенное расстояние, и если оно сокращалось, в учтивой форме выражать партнеру свое неудовольствие: «Будьте любезны, не так близко...» Или «Не так сильно...», – если расстояние совсем уж исчезало. Еще и потребовать от него объяснения: «Скажите, зачем вы...»

Да плюнет он на нее и пригласит другую.

МОЛОТОВСКАНЕ

Многие жители Северодвинска и не догадываются, что славный город их одно время был Молотовском. А сами они – молотовсканами (молотовсканками).

И еще были молотовобадцы (молотовобадки). Это уже в Средней Азии: жители небольшого поселка Молотовобад (прежнего Дусти), что в Таджикистане.

Досталось и Перми: стала Молотовым (молотовцы, молотовки).

И все это, как читатель догадался, в честь В.М. Молотова, верного партийца-ленинца, соратника Сталина. Но Молотов – это псевдоним. Настоящая фамилия Вячеслава Михайловича – Скрябин. И представим себе, как бы звучали, не отрешись он от истинной своей фамилии, выше названные населенные пункты: Скрябинск, Скрябин, Скрябинобад. И наверняка бы народ подумал, что это в честь композитора Скрябина. И хорошо бы подумал...

А потом (уже в хрущевские времена) дела В.М. Молотова пошли совсем плохо. Его сняли со всех постов, исключили из партии. А Северодвинску, Дусти и Перми вернули их прежние названия.

Игра коммунистов в города? Да ладно. Нынешние демократы не меньше поиграли в города, памятники и в саму матушку-Россию.

СОЛДАТ, ОН ТАКОЙ...

Как сейчас вижу, шагаем в автопарк. Дорога туда недолгая: через железнодорожный переезд и далее – по мощеной улочке. Обычно здесь старшина Ерохин, наш, не знающий устали старшина Ерохин, поворачиваясь к строю, командует: «Рота!» Что означало тверже шаг.

Чеканим, не щадя ног своих, и знаем, следующая команда будет «Запевай!»

*Солдат, он такой...
И недаром говорят,*

*Самый сильный,
Самый сильный,
Самый сильный человек – солдат.*

И тут видим, слева у дороги – женщина с коляской. Ребенок, видимо, спал. Женщина в нерешительности остановилась.

– Отставить песню! – негромко командует старшина Ерохин, приближаясь к строю.

Но мы и без того уже перешли на вполголоса.

Песня смолкла.

Шагаем как можно тише, ревностно следя, как бы кто не звякнул набойкой. И так, неслышно, проходим мимо ярко-синей коляски и молодой мамыши, держа равнение (хотя и не было команды) налево.

– Спасибо! – в ответ с улыбкой.

И мы допели нашу песню:

*Солдат, он такой...
И недаром говорят,
Самый мирный,
Самый мирный,
Самый мирный человек – солдат.*

ВЕЧЕР ЕВТУШЕНКО

Дворец спорта (вчера был хоккей, сегодня – стихи.)

Легкие пластиковые кресла, зеленые дорожки.

Народ собирался медленно.

– А я вам скажу, чем это вызвано, – голос сзади. – Транспортом. Плохо ходит.

Сверкает сцена. Суетятся телекамеры. Из динамиков звучат песни на стихи Евтушенко.

– А Рождественский здесь вечера не устраивает, – тот же голос. – Он все больше на ТЭВэ.

Я оглянулся: белое лицо, седые космы (как у Луиса Корвалана, генерального секретаря компартии Чили), черный ри-

дикюль на коленях и букетик цветов. И пристроенная рядом палка-клюка...

11 декабря 1979 г.

СУДЬБА, ЗНАЧИТ...

Анатолий Болотов был немало удивлен, когда его, родившегося и выросшего в подмосковном Пушкине, направили в школу авиатехников в город... Пушкин. Что под Ленинградом. Да, честно, и не слыхивал о таком. Но как же был очарован им! Город-музей, город-парк – Царскосельский лицей, где учился Пушкин, Екатерининский дворец. И нисколько не удивился, что повстречал здесь самую лучшую девушку на свете – Веру Мореву. А она – да, удивилась: надо же, он тоже из города, носящего имя Пушкина. Судьба, значит!

В общем, полюбили друг друга. И даже подумывали о свадьбе (ему 25, ей 22). Но до свадьбы ли было? Война!

«Вот закончится война, тогда и поженимся», – решили они.

Знать бы им, что продлится она проклятая долгие четыре года.

Всю войну Вера Морева прошла в составе госпиталей Карельского фронта – медсестрой. Анатолий же – ремонтником авиационных двигателей, перемещаясь с одного прифронтового аэродрома на другой.

И вот Победа! Госпиталь, в котором служила Вера Морева, дислоцировался неподалеку от Берлина, и все, кто был свободен в тот день, отправились к поверженному рейхстагу. Что там творилось! Смех, слезы, объятия, оглушающие небо победные возгласы и автоматные очереди. И автографы на рейхстаговских стенах, колоннах.

Оставила свой автограф и Вера.

А спустя какое-то время оказался в Берлине и Анатолий. И тоже побывал у рейхстага. И удивился, и обрадовался, увидев на одной из колонн: «Вера Морева. Город Пушкин».

«Слава богу, жива!» И ниже начертал: «Анатолий Болотов. Пушкино».

После войны Анатолий Петрович и Вера Константиновна поженились. Переехали на житье-бытье в поселок Сокол, что на севере Москвы. Воспитали двух дочерей. Дождались внуков...

Первого болезнь подкосила Анатолия Петровича. Да как сказать болезнь? Его буквально изнутри сжигала горечь за распадающийся Советский Союз, за унижение армии, за попрание всего святого, самой исторической памяти.

После его смерти Вера Константиновна как бы замкнулась, ушла в себя. Неохотно общалась с родными, близкими и совсем не хотела говорить о войне: «Я столько повидала крови, смерти! Все это хочу забыть. С собой унесу...»

ОЛЕГ УСМЕХНУЛСЯ...

Гастроном. Стою в очереди в кассу. И вдруг: «Олег усмехнулся – однако чело...», – пушкинская строчка. Это старушка в белом чепчике и белом халате – кассирша – так отреагировала на нерасторопность покупательницы: та перепутала отделы. А может, она, старушка-кассирша, просто философски заключила какие-то свои мысли, и покупательница тут вовсе ни при чем?

Подхожу и тихо:

– Олег усмехнулся...

Она удивленно взглянула на меня.

Я продолжил:

– Спасибо вам!

– За что? – снова удивилась она.

– За «Вещего Олега».

– Так все знают.

– Да нет...

– Жаль, – застучала кнопками кассового аппарата. – Вам в какой отдел?

И ведь надо! Тоже перепутал отделы: вместо второго – мясного (где завесили мне триста грамм колбасы) назвал почему-то первый – молочный.

– Извините, – тут же спохватился и продолжил: – Однако чело...

С усмешкой взглянула на меня:

– ...и взор омрачился думой...

СТРОГАНИНА, МЕДВЕЖАТИНА...

Во Владивостоке мне предстояла встреча с высоким партийным начальником (тема интервью согласована была заранее: техническое оснащение сферы бытовых услуг и местной промышленности). Но это завтра. А пока спецы, инструкторы вводили меня в курс дела, показывали производства, и – уже к концу дня – один из них, назову его Иваном Ивановичем, предложил съездить на самую высокую сопку: посмотреть огни города. Правда, огни города посмотреть не получилось из-за налетевшей внезапно метели.

– Не повезло! – сетовал он – Вообще в декабре метели у нас – дело обычное, – и пригласил к себе домой. Поужинать: строганина, медвежатиная...

Я не стал противиться.

Встретила нас пухленькая – с мягкой улыбкой женщина – жена Ивана Ивановича.

Посидели мы душевно. Говорили о приморском житье-бытье («Легко приехать сюда, а попробуй выбраться потом...»), о Москве (приближалась Олимпиаде-80), о политике вообще. Иван Иванович время от времени жаловался на нехватку средств на развитие производств. А где и кому их хватало? Еще о чем-то разным говорили.

– Уже поздно, – засуетился я.

– Оставайтесь, – предложил Иван Иванович.

– Конечно, конечно, – вторила ему жена.

А куда было деваться?

Проснулся я рано: полумрак, незнакомая обстановка.

– Доброе утро! – подошел Иван Иванович, включил свет – уже побритый, причесанный. – Как спалось?

– Спасибо! Замечательно! – я взглянул на часы. – Надо будет еще в гостиницу заскочить.

– Успеем. Подымайтесь!

– Хорошо!

Я потянулся к спинке стула. Ба, рубашка! Чистенькая, тщательно выглаженная – моя. Ясно. Это супруга Ивана Ивановича, увидев совсем не свежую мою рубашку, и постирала ее, и погладила. Что тут сказать? Спасибо!..

ТИШАЙШИЙ

Чистенький, умеренно улыбающийся.

Ходил по коридорам тихо, почти на цыпочках. Его так и прозвали Тишайший.

Боялся острой пищи, крепкого словца и красивых женщин.

Не пил, не курил (язва).

Усидчивый. Как сядет с утра за стол, так и оставался за ним до окончания рабочего дня (к стулу у него тесемками была привязана подстилка – чтобы брюки не протирались).

Бумаги читал медленно с неизменно красным карандашом, и методично водя желваками.

Смеялся редко. Смех у него был короткий, клокочущий, словно вырвавшаяся наружу недобрая радость.

Вот он достал из тумбочки бутылку кефира, аккуратно снял зеленую (из фольги) крышечку, сделал один, второй глоток, заел булкой. Затем вытер губы сложенным вчетверо носовым платком, прикрыл бутылку крышечкой и убрал ее в тумбочку.

Потом подвинул к себе конверт, извлек из него письмо (письмо было от жены, жена, мы знали, была в отъезде, у родственников) и стал внимательно читать его, водя желваками и что-то подчеркивая красным карандашом...

НЕЭТИЧНО

Как ответственному секретарю одного из московских журналов мне частенько приходилось бывать на Чеховском полиграфкомбинате. Машина! Около трехсот журналов печатали здесь, по большей части отраслевых.

А приезжал я в основном в производственный отдел: то слайды требовалось подвести взамен забракованных, то правку согласовать, то «подогнать» график выпуска номера.

Бывал и в цехах. Огромные, светлые, новейшее оборудование. И длиннющие коридоры-переходы, по которым носились электрокары со стопками свежих оттисков, сверстанных «тетрадок», с уже готовыми тиражами. И тут вижу: на полу оттиск портрета Брежнева, уже изрядно «затоптанный» колесами этих самых электротележек. (Приближалось 70-летие Л.И. Брежнева – декабрь 1976 года, и, понятно, каждое издание почитало за честь напечатать его портрет.) Вот на полу еще один оттиск. А вот и очередная тележка. Машу рукой, мол, стоп! Парень недоуменно взглянул на меня и, не сбавляя скорости, понесся дальше...

И представились далекие 30-е: вот так валялся бы портрет Сталина, и на него (на портрет) наступали, по нему проезжали. Чтобы было? Хрестоматийный факт: женщине, повредившей изображение вождя в газете (ножницами вырезала глаза) дали десять лет...

А оттиски портрета Брежнева в коридоре-переходе все же убрали. Просто увиденным я невольно поделился с сотрудниками производственного отдела, те тут же кому-то позвонили, мол, неэтично...

КИЧЕРА

В бамовский поселок Кичера, что на севере Байкала, попал я, как говорится, с корабля на бал: к вечеру в местном Доме культуры, новеньком деревянном, как и все строения здесь (капитальный поселок выросал рядом), должен был состояться концерт художественной самодеятельности с участием... французов. Точнее, молодых французских коммунистов. Командировал их сюда ЦК компартии Франции, дабы вкусили они запах тайги, величие стройки, ну и своими руками что-то поделали – на самой трассе, на строительных объектах. И прислали свои впечатления в газету «Юманите», печатный орган компартии.



В течение десяти дней жили и работали юные посланцы Франции вместе с нашими ребятами. И в одной столовой питались, и в одной баньке парились. Вот и совместный концерт устроили.

Запомнилась такая шутка. Парень и девушка заходят за шторку-перегородку. Звучит музыка, французская, разумеется. И вот на шторку-перегородку летят джинсы, юбка, футболки – одна, другая, потом трусы, трусики, лифчик... Публика замерла. Как такое понять? И тут из-за шторки, улыбаясь, выходят те же парень и девушка, и все так же одетые, но... с пластиковыми тазиками в руках. Оказывается, это они стирку изображали.

Зал взорвался: «Ну, французы!»

Я потом беседовал с ними. Через переводчика, разумеется. Все им в Кичере (название поселка – по одноименной реке) понравилось. И зеленая тайга, и высокое сибирское небо, и веселые русские парни, и улыбчивые девушки. Об этом они и написали в своих письмах в «Юманите».

– Бьен! Бьен! (*Хорошо!*) – отчаянно жестикулировал один из парней.

– Жан, ты что-то хочешь сказать? – обратилась к нему переводчица.

– Уи-и! (*Да!*) – еще более оживился тот.

– Он говорит, – продолжила переводчица, – что русские ребята – супер, но не может понять, почему такой тонкий напиток, как вино, пьют они из граненых стаканов.

– Эстет! Скажите ему, – попросил я переводчицу, – что мы и водку пьем из граненых стаканов. Если рядом рюмок не окажется. Да подарите ему этот стакан!

Она перевела. Он рассмеялся:
– Бьен! Мерси!

СТРОИТЕЛИ КОММУНИЗМА

В нашей квартире в Люберцах случился беда: клопы. Как, откуда взялись? Сверху, как оказалась. Куда недавно въехала пожилая пара и привезла эту самую живность в допотопном диване.

Я тут же – на санэпидстанцию. Крохотное синее зданьице, серые (в основном женские) лица, резкие запахи. Но более всего удивил меня, если не развеселил стенд «Социалистические обязательства». Вот некоторые его пункты:

1. Выполнять принципы Морального кодекса строителя коммунизма.

Шел 1985-й год, и всякие коммунистические лозунги воспринимались уже как анахронизм. Да и вряд ли кто помнил этот милый, по-детски наивный кодекс. Кажется, в нем была и такая запись: человек человеку друг, товарищ и брат. Что-то совсем романтическое. В духе французской революции. И вообще, как можно выполнять принципы?

2. Повышать свой культурный уровень, знакомиться с новинками в литературе и искусстве путем посещения библиотек и зрелищных мероприятий.

Чистая профанация! В самом деле, до литературных ли новинок работникам клопов и тараканов?

3. Добиться стойкого освобождения площади на договорных объектах по дезактивации на 80%, по дезинфекции на 85%.

А почему не на все 100? Что ли, такое невозможно? Или просто зарезервировали процентный рост на будущий год. Не писать же потом о намерении освободить площади от клопов и тараканов на 105 или на 110 %.

Оставив заявление, я вернулся домой.

Приехали дезинфекторы быстро и быстро все сделали, при этом предложили нам, жильцам «плохих» квартир, пару дней перекантоваться у родственников. Понятно, из-за жуткого запаха. Я в свою очередь подарил бригадирше томик Хемингуэя «По ком

звонит колокол», как мне не жалко было с ним расстаться. Но... человек человеку друг, товарищ и брат.

УСТЬ-ОРДА

И решил дед Семен навестить своего сына-офицера в далеком сибирском гарнизоне. Путь его, понятно, лежал через Москву. Во Внукове я встретил деда (рейс из Запорожья прибыл точно по расписанию), отвез в Домодедово. Еще и каламбурил: внук встретил деда во Внукове и проводил в Домодедове.

Вслед отбил телеграмму: ИХИРИТ БУЛАГАТСКИЙ РАЙВОЕНКОМАТ ИРКУТСКОЙ ОБЛ УСТЬ ОРДА СОЛЯНИКУ ИВАНУ СЕМЕНОВИЧУ ВСТРЕЧАЙТЕ ВТОРНИК РЕЙС 119

Я умышленно отбил телеграмму на адрес военкомата, где в последние время и служил капитан Иван Соляник – так, для пущей важности.

Гостил дед Семен у сына Ивана больше месяца.

Прошло время (не было уже ни деда Семена, ни сына его Ивана – для меня дяди Вани) и решил я узнать, что за медвежий угол Усть-Орда. Оказалось – старинное бурятское селение. И название свое оно получило по речке Ордушка, протекающей сбочь.

Ныне Усть-Орда – поселок городского типа: Дом культуры, краеведческий музей. (Усть – характерная прибавка к названию сибирских городов, расположенных в устье рек: Усть-Кут, Усть-Илимск, Усть-Баргузин...). И, конечно же, райвоенкомат: ул. Ленина, 32. Невольно взглянул на чудом сохранившуюся открытку от дяди Вани: ул. Ленина, 33, кв. 6. Получается, жил рядом с работой. В двух шагах. И обедать ходил домой...

Да и никакая Усть-Орда не медвежий угол. Театр здесь появился раньше кинотеатра. А радио заработало еще в 1928 году.

ДЯДЯ ЖОРЖ

В музее-усадьбе «Полотняный Завод» сразу повстречался с Натальей Николаевной Пушкиной: портрет ее (кисти Александра

Брюллова; старший брат его, Карл, отказался от столь престижного заказа, дескать, не его тип красоты), стократно увеличенный был установлен в самой большой и самой светлой комнате – зал одной картины. Маленькие глазки, крохотные губки, удлиненный гончаровский нос. Но... 40-сантиметровая талия. (На совести художника).

И столкнулся с Дантесом – на втором этаже в так называемой детской комнате: бравый кавалергард с шикарной шевелюрой – известный образ. Оказывается, дети Пушкина (тут же их карандашные головки – Гриша, Маша, Таша, Саша) очень даже хорошо относились к дяде Жоржу.

Показали мне, достав из запасников, и другой портрет Дантеса, фотографический: здесь он седой, с бородкой, в руках трость – сенатор Франции (1847 г.).

- Почему же не выставляете фото? – спросил я.
- Оно у нас на временном хранении. Выставляем редко.
- Опасаетесь за его безопасность?
- В общем-то, да...

КАГОР ИЗ ДИВЕЕВА

С утра позвонил приятель. Когда-то вместе журналистничали в одной небольшой газете. Потом разбежались: он – в другую газету, я – в журнал. Виделись все реже, больше перезванивались. А вчера нагрянул. И ни откуда-нибудь, а из самого Сарова (некогда засекреченного Арзамаса-16, где теперь располагается Федеральный ядерный центр). Нагрянул, понятно, чтобы поделиться впечатлениями. Молодцеватый, возбужденный. Посидели мы хорошо...

А с утра звонок:

– Представляешь, – голос, чуть ли не ликующий, – вчера попал в вытрезвитель.

– Как это? – удивился я, хотя и не без некоторого чувства неловкости: все же надо было оставить его у себя, видел же: набрался. Да я и предлагал. Нет, домой, домой!

– Уже у метро, – продолжал он, – как из-под земли два мента. Следили что ли за мной? Меня, конечно, пошатывало. Да еще эта

тяжеленная сумка. Объясняю: с дороги, устал. «Там разберемся!» И – в узик меня. По пути еще троих подобрали.

– Для комплекта, – съехидничал я.

– Скорее, для плана. А спасла меня, – не поверишь, – бутылка кагора. Когда я сказал сержанту, уже другому сержанту, принимавшего мои вещи, что вот-де был в Сарове, Дивееве, посетил Дивеевский монастырь и даже приобрел две бутылки освященного кагора, он оживился: «Дивеево? Я родом оттуда. И родители мои там живут». «Судьба, значит», – подумал я и достаю из сумки бутылку: «Вот, дарю!» Он тут же схватил ее и куда-то быстренько пристроил. И я понял, что я спасен. Но пару часиков подержали. Видимо, чтобы я чуть протрезвел. Да хмель из меня мигом выскочил. Отпустили. Уже ближе к полуночи. Еще и до метро подбросили.

– Ну что? Повезло, – резюмировал я.

– Я же говорю, кагор спас. Да не просто кагор, а дивеевский, – уточнил он. – Спасибо Дивееву!

– Но и ксива помогла, – заметил я.

– Наверно, – согласился он. – Помню, и у тебя подобный случай был. На Сахалине. Тебя там по всему острову разыскивали.

– Ну, уж по всему.

– Взял бы и написал.

– Зачем? Думаешь, кому-то будет интересно?

– Смотря, как напишешь...

«ПЕРВАЯ КОННАЯ...»

20 ЛЕТ ПОД КОВРОМ

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Для скорейшего разгрома ненавистного врага я выделяю из личных своих сбережений 50 000 рублей для постройки танка.

Преданный Партии и Вам художник Александр Герасимов».

В годы войны такие пожертвования были всеобщим явлением: деньги в Фонд обороны вносили известные ученые, пи-

сатели, художники, деятели культуры. Особенно весомым был вклад сталинских лауреатов: а это и 100 тыс. рублей – Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Арам Хачатурян, и 50 тыс. – Александр Твардовский, тот же Александр Герасимов.

Сталин поблагодарил Герасимова, как обычно он это делал, через газету:

«Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Герасимов, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии.

И. СТАЛИН».

«Известия», 20 марта 1943 г.

К этому времени А.М. Герасимов был уже достаточно известным художником, создателем портретов видных деятелей революции, партии и государства и дважды – лауреатом Сталинской премии (за картины «Сталин и Ворошилов на прогулке в Кремле» и «Гимн Октябрю»).

А вот за самую сокровенную свою работу «Первая конная армия» Сталинскую премию не получил, хотя наверняка рассчитывал на таковую. Вообще, судьба этого полотна сложилась трагически, и тут художнику было не позавидовать.

«Первая конная...» Невольно представляется конница – в походе, атаке. Ничего подобного. На картине – конармейские начальники: командиры корпусов, дивизий, комиссары. Всего 46 персонажей. Отбор их был жестким. Сам Ворошилов (нарком обороны) контролировал список, согласовывал его со Сталиным. Кстати, на картине изображен и сам вождь, хотя кавалеристом он никогда не был, но, тем не менее, был почетным конармейцем.

Завершив эскизы, Герасимов стал размещать их на холсте. И тут началось: каждому из персонажей хотелось оказаться поближе к центру, где – Сталин. Художник, право же, оказался в затруднении. Тогда Ворошилов предложил каждому из них поставить крестик на том месте холста, где хотел бы себя видеть. Если место занято, ставь крестик дальше, выше.

Картина получила одобрение партийного руководства и вскоре (1937 г.) была выставлена на Всемирной художественной выставке в Париже. Там она произвела поистине фурор и была удостоена высшей награды: гран-при. Это ли не победа?!

Но радость Герасимова была недолгой. По возвращению в Москву он узнал, что центральная фигура на картине – дивизионный комиссар Константин Озолин (стоит у стола) расстрелян. И картина, мягко говоря, стал неapolиткорректной. Что было делать? Записать (замазать) фигуру, что некоторые и предлагали? Герасимов не стал портить полотно. Свернул его и, как сам потом говорил, убрал под ковер в своем особняке в поселке Сокол, что на севере Москвы. Тем более что ненужными персонажи становились один за другим: кроме Озолина еще 12 человек. Вот чем обернулись для них символические крестики!

Более 20 лет «Первая конная армия» обитала в подполье и повторно была выставлена художником (и то ненадолго) после развенчания культа личности Сталина и реабилитации невинно репрессированных.

Сегодня картину можно увидеть в Новой Третьяковке на Крымском валу.

ВЛАДИМИР ЧЕРТКОВ

В Москве в поселке Сокол (единственном в своем роде: памятник деревянного зодчества, самоуправляемая община) в доме № 18 по улице Левитана в 20-х -30-х годах подолгу проживал, устраниаясь от московской суеты, Владимир Григорьевич Чертков – друг, единомышленник и секретарь Льва Николаевича Толстого.

Сюда в гости к Черткову приезжали ученые, писатели, художники и, конечно же, родственники Льва Николаевича. Бывала в этом доме и внучка его Софья с мужем Сергеем Есениным. Наверняка говорили о великом Толстом, пили вино, Есенин читал стихи...

И можно предположить, что здесь, в этом доме, 5 февраля 1930 года В.Г. Чертков написал письмо Сталину, в котором

поведал ему о жутких условиях, в каких оказались в Соловецком лагере так называемые «толстовцы» – за пропаганду антимилитаризма. Термин-то какой!

Собственно, речь шла о тех же духоборах, с которыми еще царское правительство расправлялось: сжигало их поселения, переселяло на Кавказ, бросало в тюрьмы лишь только за то, что они по своим религиозным убеждениям отказывались брать в руки оружие, идти на войну.

И уже тогда (1896 г.) Чертков и ряд общественных деятелей России выступили против гонения на духоборов и даже опубликовали обращение к правительству. Подписал его и Толстой. Толстого не тронули, все-таки мировой авторитет, а других наказали. Черткова выслали за границу.

В 1908 году он вместе с семьей вернулся в Россию. И продолжил деятельность по защите духоборов, других религиозных общин. С Толстым он был до последних дней его.

В 1919 году советское правительство приняло решение об издании полного собрания сочинений Л.Н. Толстого (90 томов). Чертков возглавил эту работу. В 1928 году вышел первый том, а в 1958 году, уже после его смерти, последний, 90-й.

Что же касается письма Черткова в защиту «толстовцев», то Сталин никак на него не отреагировал. Наверняка решил: пусть перевоспитываются. А пять лет не так уж и много...



БЕЗБИЛЕТНЫЙ СТАНКЕВИЧ

Мало кому известный Сергей Станкевич от имени такого же мало кому известного Московского народного фронта проводил пресс-конференцию – 8 февраля 1989 года. Собралось человек 10-15. В основном это были зарубежные корреспонденты: Бил Келлер (США), Анна Сайлас (Финляндия) и ряд других.

Разговор шел прямо на улице, поскольку в здание Дворца пионеров, что на Ленинских горах, где и намечалось проведение означенного мероприятия, собравшихся не пустили. А вскоре подоспевшая милиция и вовсе попросила разойтись: мероприятие не санкционировано.

Очень расстроился тогда Станкевич: «Вот видите, какая у нас демократия!» – восклицал он.

Разъезжались кто куда, поодиночке, группами. И тут оказалось, что Станкевич (в автобус как раз вошли контролеры) без билета – засуетился, завертел головой. Кто-то из его окружения решительным движением закомпостировал еще один свой проездной талон и передал его Станкевичу и таким образом спас будущего народного депутата СССР от штрафа.

Потом Станкевич станет первым заместителем председателя Моссовета – профессора Г.Х. Попова. Потом попадет на коррупцию и сбежит в Польшу. Потом, когда шумиха стихнет, вернется в Россию...

НИКУДЫШНЫЙ ШТУРВАЛЬНЫЙ

Известно, М.С. Горбачев окончил юрфак МГУ, куда зачислен был без экзаменов. Сработала высокая государственная награда: орден Трудового Красного Знамени – за образцовую работу на колхозных полях.

Меня заинтересовало, были ли какие публикации о студенте Горбачеве в вузовской газете «Московский университет». Оказывается, были. Целых три. В первой («Будущие студенты» от 10 августа 1950 года) как раз сообщалось о зачислении его, помощника комбайнера или, иными словами, штурваль-

ного комбайна (сленг механизаторов) на юридический факультет.

Вторая заметка – «Комната № 321» (20 декабря 1952 г.). Речь о комнате, в которой проживали М. Горбачев и сотоварищи. Она считалась лучшей в общежитии на Стромынке: «Здесь чистота, порядок. Стены украшены картинами и портретами, кровати аккуратно заправлены, стол накрыт чистой скатертью. На этажерке в полном порядке расставлены книги...»

Право же, какая-то неживая комната. Еще и на кровати нельзя было не поваляться! Показуха!

Умиляет и резюме: «Отлично учатся и ведут большую общественную работу студенты тех комнат, где поддерживают образцовый порядок».

Раз за разом перечитывал я эту фразу и так и не мог уразуметь, в чем тут взаимосвязь. Чем чище скатерть, тем глубже знания?

К этому времени (1952 г.) Михаил Горбачев уже член комсомольского бюро факультета. Он настолько «заболеет» комсомолом, что и дальше, по окончании вуза пойдет по этой стезе. Потом – по партийной. В конце концов, окажется у штурвала страны. Но тут штурвальный из него получится никудышный.

И третья публикация (10 июня 1953 г.). Это приказ по МГУ о назначении студентам-отличникам именных стипендий – имени И.В. Сталина и М.И. Калинина. В списке калининских стипендиатов значился студент 3-го курса юридического факультета М. Горбачев. Что сказать? Молодец! Только зачем было пять лет протирать штаны на факультетской скамье, если, вернувшись в родные края, по специальности не работал. Хотя нет, работал. Десять дней. В краевой прокуратуре. И быстренько переметнулся в крайком комсомола. И – вверх по лестнице...

В СВЯТЫХ СЕНЯХ

Сентябрь 1991 года. Очередной съезд народных депутатов РСФСР (по аналогии со съездом народных депутатов СССР). Традиционно проходил он в Большом кремлевском дворце, и здесь

за каждой депутатской группой, фракцией были закреплены определенные апартаменты – для встреч, консультаций.

Читаю: «Демократическая Россия» – **Ленинская комната**, «Беспартийные депутаты» – **Георгиевский зал**, «Коммунисты России» – **Фойе дипломатическое**, «Аграрный союз» – **Святые сени...**

Фракции «Смена» так вообще досталась **Царская палата**.

И теперь представьте себе, разговариваю с председателем «Аграрного союза», и он этак небрежно: «Мы тут посоветовались в Святых сенях...»

Что же в таком случае говорить депутатам «Демократической России»? Мол, собрались в Ленинской комнате... Это они-то? Не приемлющие ни Ленина, ни его деяний. Хотя стоп! Наверняка последовал бы ответ: «Для нас как раз принципиально было формулировать свои идеи именно у ленинских стендов».

Кстати, никогда не думал, что в Большом кремлевском дворце есть Ленинская комната. Ильич, что ли облюбывал ее в свое время? Или она – дань советской идеологии, в соответствии с которой очаги ленинизма насаждались везде и всюду – от колхозной фермы до Кремля?

Вообще в Кремле было две ленкомнаты, вторая – гарнизонная.

А «Коммунистов России» – да, оттеснили в фойе, пусть и дипломатическое. Потом еще дальше оттеснят....

А вот беспартийным депутатам, пусть и было их совсем немного, достался один из лучших залов дворца – Георгиевский.

И о главном. Съезд Народных депутатов РСФСР определил новый экономический курс развития России: приватизация и либерализация цен.

До развала СССР оставалось три месяца.

ЛЕДЕРИН

В мае 1941 года в ленинградской типографии Госполитиздата приступили к печати первого тома 4-го издания (45 томов) сочинений В.И. Ленина. Для переплета использовали так называемый ледерин (от немецкого слова *Leder* – кожа), который производился на Шелковской фабрике технических тканей, что в

Московской области. И вот на фабрику пришла «грозная» бумага: на переплетах первых экземпляров, выставленных в витрине магазина на Невском проспекте, появились фиолетовые разводы. (Позже выяснится: от воздействия солнечных лучей). Но тогда чуть ли не весь коллектив фабрики был обвинен во вредительстве. Но началась война, и дело само собой прекратилось. А фабрику переориентировали на выпуск противоопритных накидок...

ГИМНАСТЕРКА – В СОБСТВЕННОСТЬ

Наткнулся в записной книжке: «Военное обмундирование, выданное лицам рядового и младшего начальствующего состава, призванным в Красную Армию и Военно-Морской флот по мобилизации и отбывшим на фронт, переходит в их собственность и по окончании войны сдаче не подлежит».

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1941 г.

И ни слова, ни полслова комментария. Лишь подчеркнута дата: 27 июня. (Пятый день войны).

Да и сейчас не нахожу слов. Что здесь, цинизм? Ведь фронтовикам, прошедшим дорогами войны, не раз и не два пришлось сменить и просоленную потом гимнастерку, и истасканную, прожженную у костра шинель, и протоптанные сапоги. Или – наивность, отсутствие чувства реальности и у интендантов, готовивших этот документ, и у самого руководства страны, искренне полагававших, что война будет недолгой?

СТАЛИНГРАД

Давно знал: есть в Париже станция метро «Stalingrad». С трудом разыщу ее. Так себе: низкие своды, куцые пластиковые лавочки, пепси-чипсы-автоматы, словом, обычная станция парижского метрополитена, к тому же – надземная. И спрашивал у выходящих из вагонов пассажиров, сначала у молодых:

– *Кес-кё* (Что такое?) Сталинград? – указывая на огромные черные буквы на кафельном своде.

– *Но!* – в ответ.

Затем у тех, кто постарше.

Снова «*Но!*»...

Затем – у кого придется. Одна пожилая мадам, несколько оторопев от моих чудовищных «*бонжур*», «*пардон*», воскликнула:

– *А ля гер! Наполеон!*» (*ля гер* – по-французски война.)

«Вот дура!» – мысленно чертыхаюсь и уже без всякой надежды делаю шаг навстречу белокурому мужчине, лет сорока, рюкзачок за спиной:

– Пардон, месье, – и жестом – на буквы на своде.

Он легко, запросто:

– *Гитлер капут!* – и понимающе улыбнулся.

Я схватил его руку и крепко-крепко пожал ее:

– *Мерси!*

А поезда все прибывали и прибывали, тихо бесшумно...

СВОЛОЧЬ!

Рассказ военного художника Павла Кирпичёва

Зимой 1942 года я в составе группы художников-грековцев был командирован в Сталинград для зарисовки отличившихся в боях красноармейцев и заодно – поверженной немецкой техники. В пойме реки Мечетка, что неподалеку от Тракторного завода, заприметил я подбитый и наполовину занесенный снегом немецкий танк и решил зарисовать его. В штабе дали «добро», но предупредили: пальба с той стороны может начаться в любую минуту, да и снайперы не дремлют.

Облачили меня в маскхалат, и пополз я к танку. Подобрался как можно ближе, выбрал место побезопаснее, как и учили, за небольшим выступом, и стал быстро рисовать. А мороз был под тридцать. Глядь, рядом наш автоматчик. «В чем дело?» – спрашиваю его. «Комбат приказал прикрыть вас».

Ладно, прикрыть, так прикрыть. И тут видим, из башни танка, озираясь по сторонам, выбирается немец. Но почему в шинели? Не танкист, значит. Пехотинец. Спрятался в подбитом танке и теперь решил пробраться к своим? Вылез (автомат наперевес), спрыгнул на снег и, продолжая вертеть головой, двинулся прямо на нас. Автоматчик дал очередь. Я оторопел: «Зачем?» «Он же с оружием», – ответил автоматчик. – И еще неизвестно, кто первым выстрелил бы. Война есть война...»

С полночи я не мог уснуть. «Зачем автоматчик убил того немца? Ведь он не видел нас, шел наобум. Можно было в плен взять...»

Утром решил сходить на то место. Один, без прикрытия и никому не докладывая. Подошел к окоченевшему трупу, вытащил из нагрудного кармана содержимое: солдатская книжка, фотографии. Вот он, тот немец, в кругу семьи: мать, отец (отец в кителе), брат, сестра. Вот он с девушкой. Невеста, наверное – белолицая, белокурая. Снова он: улыбающийся, а на заднем плане... виселица. Бездыханные, полураздетые тела.

«Сволочь!» – я швырнул фотографии на снег и заспешил в расположение части. – Правильно, значит, поступил наш автоматчик...»

ЗВАНИЕ ПРИСВОИЛА... ТЕЛЕГРАФИСТКА

На войне при всей ее трагичности случались и комичные ситуации, а то и вовсе курьезные. Одна из таковых – присвоение полковнику звания генерал-лейтенант, то есть, минуя промежуточное – генерал-майор.

Речь о полковнике В.А. Мишулине. К новому званию представлял его генерал-лейтенант А.И. Еременко, командующий Западным фронтом: «Прошу присвоить командиру 57-й танковой дивизии В.А. Мишулину звание генерала. Генерал-лейтенант Еременко». Телеграфистка (запутавшись в званиях) опустила первое слово «генерал» и не там, где надо, поставила точку, и в Ставку Верховного главнокомандования ушло: «*Прошу присво-*

ить командиру 57-й танковой дивизии В.А. Мишулину звание генерал-лейтенант. Еременко».

Сталину потом доложили о допущенной ошибке. Он лишь усмехнулся: «Пусть будет генерал-лейтенант».

Доверили В.А. Мишулину командование бронетанковым корпусом. Однако через год (в октябре 42-го) он будет снят с должности («за ослабление руководства войсками») и направлен с понижением по службе в менее крупное войсковое соединение. Неспроста, знать, Сталин усмехался.

ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА С КРЕСТИКОМ НА ГРУДИ!

Фронтовики рассказывали, что – да, поднимались в атаку со словами «За Родину, за Сталина!»

И еще говорили, что у многих солдат под гимнастеркой был нателный крестик или покоилась в нагрудном кармане иконка, которую, провожая на войну, вручила им мать, жена. И тайком молились перед боем, наскоро перекрестившись.

Это факт: в годы войны люди потянулись к вере. Да и руководство страны резко изменило свою политику по отношению к Церкви – от закрытия и уничтожения храмов и преследования священников к союзу и примирению.

В стране началось стихийное возрождение религиозных традиций. Учреждались приходы, открывались храмы, монастыри, восстанавливались права священнослужителей.

Сказалась и патриотическая позиция Церкви. Уже 22 июня 1941 года Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергей (Патриарха тогда не было) обратился к верующим с призывом встать на защиту Родину.

Церковь вносила денежные средства в Фонд обороны, в Фонд помощи раненым, в Фонд помощи детям и семьям погибших бойцов Красной Армии. Так, в телеграмме уже упомянутому митрополиту Сергию от 25 февраля 1943 года Сталин писал: *«Прошу передать православному духовенству и верующим, собравшим 6 миллионов рублей, золотые и серебряные вещи на*

строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского, мой искренний привет и благодарность Красной Армии».

Общая сумма добровольных взносов верующих к концу войны составила 300 миллионов рублей.

Христианство всегда несло заряд огромной нравственной силы, что особенно важно было в годы войны. И Сталин понимал это.

И такой важный шаг навстречу Церкви: в сентябре 1943 года Сталин разрешил проведение Поместного собора и избрание Патриарха Московского и всея Руси. Им стал тот же митрополит Сергей. Но неожиданно скончался (в мае 1944 года). Новым патриархом был избран митрополит Алексей.

И последний штрих: присутствие патриарха Алексия на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во время Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Это ли не признание государством огромного вклада Церкви в освобождение страны от фашистских захватчиков, ее роли в укреплении духа народа?

ДВА-ТРИ ДЛИННЫХ ГУДКА...

Как же грустно набирать номер, осознавая, что он теперь – чужой и что его просто надо забыть: 52-64-44.

Цифры эти за многие годы стали для меня своего рода родительским знаком, паролем: два-три длинных гудка и – мамин голос, как всегда, звонкий, счастливый:

– Сыночек, здравствуй! Как хорошо, что ты позвонил!

Пахнущая медом и вареньем кухонька, длинный коридор с часами кукушкой, слева по ходу – зал с большим гостевым столом (он же – мамин швейный станок), чуть дальше – крохотная, бывшая дедова комната, справа – спальня родителей: две, стоящие бок о бок кровати, платяной шкаф. А на стене в широких деревянных рамках фотографии маминих сестер: Нины и Кати. Они моложе мамы и умерли очень рано. Мне даже казалось, что мама порой укоряла себя в том, что не смогла сбереечь их. Но я-то знаю, как много сделала она для них в голодное и военное время.

Просторная лоджия, увитая виноградником. Широкая массивная скамья, коробки, банки, склянки. В углу шкаф с инструментами – слесарными, столярными: отцовская вотчина...

Теперь хозяева в доме другие. Завезли мебель и прочее, прочее. Все теперь здесь другое. Только вот номер телефона прежний: 52-64-44.

Как же грустно набирать его! Но позвонить надо. Чтобы узнать, как прошел отъезд родителей. А дорога им предстояла долгая, в другой город – переезд.

К телефону подошла женщина и сухо, с оттенком раздражения в голосе сообщила, что машина пришла вовремя, все погрузили и уехали.

– В котором часу?

– Я не помню...

А зачем ей помнить? Зачем ей вообще что-либо знать, помнить о прежних жильцах. Главное, что съехали, и все дела.

52-64-44.

«Сыночек, здравствуй! Как хорошо, что ты позвонил!..»

Октябрь 2003 г.

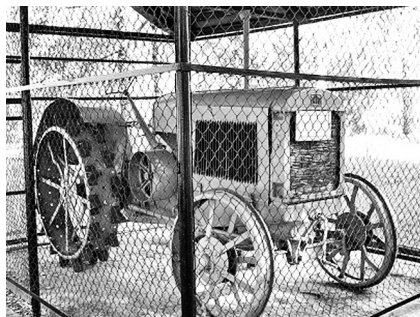
УГЛИЧ

Кто бы знал об этом волжском городишке, не случись в нем более четырехсот лет тому назад беда: убиение цесаревича Дмитрия, последнего из престолонаследных Рюриковичей. Вот и потянулся сюда люд: паломники, скитальцы, просто любопытствующие. Последних и сегодня дополна. В особенности иностранцев: немцы, финны, французы, голландцы... Поляков как-то не видно. Оно и понятно. Это их беснующиеся предки смерть цесаревича Дмитрия обернули воцарением на Руси Лжедмитриев, одного, другого...

А вот и церковь в честь убиенного царевича. А рядом, на забетонированной площадке... Нелепее не придумать: трактор. Как? Зачем он здесь?

Оказывается, в советские времена на территории Угличского кремля располагался музей древности: предметы быта, иконо-

писи, живописи... Экспонатов, явно, не доставало, вот и присовокупили к ним колесный трактор Харьковского завода (ХТЗ) 1936 года выпуска. Дескать, тоже древность. Так и стоит он здесь, обнесенный (зачем-то) со всех сторон металлической сеткой...



А ПИВО И БЕЗ ТОГО ЛЮБИМ...

В России в конце 90-х годов на волне демократии заявили о себе более двухсот политических партий и объединений. Только женских организаций было несколько: «Женщины России», «Партия защиты женщин», «Женский объединенный союз», «За женщин России!». Что расценивалось как знак того, что женщины активно поднялись на защиту своих прав и свобод. Ни одна из этих организаций на сегодня не сохранилась. То ли женщины успокоились, добившись нужных им прав и свобод, то ли просто остыли к политике.

Кануло в Лету и множество других карликовых партий и объединений: «Союз работников ЖКХ», «Автомобилисты России», «Партия любителей пива» (не прошла перерегистрацию).

Теперь партий в России в пять раз меньше: около сорока. И только шесть из них – парламентские, т.е. заполучили места в Государственной Думе.

А пиво и без того любим.

ДОВОЛЬНО ОДНОГО КОТОВСКА

В СССР было три города, носящих имя легендарного Котовского: в Молдавии, где он родился, на Тамбовщине, где участво-

вал в подавлении крестьянского восстания (1921 г.), и в Одесской области, где настигла его смерть.

Теперь один такой город: на Тамбовщине. Два других – в Молдавии и Украине – новые власти быстренько, словно опасаясь гнева грозного комбрига, переименовали соответственно в Ганчешты (вернули поселению прежнее его название) и Подольск (очень оригинально!).

Хотя в принципе довольно одного Котовска. И лучше бы это был молдавский, где родился Григорий Иванович. Все-таки на Тамбовщине о нем недобрая слава...

СЕРЕЖКИ

В то лето Оксана, совсем еще девчушка, отдыхала с мамой в Дербенте. Хозяева, у которых они остановились – дагестанцы, приняли их тепло, радушно. И очень нахваливали Оксану, русскую девочку: карие глаза, тугая коса – красавица. Вот еще бы сережки. Как бы украсили ее! Как украшают они кавказских девочек...

Прокололи Оксане ушки (совсем не больно оказалось), в проколы вставили ниточки, чтобы те не заросли. Так, с колечками из ниток, несколько дней и ходила. С ними и в море купалась.

А потом пошли они с мамой в ювелирный магазин, что на главной улице – покупать сережки. И как же расстроились, увидев... пустой прилавок.

– Товара нет еще, не привезли, – сказал усатый мужчина-продавец.

– Не привезли? – растеряно протянула мама Оксаны. – А не подскажите?.. Сережки для девочки.

– Для девочки? – уточнил он. – Первые? – и, видя ее замешательство, уточнил: Сережки первые?

– Да, первые.

Хитро улыбнулся и, покопавшись под прилавком, протянул коробочку:

– Вот. Как раз для девочки. Золотые...

Мама осторожно продела в ушки Оксаны одну, другую сережку. Продавец подал зеркало и, артистично вскинув глаза, воскликнул:

– Ай, красиво!

«Ай, красиво!», – говорили хозяева-дагестанцы.

«Ай, красиво!» – вторили им соседи...

Прошла еще неделя, и мама с Оксаной вернулись в Москву: Оксану надо было собирать в школу – в первый класс. Вот и долгожданный день. Цветы, поздравления. Вот и первый урок. И тут случилось...

– Сережки? – подошла к Оксане учительница. – Как не стыдно! Ты же девочка. Ты что не знаешь, что это украшение для взрослых девушек.

– Мама подарила, – только и сказала Оксана, чувствуя, как щеки ее зарделись и на глаза набежали слезы; инстинктивно она прикрыла сережки руками.

– И скажи маме, – продолжили учительница, – что я жду ее завтра после уроков.

Каким был тот разговор – мамы и учительницы, Оксана, конечно, не могла знать, знала только, что мама еще и к директору ходила. В общем, оставили ее в покое.

Может, потому еще, что в параллельном классе тоже была девочка с сережками – таджичка...

КОКТЕБЕЛЬ

Жара. Набережная. Под большим пляжным зонтом – мороженица. Раз за разом вырывает она из книги, лежащей рядом, страничку, сворачивает ее в кулек, кладет в него горсть сухого льда и сверху – стаканчик мороженого, поясняя:

– Шоб не тэкло и шоб руки вытирать.

В очередь пристраивается группа школьников с учительницей. Мороженица все так же ловко сворачивает, накладывает, кладет:

– Шоб не тэкло...

Глаза учительницы округлились:

– Да как вы смеете? Пушкин – гений, поэт! А вы мороженое – в Пушкина, – губы ее дрожали от возмущения.

– Та не переживайте вы так, – мороженица всматривается в портрет на кульке и уже заговорщически: – Вы за Пушкина скандалите, а там, где пиво, селедку заворачивают в Ленина...

2005 г.

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ!

Я и сам был пионером. И сживал у пионерского костра, и вдохновенно пел с такими же, как сам, красногалстучными *«Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры – дети рабочих...»* И невольно задумывался: почему дети рабочих? Мама моя, например, была сельской учительницей, а отец – экономистом в МТС (машинно-тракторная станция). И друг мой Вовка был пионером – отец его работал колхозным бригадиром. И черноглазая Лариска (первая моя любовь) – папа ее «крутил» кино в клубе...

Потому дети рабочих – наверно, сказал бы я тогда, – что рабочих было больше, чем колхозников, врачей, учителей и, значит, детей их тоже было больше.

А учительница по литературе Галина Федоровна, улыбнувшись, поправила бы меня: «Автор слов песни Александр Жаров имел в виду не просто рабочих, а всех работающих, кто бы где ни трудился. То есть не буржуев, живущих за счет других. В поэзии такие обобщения допустимы».

С Днем рождения, пионерия!

19 мая 2008 г.

ЖЕНЩИНА В ШЛЯПКЕ

На скамейке у памятника Пушкину в Феодосии обратил внимание на женщину в белой шляпке и южном воздушном платье. Закинув ногу на ногу, она что-то записывала в тетрадку.

«Местная поэтесса, – мелькнула мысль. – Пришла за вдохновением».

Делаю вид, что рассматриваю памятник, и как бы невзначай приближаюсь к ней:

– У Пушкина хорошо пишется?

Вскинула на меня никакие глаза:

– Мужчина, не мешайте мне!

Понял. Удаляюсь. Снова прохаживаюсь вдоль памятника, по большей части для того, чтобы потянуть время (прости, Александр Сергеевич!) и мельком поглядывая на ту, что с тетрадкой. Ладно, подойду еще раз:

– Ну и что у вас получилось? Можете прочесть?

– Мужчина, я же сказала вам, не мешайте, – парировала она, не глядя на меня.

– А я вам свое почитаю, – вырывалось у меня.

– Пошли вы с вашим Пушкиным и стихами! – взорвалась она и резко всем своим тугим телом отвернулась.

И только тут я заметил, что тетрадка ее испещрена цифрами, столбцами цифр. Бухгалтер, что ли? Или торгашка, подсчитывающая барыши?..

АНЖЕЛА

«Сияющие глаза, веселые ямочки на щеках... Хороша! – констатировала про себя Вера Васильевна. – Главное, чтобы Косте нравилась... Анжела... Редкое имя...»

Задержала взгляд на серо-белом крестике Анжелы:

– Вы крещенная? Простите...

– Да, – улыбнулась Анжела. – Еще в грудном возрасте. И, конечно же, ничего не помню.

Вера Васильевна понимающе кивнула:

– Костю тоже крестили в младенчестве, и он тоже ничего не помнит.

Костя лишь развел руками.

– А меня крестили, – продолжила Вера Васильевна, – когда было мне уже далеко за тридцать. Тридцать пять, наверное. Я сде-

лала все, как мне сказали. Подобрала в церковной лавке крестик, простенький, серебряный, такой же, как у вас, Анжела. Поговорила с бабушкой. Дважды поговорила... В общем, в тот день... Костя, ты тоже послушай. Никогда об этом не рассказывала. В тот день крестили двух младенцев – девочку и мальчика – и меня, как понимаете. При этом крестики заранее были выложены на полотенце, мой был крайний слева. И случилась ошибка. Крестный отец девочки, а крестили ее первой, подал бабушке именно этот крестик.

– То есть твой? – вырвалось у Кости.

– Ну да. Бабушка и надел его на девочку. Потом крестили меня. Крестной матери или крестного отца у меня не было, и бабушка сам взял для меня следующий крестик.

– Который предназначался для той девочки.

– Совершенно верно. Кстати, золотой крестик. Но тоже простенький. И я, и мама той девочки заметили подмену, но лишь недоуменно переглянулись. А что было делать? Просить бабушку поменять крестики? Но это, видимо, было уже невозможно – обряд крещения свершился. Я только спросила у женщины: «А девочку как зовут?» «Анжела», – сказала она. «Я запомню», – сказала я.

Анжела не сводила с Веры Васильевны изумленных глаз:

– Так это вы? Мама говорила мне, что крестили меня вместе с какой-то женщиной.

– Получается, что я.

– А та девочка Анжела – я?

– А та девочка – ты. Извини, буду на ты.

– Конечно, конечно. И на мне – ваш крестик?

– Нет, крестик этот твой, он по крещению твой. А тот, другой крестик... Я его просто храню...

– Мистика какая-то! – воскликнул Костя, наполняя бокалы.

– Никакая не мистика, – улыбнулась Вера Васильевна. – Просто боженьке так угодно было, чтобы вы встретились...

СВОБОДЕН, БЛИН!

Всегда поражала причудливость названий улиц провинциальных городов, поселков. Вот Конакаво (городок в Тверской обла-

сти): улица Парижской коммуны. (Где Конаково и где Париж?), улица Правды, улица Свободы. Что здесь? Дань революционному романтизму?

Все же спросил у случайного прохожего, почему улица – Правды? Он ехидно покосился на меня:

– Наверно, потому, что говорят там только правду, – и расхохотался.

Я вспомнил, что и в Москве есть улица Правды. В районе Белорусского вокзала. В смысле улица газеты «Правда». Но этого «в смысле» (ссылки на газету) на указателях-то нет. Стало быть, слово «Правда» по нормам русского языка должно быть взято в кавычки. Спецы-топонимисты, конечно же, понимали это. Но понимали и то, что заключать слово Правда в кавычки было бы сверх неосмотрительно: за такое (на дворе стояли сталинские времена) точно – в заключение.

– А улица Свободы, – снова обращаюсь к прохожему, – почему?

– Так я живу там. Свободен, блин!..

ДОРОЖНОЕ

Возвращались с приятелем на электричке из загорода и решили не ехать до конечной станции – Белорусский вокзал, а выйти раньше, в Одинцово, и уже оттуда добираться до Переделкино. И – повезло: автобус! Буквально влетели в него. Удобно уселись. Но водитель почему-то не спешил с отправлением.

– Коммерческий, – подсказали пассажиры. – Ждет заполнения.

– Коммерческий! – выкрикнул мой приятель и рванул к двери.

– Да ладно тебе, – пытаюсь задержать его.

– Нет, не поеду. У меня бесплатный проезд. Дождемся рейсового.

– У меня тоже бесплатный. Ну и что? Заплатим. Беда какая!

– Нет, я не поеду.

И ждали рейсового автобуса минут сорок...

ЛЬВОВ

Тепло, солнечно. Народу на площади – как на гуляние. Тут же стайка школьниц – белые блузки, синие юбочки.

– Дивчата, одну хвылынку, – обращаюсь к ним на украинском. – Кто такой Лэнин?

– Нэ знаемо, – хихикнули они.

– А хто такой Бандэра?

– О-о-о! – воскликнули они, поднимая большой пальчик.

Июнь 2010 г.

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ПАДЛЫ!..»

Легковушки одна за другой, едва поравнявшись с автобусом, уносились вперед, поблескивая в утренних лучах лакированными боками. А то и мелькнет георгиевская ленточка – знак недавнего празднования Дня Победы. Вот еще один джип, черный, тяжелый; за рулем (успеваю разглядеть) крупный мужчина с бородкой. А на заднем затемненном стекле – белыми крупными буквами, как разрыв фугаса: «Не забывайте, падлы, Сталинград!»

Ничего себе! И кому адресованы эти слова? Всякого рода фальсификаторам, коим поперек горла сам факт главенства СССР в разгроме фашистской Германии? А таких и здесь и за «бугром» немало. Туристам-иностранцам, большинство из которых также считает, что войну выиграла американцы с англичанами? Просто – гламурным мальчикам и девочкам и прочим недорослям?..

А джип уже свернул с МКАД, и только его и видели. Нет, все-таки видели. В Белоруссии. И можно представить, какими взглядами провожали его белорусские ветераны, седые, согбенные, почти вросшие в землю, в землю, в которую проклятая война уложила здесь каждого четвертого.

Потом джип видели на дорогах Польши, Венгрии, Чехии и, само собой, Германии. Уж где, где, а здесь хорошо знают, что такое Сталинград. Для германцев он, что осиновый крест...

Вот джип уже в Бельгии, в Брюсселе. Немного покружил по улицам и замер у здания штаб-квартиры НАТО, развернувшись к нему задом. Все, кто находился там, генералы, министры и еже с ними, буквально застыли у окон: «Сталинград – понятно. Но что такое «падлы»?»

Говорят, заседание натовского совета в тот день было сорвано...

ЧЕЛОВЕК В ПИДЖАКЕ

Сколько помню его, он всегда был в наглухо застегнутом пиджаке. Даже во время застолья не позволял себе расстегнуть хотя бы одну пуговицу. Или расслабить галстук. Что это было? Признаком замкнутости? Но особой скрытности за ним не наблюдалась: любил стихи, дружеское застолье, женился – развелся, жил бобылем...

Сказать, что такая задрапированность его от армии, где, как известно, расстегнутый китель – факт грубейшего нарушения формы одежды и чуть ли не признак неуважения к самой армии, тоже не скажешь. Служил-то он простым солдатом. Какой уж там китель?

Кто-то предположил, что эта его глухая пиджачность от педантизма. Да, он любил, чтобы все у него было в полном порядке: в работе (все пунктам), в деньгах (просчитывал все до копейки и никогда не одалживал), во взаимоотношениях с друзьями (пунктуальность, обязательность).

Человек в пиджаке – так мы его называли.

ЕЩЕ РАЗ О КИНО

Церквей нынче больше, чем кинотеатров.

А как же ленинское *«Из всех искусств для нас важнейшим является кино»*? Цитата эта еще долго красовалась на фасаде кинотеатра «Россия» (слева от знаменитого «kozyрька»), что на Пушкинской площади – традиционной площадке Московского

международного кинофестиваля. Не исключено, что на цитату эту обращали внимание иностранных участников и гостей фестиваля (актеров, режиссеров, сценаристов), дескать, какой прогрессивный был наш Ленин: заботился о развитии отечественного кинематографа.

При этом, конечно же, не раскрывали истинный смысл ленинской фразы о кино: как о самом массовом и доступном (в полу-грамотной России) средстве коммунистического воспитания масс.

Цитату все же убрали – в конце девяностых. Во-первых, примелькалась, во-вторых, кино действительно никакое ни важнейшее из всех искусств и никогда таковым не было. (Мало ли что там Ленин наговорил.) И, в-третьих, в обществе давно уже властвовало телевидение, и напирал вовсю Интернет. То и другое точно не искусство.

В Москве на все Солнцево и Ново-Переделкино один кинотеатр (на сто семьдесят тысяч жителей!). А храмов уже пять. Один вообще рядом с кинотеатром поставили. Какая духовность какую пересилит? Но какая нынешнее кино духовность? Ящик Пандоры, как кто-то очень точно заметил...

«ПРОЕХАЛ, ПАРЯ!»

- Мам, он такой хороший – умный, воспитанный.
- Воспитанный? Как-то не заметила.
- Ну что ты, мам? Ты просто не знаешь его.
- Я одно знаю: воспитанный молодой человек, придя в дом своей, как он полагает, девушки, не станет рассказывать в присутствии ее матери непристойный анекдот про тещу. Что за грязные намеки?
- Да никакие ни намеки, мам. Просто шутка. Анекдот же. Да нет, он хороший. И вообще, родился и вырос он, как сам рассказывал, в Воспитательном поезде.
- Ну и что? Как ты сказала? В воспитательном поезде? – мать рассмеялась. – Есть такой поезд в Москве?
- Да, есть. В Китай-городе.

Мать продолжала хохотать:

- Не улица, не переулок, а – проезд.
- Проезд.
- Проездом, значит, мимо.
- Мам, ты о чем?
- О том, дочь... Проехал паря.

ПОЭЗИИ СТО ПЕРВАЯ ВЕРСТА

В селе Ильино Боровского района Калужской области на доме, где с 1948 по 1958 год проживал поэт В. Ф. Боков, установлена мемориальная доска.

– Инициаторами выступили сами жители, – говорит глава сельской администрации Н. К. Голенков. – Старожилы помнят Бокова, рассказывают о нем, поют его песни...

Определили Виктора Бокова с семьей – жена Евгения Фролова, дочь Татьяна – в село Ильино сразу после его «сибирского сидения» на, как тогда говорили, 101-й километр. Крохотная комнатка в колхозном медпункте: самодельный стол, печь, два окошка с видом на речку Истерма, высокое крыльцо. Его, сидящего на крыльце с листками в руках, и запомнили жители: чудак какой-то, что-то пишет. Оказалось, стихи.

– Мы называли его дядей Витей, – рассказывает бывшая работница колхоза, пенсионерка Нина Степановна Сорочина. – Бывало, соберет детвору и говорит: «Каждому сейчас напишу стихотворение. Скажите только имя...»

– Он вообще любил детвору, – продолжает сельский ветеран Анатолий Михайлович Михалев, – зимой прокладывал нам лыжню, – лыжи у него были сибирские, трехполосные, – летом учил рыбалке. А как-то в село прибыл моряк Виктор Жуткин. Для нас он был как праздник: бескозырка, ленты с якорями. Потом узнали, что именно Жуткин послужил прообразом боковского героя стихотворения и песни «На побывку едет молодой моряк».

Кстати, в бывшем боковском доме Жуткины и живут, родственники того самого моряка.

– Да, такое совпадение, – говорит Надежда Константиновна Жуткина. – Конечно же, приятно, что в доме, в котором мы сейчас обитаем, творил поэт. Есть у нас и книжка Бокова. А дом все тот же, пристройку вот приделали...

И еще запомнился сельчанам Боков с рюкзаком за спиной (со стихами, как понимали), рано поутру торопящийся на станцию Ворсино – за семь верст, однако. В Москву...

А в 1958 году вышла первая книжка Виктора Федоровича Бокова «Яр-Хмель». Есть там такие строчки: «Поэзии сто первая верста, кто может запретить тебя, скажи мне?» В самом деле – никто!

«Ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок...», – пело все село.

Октябрь 2012 г.

БОЛЬ

– Как определить, что человек любит стихи? – спросила меня давняя моя знакомая и продолжила. – Понятно, если человек цитирует любимых поэтов, умеет слушать стихи, сам пишет стихи. Но это если знаешь этого человека, общаешься с ним. А если совсем незнакомый? Впервые видишь его. Как тогда?

– По глазам, – отшутился я. – Горят, сияют.

– Горят, сияют... – усмехнулась она. – Знаешь, я как-то ехала в автобусе – маршрут дальний, загородный – и тут замечаю, одна женщина поглядывает на меня. Знакомая? Да нет вроде. Общались где-то? Тоже не припомню. Ну и не стала особенно заморачиваться, погрузившись в свои мысли. Вскоре место рядом со мной освободилось, и та женщина, я разглядела ее – средних лет, с короткой рыжей стрижкой – подошла ко мне и, извинившись, спросила, не буду ли я возражать... «Пожалуйста, пожалуйста!» Уселась, положила сумочку на колени. Потом наклонилась ко мне и тихо спросила: «Можно я вам стихи почитаю?»

– Вот оно! – расхохотался я. – От таких обычно шарахаются. И ты согласилась?

– Представь себе – да. Что-то подсказывало мне, что я должна была это сделать.

– И как стихи?

– Не совсем совершенные. Просто грустные. Про стылую осень, уходящие годы – даже какие-то надрывные. Я, естественно, спросила, давно ли она пишет стихи. «Нет, – сказала она. – Недавно. После смерти мужа». И тоже спросила меня, пишу ли я стихи. «Нет, не пишу, – ответила я. – Но стихи, поэзию люблю». «Я это почувствовала», – сказала она. «Как?» – удивилась я. «По лицу по вашему». «И какое же у меня лицо», – спросила я. Она секунду помедлила: «Измученное, страдальческое». Меня аж передернуло от таких ее слов.

– Дуреха она, твоя незнакомка! – вырвалась у меня.

– Да нет, не дуреха. Ведь наверняка нисколько не сомневалась, подсаживаясь ко мне, что я пойму и ее и ее стихи. Я, конечно, сказала ей, что тоже потеряла мужа. Два года назад. «О, горе, горе!», – вздохнула она и, не спеша, направилась к выходу. Вот такая автобусная история, – улыбнулась, словно желая избавиться от давившего ее груза. – Так какое у меня лицо?

– Как всегда, молодое и красивое! – выпалил я.

– Ну ты льстец!

– Какой уж есть...

В самом деле, не мог же я сказать ей, что все мы, по сути, двуединые. С друзьями, коллегами мы – одни: оптимистичные и удачливые, так сказать, держим марку, а, оказавшись наедине с самими собой или в окружении незнакомых нам людей (что одно и то же) – другие. Истинные! И если уж душа болит, то и на лице боль. Просто со стороны мы себя не видим.

А стихи, да, чаще всего приходят в горькую минуту...

В САНАТОРИИ

Поехал я в санаторий. Замечу: по социальной путевке. Проживание бесплатное, кормежка бесплатная, процедуры (даже бассейн) бесплатные, культурная программа.

Стол, понятно, диетический – ни перца, ни соуса.

За столом (тут уже в прямом смысле этого слова), большом, круглом, накрытом белой скатертью – нас шестеро.

Пообедали, блаженно откинулись на спинки стульев.
– А зубочистку можно? – обратился я к официантке.
– Зубочисток нет, – ответила она, продолжая толкать тележку.
– Ему еще и зубочистку! – чуть ли не с возмущением воскликнула соседка слева, худощавая, со сморщенным лицом.
И все вместе посмотрели на меня, как на врага.
Понял: зубочистки им вообще ни чему...

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

«Так, – замедлил шаги, – мне на Неглинку. Это направо... Как же быстро набежали сумерки! Что поделать? Осень. День короткий... Потом – налево? Вниз?»
– Извините, – обратился к проходившей мимо девушке, – что-то запутался. Неглинная – ниже?
Отвела с лица бело-голубую маску:
– Да, чуть ниже.
– А это Кузнецкий мост?
– А это Кузнецкий мост, – улыбнулась. – А все Кузнецкий мост, и вечные французы...
Я с удивлением покосился на нее.
– Грибоедов, – добавила она.
– Ну да, – протянул я. – У Грибоедова что ни фраза, то афоризм. А вы студентка филфака?
– Нет, просто хорошо в школе училась...

СОВСЕМ ПО-БОКОВСКИ!

Давно это было. Сидим с Виктором Федоровичем Боковым, поэтом, в его домике в Переделкине. Я, естественно, как дела, самочувствие? Ухмыляется: *«Привязан к осторожности, к отсутствию друзей...»* И наверняка продолжил бы, как это всегда делал, завершая набежавший экспромт, но лишь горестно покосился на горку таблеток (А куда деваться?) на столе.

Не продолжил, не завершил.

И теперь гадаю: а как бы это могло быть? И что-то под-сказывало мне, что вполне шутливо – любил неожиданные повороты. Ну например: «...С утра сырки творожные. И никаких грудей!» Вообще, в тему: острое ему категорически возбранялось. А мог бы и схулиганить, ведь *друзей* рифмуется с *грудей*. И тогда бы было: «...С утра сырки творожные. И никаких грудей».

Совсем по-боковски!

ЧЕРЕШНЯ

Звонок приятеля:

– Хочешь новость? Украинские депутаты предложили переименовать популярную на Украине черешню «Валерий Чкалов».

– Есть такая черешня?

– Да, есть. Крупная, сочная... Мелитопольская.

– И как, в честь кого переименовать?

– Пока не знаю, – он почему-то хихикнул.

– Что смешного?

– Так первое апреля. Взгляни на календарь.

– Фу, черт!

– А знаешь, – продолжил он, – о черешне «Валерий Чкалов» я узнал раньше, чем о самом летчике Валерии Чкалове. Помню, приходила мама с рынка с небольшим пакетиком и говорила: «Это лучшая в мире черешня: «Валерий Чкалов». Почему черешня «Валерий Чкалов», я тогда не допытывался. Скорей бы полакомиться! И уже потом узнал, что был такой летчик Валерий Чкалов. Отважный летчик. Вот мелитопольские селекционеры и назвали новый сорт черешни, в 70-х годах, его именем: смелой оказалась та ягода, не боится ни вьюг, морозов.

– Хорошая история. Вот и расскажи ее украинским депутатам. А то, чего недоброго, возьмут и переименуют знаменитую черешню уж неизвестно в честь кого...

– И подавятся косточкой...

Октябрь 2019 г.

НА КОНЮШНЕ

Парнишка из соседнего подъезда (помню его еще школьником, ныне он – студент) рассказал мне, как он и его девушка ходили на конюшню. Так и сказал: «на конюшню» – как это закрепилось в микрорайоне, на окраине которого и появилась много лет тому назад эта самая конюшня. К лошадям потом прибавились овцы, козы, кролики, гуси...

Кто был держателем сего хозяйства, честно, не знаю. Наверное, кто-то из подмосковных фермеров. А так посудить, дохода ведь никакого. (Много ли наберешь на катании детей на лошадях?) Значит, был спонсор, благодетель.

А детям – в радость! Малышню приводят сюда родители, а которые постарше – сами приходят. На конюшню!

– Так вот, – продолжил парнишка, – посмотрели мы лошадей – высокие, стройные, – подали им сена, потом перешли к кроликам. Эти вообще – попрошайки. Хорошо, морковку с собой захватили. Потом направились к загону овец, устроенному прямо на снегу. Овцы показались нам какими-то неопрятными, со свалывшейся шерстью.

– Обросли за зиму, – согласился я.

– Ну да. И тут видим, рядом с одной из овечек появилось, ну как сказать... нечто совсем крохотное, мокрое. Красный нос, красные веки. Ягненок! Она тут же стала облизывать его. Но он-то – на снегу, подстилка совсем жиденькая. Да и мороз на улице. Я бросился искать кого-то из работников, прежде всего – хозяина. Появились две девушки. «Хозяина нет», – сказали они. «А вы кто?», – спросил я. «Мы – волонтеры». «Скорее несите одеяло, полотенце, что-нибудь». А сам уже перемахнул через изгородь. Девушки принесли кусок какой-то ткани. Я завернул в нее новорожденного и понес в тепло, к лошадям. Там уложил его на сено, укутал. Следом, издавая тревожные звуки, подошла мама-овечка...

– А ты молодец, – похвалил я парня, – не растерялся. Знаешь, сравнение, наверное, очень сильное, но в свое время Максим Горький, писатель, знаешь такого...

– Да, знаю.

– Он, тогда еще совсем юный, Алексей Пешков, принял роды у женщины-крестьянки. Прямо у дороги.

– Ну да?

– Время было голодное, народ с Поволжья, центральной России массового двинулся на юг в поисках работы, пропитания. В одной из таких колонн шел и он, Алексей Пешков. И была в той колонне беременная женщина. Шла она тяжело, все более и более отставая. И когда в очередной раз он оглянулся, на дороге ее уже не было. Лишь слышался крик в стороне. Он бросился на крик. И увидел ту женщину. Она рожала. И он принял роды. А пуповину, поскольку ножа под руками не оказалось, перекусил зубами.

– Класс! – воскликнул парень – и ребенок тот выжил?

– Да, конечно. И ребенок и роженица. Об этом Горький потом расскажет в одном из своих рассказов. Вот и ты совершил поступок. Пусть не такой громкий, тем не менее – поступок: первым, без промедления бросился на поддержку едва появившегося на свет божьего существа...

ЖЕНСКИЙ СМЕХ

У женщин и смех какой-то свой, особенный.

– Представляешь, – рассказывала мне знакомая, – сижу я на автобусной остановке, и тут подходят ко мне бывшие мои коллеги по институту: Анатолий Петрович, ему, наверное, за семьдесят уже, – смеется, – и Галина, лаборантка. Тот Анатолий Петрович одно время ухаживал за мной, – смеется. – Он вдовец, я в разводе. Представляешь, разница в тридцать лет!

Я слушал ее и не понимал, что тут смешного. Разница в тридцать лет? Так и по более бывает.

– Когда? – спрашиваю ее.

– Что когда? – поперхнулась она смехом.

– Смеяться когда? Мне смеяться. Когда?

– А-а, – залилась колокольчиком. – Разве я не сказала? Замуж звал. И все твердил: «Весь институт знает, что я вас люблю». Я вежливо отвечала, что, дескать, не подхожу ему и

по возрасту и вообще. «Вот Галина – да. Одинокая, и втайне вздыхает по вам». Он и слушать ничего не хотел и продолжал свои ухаживания, угощения. А как-то является в лабораторию и прямоиком ко мне: «Это вам, Машенька. Шампиньоны». «Спасибо!» – говорю, а сама щекой чувствую испепеляющий взгляд Галины, – перевела дыхание. – И вот встречаю их на остановке. Сошлись, значит.

– Так замечательно! – говорю.

– Конечно, замечательно! – воскликнула она. – Он, Анатолий Петрович, тут же бросился ко мне: «Машенька, как я рад! – и протягивает сумку. – Сморчки. С утра набрал. Берите!» Я даже как-то растерялась: опять грибы! Галина, все это время сидевшая на скамейке, резко поднялась и потянула сумку на себя.

– Пожалела?

– Ну да.

– Нет, здесь другое, – продолжил я. – Ревность. Приревновала тебя.

– Наверное, – смеется.

– Да не наверное, а точно. А скажи, тебе ведь приятно было, что тебя ревнуют. Уж признайся.

– Как тебе сказать...

– И еще более приятно было, что тебя помнят и по-прежнему обожают.

– Это да! – рассмеялась она.

– Вот-вот. У вас, женщин, даже смех какой-то свой, особенный, словно сами себя веселите...

МИНА

Я возвращался из парка: деревья, речушка, мостки... И тут вижу, на пригорке – машины: пожарная, полицейские, другие какие-то. А ниже, за красно-белой заградительной лентой, снуют люди в форме, что-то записывают, снимают на гаджеты.

Подошел к группе зевая, поинтересовался, в чем дело.

– Мина, – сказала молодая мамаша, придерживая коляску.

– Вон, у тропинки, – добавил долговязый парень, очевидно, муж ее. – Видите?

Действительно вдали, у тропинки, виднелось что-то бурозеленое.

– Противотанковая, – добавил мужчина с собачкой, – круглая.

– Круглыми бывают и противопехотные мины, – возразил ему мужчина с бородкой. – Такие были в Афгане.

– В Афгане были прыгающие.

– Были и круглые.

– Сам-то видел?

– Ладно вам спорить, – одернула их пожилая женщина, наверное, теща долговязого. – Был бы дед жив, наверняка бы сказал, что это за мина. А то галдите, сами не зная, о чем.

Мужчины некоторое время помолчали.

– И как тут оказалась?

В это время один из полицейских отцепил заградительную ленту и стал аккуратно сматывать ее, приближаясь к нам.

– Ложная тревога? – спросили мы.

– Учебная, – констатировал он.

«У НАС НЕ ТАК...»

Мать дочери по телефону:

– Только темные вещи не бери с собой, бери светлое, яркое.

– Почему?

– Так поедем на ярмарку. Это у вас в Москве на рынок идут, едут, в чем попроще. У нас не так. У нас ярмарка – празднество. Со всего района народ съезжается. Встречи, знакомства, общения. Каждый субботний день. И все красиво одеты.

– Прямо-таки сорочинская ярмарка.

– Пичаевская¹.

¹ По названию райцентра Пичаево (Тамбовская область).

И ЭТО ПРАВДА

Отправляясь в поликлинику, обратил внимание, что терапевт у меня теперь другой: Шевченко Мария Сергеевна. Шевченко... Самая, пожалуй, распространенная на Украине фамилия. Украинка, значит? Хотя не факт. Фамилия может быть и по мужу, а сама она –тверская, калужская... И сколько в Москве, да и не только в Москве, по всей России таких смешанных, русско-украинских семей!

В автобусе – контролеры. Мне-то чего беспокоиться? Социальная карта! Предъявляю ее миловидной женщине – серо-голубые глаза, светлая челка, выбивающаяся из-под темно-синей форменной кепи, – и невольно кошусь на бейджик на лацкане ее куртки: Галина Семенчук. «Украинка? – улыбаюсь про себя. – На половину? На четверть? Да какая разница!»

Эти свои размышления продолжил, проходя мимо строящегося у станции метро «Краснопресненская» офисного центра. На одном из щитов читаю: «Архитектурная концепция Цимайло, Ляшенко и партнеры».

Уже дома вечером включил телевизор: Владимир Бортко, кинорежиссер. Тот самый, что снял фильм «Тарас Бульба» по одноименной повести Н.В. Гоголя. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» – цитирует Бортко. И уже от себя: «Россия – великая страна! И это правда»...

Май 2023 г.

Н О Д В И Г
С Е Р Д Ц А

Очерки, зарисовки

САХАЛИНСКИЕ ЭТЮДЫ

Телеграмма на столбе

Уже в «Икарусе» по пути в аэропорт «Домодедово» пытался распознать этих самых сахалинцев. Должно быть, раскосые, скуластые? Да нет, нормальные европейские лица. Шапки, пальто, дубленки – стоял декабрь.

Наивный! А то не знал, что Сахалин – остров поселенцев и переселенцев (а в царские времена был еще и островом каторжан). В советские времена традиционно ехали сюда за «длинным» рублем. Многие так и остались здесь. Есть, правда, коренная народность – нивхи, но их совсем мало.

Приземлились в Хабаровске – прямого рейса до Южно-Сахалинска тогда не было.

Что есть грустнее предутреннего аэровокзала, да еще зимнего?! Спали, кто, где как мог: в креслах (повезло!), на ступенях, в каких-то закутках, просто на полу, по-солдатски. Кстати, солдаты здесь тоже были. Человек пятнадцать-двадцать. Наверное, их куда-то перебрасывали. Спали они, по-детски прижавшись друг к другу.

Но все более светало. Оживал и вокзал. Подъезжал народ, свеженький, бодренький, зачастили объявления: посадка, прибытие. Мой рейс объявили где-то к полудню, и уже через сорок минут я был в Южно-Сахалинске.

Встретили – высокий, в кожаном пальто и в очках исполкомовский работник и в огромной меховой шапке и в козушке нараспашку директор мебельной фабрики (фамилия его тут же запомнилась – Деревянко). Отвезли в гостиницу. Почему-то в туристическую. Наверное, это была лучшая гостиница в городе.

А так – обычная, в пять этажей – советская. Зато номер – «люкс»: спальня, гостиная. Правда, насладиться им не успел: уже через час, как и договаривались, за мной приехали мои встречающие, а теперь уже и сопровождающие, дабы представить меня областному начальству.

Я к этому времени уже перекусил и, чувствуя подбирающуюся сонливость (Недосып все же, и еще эти часовые пояса!), вышел на улицу.

Налево – пятиэтажки, направо – пятиэтажки, и все одинаково серые. «Подмосковная Балашиха», – мелькнула мысль. – Или Нахабино». Бросился в глаза полустлевший листок на столбе: «Телеграмма. Высшая...» Дальше неразборчиво. «...Из Владивостока. Первому секретарю Сахалинского обкома...» Понятно: Леонову. (Тот Леонов чуть ли не двадцать лет руководил Сахалинской областью.) А подпись, подпись? Подписи нет: оторвана.

«Я нахожусь недалеко от Сахалина, – читаю дальше, – и желал бы посетить вашу область, но, к сожалению, обстоятельства не позволили...»

Ясно: Брежнев. Это когда приезжал он во Владивосток. Год или полтора года тому назад. И какие это были обстоятельства, тоже понятно: состояние здоровья. Выглядел-то он неважнецки.

А про телеграмму на столбе просто забыли. Или ни у кого рука не поднялась сорвать ее? Хотя сорвать явно пытались: уголки надорваны. «Вот я и сорву», – решил я и при этом почему-то огляделся. Но не тут-то было: влажная бумага, едва цеплял ее ногтем, обрывалась.

Кое-как дочитал: «...Разрешите передать трудящимся... сердечный привет и добрые пожелания в осуществлении тех больших задач, которые поставлены... XXV съездом нашей ленинской коммунистической...»

Как торжественно!

«...Я знаю, что в Сахалинской области многое уже сделано... Здесь добывают уголь, нефть... сотни тысяч тонн рыбы... Это большой и самоотверженный труд... Хочу пожелать жителям... больших успехов, личного счастья каждой семье... в этом далеком, но вместе с тем близком для всей нашей страны прекрасном крае. Л. Брежнев».

Все это уже история. Многие из нынешних молодых и не знают, кто такой был Леонид Брежнев. Старшее же поколение, к коему и себя отношу, время от времени вспоминает о нем: жилось-то спокойнее...

Крепка Советская власть!

– Как себя чувствуете? – спросили меня мои сопровождающие исполкомовский работник и директор мебельной фабрики Деревянко.

– Да, нормально, – бодрился я. – Правда, немного в сон клонит.

– Мы же предлагали вам все дела отложить на завтра. А сегодня – отдых, культурная программа.

– Хорошо! Только представляюсь вашему начальству.

Начальство (зампред облисполкома) – крепкий, тучный мужчина вышел из-за стола, протянул большую ладонь:

– Столичные журналисты к нам не часто заглядывают. Надолго?

– Дня на два-три.

Покачал головой:

– Маловато. Сахалин большой, – взял со стола лист бумаги (письмо из редакции): «Развитие инфраструктуры, социальной сферы...» Все есть: примеры, факты. Но – завтра, завтра. Сегодня отдыхайте. Съездите в краеведческий музей. Впрочем, – покосился на Деревянко, – можете заскочить в Дом быта. – И уже обращаясь ко мне: – Мы его только что открыли. Полный комплекс услуг. Да сами увидите.

Действительно, все, что требовало ремонта из бытовой сферы, делали здесь, в одном месте. («Фабрика услуг» – так назову я статью.) Не надо бегать по всему городу в поисках той или иной ремонтной услуги. Тут же пошивочные цеха, ателье для новобрачных и даже демонстрационный зал. Все чистенько, аккуратно, новое оборудование, свежие халатики... Я даже что-то накропал в Книге отзывов – попросили.

Дальше обычное: ломящийся стол (и когда успели?), тосты. Директор Дома быта, юркий, коротенький человек, благодарил

местное руководство за такой прекрасный подарок городу, нахваливал своих замов (те нахваливали его), и в заключении, уже разгоряченный, предложил тост за советскую власть:

– Вот вы много ездите, – обратился он ко мне. – Я тоже много езжу, я сам с Кубани. Посмотрите, от Москвы до Сахалина одни и те же лозунги: «Народ и партия едины!», «Решения XXV съезда КПСС в жизнь!» Крепка советская власть!

– И на столбах телеграмма Брежнева, – заметил я.

– Да, кое-где осталась. Но не в этом деле. Копии ее были разосланы во все организации, на предприятия. Я тоже получил. Храню. А вообще жаль, что Леонид Ильич не приехал к нам. Все-таки Сахалин...

– Три дня дороги шампунем мыли, – хихикнул Деревянко.

– Ну и что? – возмутился директор. – На Руси всегда так гостей встречали: мыли, чистили, драили...

В общем, выпили за «Крепка советская власть!»

Пограничная зона

Потом посетили краеведческий музей – красивое здание с крышей-крыльями – японское. Пока я в сопровождении экскурсовода переходил от стенда к стенду – от древних поселений нивхов до современного Сахалина, – мои сопровождающие откровенно скучали, поглядывая на часы. «Как-нибудь один приеду», – решил я про себя.

И снова застолье. На этот раз на мебельной фабрике у Деревянко. Кто-то еще подошел. Запомнился армянин Артем, главный цирюльник Сахалина, как его представили (он-то и доставил «самый лучший шашлык»). Разговор велся шумный, все больше о Сахалине, самобытности его поселений, о том же Поронайске, что в серединной части острова, и как-то сама по себе родилась идея отправиться туда сейчас же, благо до поезда время оставалось.

– Посмотрите японские вагончики.

– Японские?

– Да, с тех пор остались. И японская узкоколейка. В метр шириной.



– И менять не собираются?

– Зачем? Служит же...

– А можно я жену с собой возьму? – обратился ко мне Дервянко.

– Я-то тут причем? – удивился я. – Вам и решать.

– Хорошо. А то все обижаются: третий год на Сахалине, и так никуда не свозил ее.

На вокзал прибыли впритык к отходу поезда. Вагончики, действительно, мелкие, короткие. К одному из них и устремились.

– Пьяных не берем! – преградила путь проводница.

Мужики что-то залепетали.

– Я же сказала: запрещено! – уперлась она. – Пограничная зона. Отвечай потом за вас...

«Да, гурьбой – никак», – подумал я и как самый умный (по крайней мере, так мне казалось) предложил рассредоточиться по вагонам и затем уже собраться в одном из них. И решительно шагнул к другому вагону. Спокойно вошел, даже билет не спросили, уселся на свободное место. И поезд тронулся. «Наверняка и они успели», – подумал я и задремал.

– Ваш билет? – предо мной мужчина с красной повязкой на рукаве. Дружинник или контролер?

– Билет остался у товарищей, – объясняю, – они в соседнем вагоне.

– Ничего не знаю. Берите билет! – пристально посмотрел на меня.

– Ладно! – стараюсь не дышать в его сторону.

Он отмотал, наверное, с полметра этих билетиков – по 5 копеек. Я усмехнулся:

– Сахалинская реликвия. Сохраню.

– А вы откуда?

Я несколько помедлил:

– Из Москвы, – не любил светиться без всякой надобности, но тут, пожалуй, придется, – журналист.

– Журналист? – секунду помедлил, – Только не проспите свою станцию: Поронайск. Поезд-то дальше пойдет, до Охты.

– Да я к своим переберусь. С ними уж точно не проеду.

– Нет, не переберетесь, – сказал он. – Вагоны перекрыты. Всего доброго!

«Перекрыты? Такое правило здесь? Или вообще нет переходов между вагонами? Ну, япощки! Но ведь можно выйти на следующей станции и пересесть в соседний вагон. Так и сделаю».

Поискал проводницу – темно-синее пальто с блестящими пуговицами, с трудом подошел к ней (ноги, что ли отсидел?):

– Извините, следующая какая станция?

– Долинск.

– Растолкайте, если задремлю.

– Ладно.

Растолкала.

А дальше – как в тумане. «Куда же вы?!» Но я уже спрыгнул. Я уже у соседнего вагона. Тянусь к ручке. Не поворачивается. Бросаю портфель наземь (слава богу, не оставил в вагоне) и жму уже двумя руками. Бесполезно. Стучу в дверь. Еще стучу. И тут чувствую, что вагон ползет вправо. Еще правее. Еще. За ним – следующий вагон. Поезд уходил. Вот уже растаял в ночи красный огонек. Я остался.

Сержант Миша

И что? Закурил, с неприязнью поглядывая на черное станционное здание. Однако надо топать. Хоть куда-нибудь, к людям! Выбираюсь на разбитую дорогу. Топаю пять, десять минут –

ни огонька, ни души. Возвращаюсь к станции и направляюсь в другую сторону. Те же темные дома, желтые круги у фонарных столбов, снежная разбитая дорога. Вдруг откуда-то слева выскочили два белых луча, вот они уже на дороге. Прыгают, прыгают. Отчаянно машу руками. Оказалось – милицейский уазик.

Спал я... Да всего-то, показалось, мгновенье. Отдираю голову от подушки: бьющий в глаза свет, справа и слева мужики на койках. Гостиница что ли? (Доводилось в глубинке ютиться и в 4-местных, и в 6-ти местных номерах.) Мужики небритые, опухшие, один вообще с фингалом. «Да нет, не гостиница», – врубаюсь все более. И сержант рядом – молоденький. Без сержантов у нас ничего не делается. Почти по Пушкину. Правда, у него «без фельдъегерей». И повел меня в конец коридора – к старшему.

Старший, серое (сахалинское) лицо, слипшиеся волосы на лбу, тускло посмотрел на меня:

– Фамилия?

«И зачем спрашивает? В журнале все указано: кто я, откуда, когда поступил».

Я назвался.

Он снова недовольно взглянул на меня, не спеша открыл сейф, достал мои документы: паспорт, редакционное, командировочное удостоверения, – положил на стол и подчеркнуто демонстративно – портмоне:

– Проверьте.

Я машинально открыл: 400 рублей, все на месте.

А надо сказать, 400 рублей в те времена, когда, скажем, Любительская колбаса стоила 2.90, а Докторская и того меньше, хлеб вообще 13 копеек, деньги были немалые. Деньги, понятно, не мои, казенные. Хотя почему не мои? Мои! На них мне жить и перемещаться.

– Спасибо! – говорю. – Спасибо, что приютили.

Никак не отреагировал.

– Я свободен? Могу идти? – спросил я у сержанта (Миша с Донбасса) уже в коридоре.

– Нет, – сказал он. – Еще – к майору, начальнику райотдела.

Ментовское утро! Идем гуськом вслед за сержантом Мишей по узкой снежной тропинке мимо проступающим в сереющем

рассвете каких-то строений. Я – замыкающий. Впереди меня, как наказание, ковылял мужик, тот самый, с фингалом, раз за разом сваливаясь то вправо, то влево. Обхожу его и пробираюсь к сержанту Мише, прошу, чтобы он первым меня пропустил к майору: не хочется толкаться с этими алкашами. Пообещал.

Вхожу, как есть, в расстегнутом пальто, шапка – в одной руке, портфель в другой.

– Ну так что, товарищ журналист? – майор с улыбкой взглянул на меня, указал на стул.

Я неопределенно развел руками.

– Нда-а, – протянул он, посмотрел в бумаги. – В вытрезвителе прежде не бывали?

– Да нет.

– В Москве, – уточнил он.

– Нет.

– Первый раз, значит?

Расхохотался:

– Это же надо! Преодолеть шесть тысяч километров, чтобы попасть в вытрезвитель!

Я тоже засмеялся:

– Вспоминать долго буду. Да и какая командировка без приключений?

Он убрал смех:

– В командировке нужно быть особенно осторожным (от нотаций все же не удержался). – Вам в Поронайск?

– Ну да.

– Ваши друзья уже там. Ждут вас?

– Да? – обрадовался я. – А как вы узнали?.. – и осекся, понимая неуместность каких-либо вопросов.

– Поезд через два часа, – продолжил он.

– Хорошо. Только, товарищ майор... На работу, по месту жительства...

Он промолчал, но инстинктивно я понял: никакую бумагу никуда отправлять он не станет.

– Спасибо! – поднимаюсь, подаю руку.

Он несколько помедлил, подает свою:

– Так о чем писать будете?

- О Сахалине, как народ живет, работает.
- Хорошо живет и хорошо работает. Так и напишите.

А женщина женщиной будет...

Я решил дождаться сержанта Мишу. Уж он-то знает, где ближайший магазин, знает продавцов. Наверняка поможет. Нет, не водки. Два-три глотка шампанского.

А городок-то не такой уж деревянный, как поначалу показались, вон и кирпичные дома, в два-три этажа. Напротив какое-то учреждение с ярко освещенными окнами. Рядом магазин «Одежда» (буква О почему-то на боку).

Но как же трещит голова!

– Магазин покажу, – сухо отозвался на мою просьбу сержант Миша. – Но спиртное с одиннадцати.

– Это понятно, но... Я впервые на Сахалине... И такое приключение.

– Мне домой – жена, дети.

– Миша, мы же земляки с тобой. Ты из Донбасса, я из Запорожья. Просто живу в Москве. А землякам надо помогать.

Он остановился:

– Там, у станции, – показал рукой, – стекляшка, может, на разлив дадут.

– Вот и посидели бы вместе.

– Нет, я домой. А поезд в одиннадцать. Не забудьте.

– Да не забуду. Пока, Миша!

– До свидания, – хмуро сказал он.

Вот и стекляшка. Железные столики с пластиковым верхом, визжащие по каменным плиткам и такие же железные стулья – все знакомо, привычно.

– Доброе утро! – подхожу к стойке.

– Утро доброе! – откликнулась юная буфетчица в белом веселом кокошнике.

– Что будем кушать? Сосиски, яичница?

– И то и другое. Но потом, потом... Хороший ваш городишко, – продолжил я, – тихий, спокойный.

– Да, спокойный. И люди добрые.

– Это точно. Вот вы, например – и, наклонившись, тихо добавил: мне бы полечиться.

Бросила на меня строгий взгляд (даже кокошник нахмурился):

– С одиннадцати.

– Как с одиннадцати? – я сделал удивленное лицо. – Разве не знаете? Приказ министра. Наверное, еще не дошел до вас. В Москве уже с девяти. Ну, ребята! Заведующая на месте? Как пройти к ней?

– Сейчас! – выскочила из-за стойки.

Прошли по скользким плиткам, постучалась в дверь:

– Людмила Петровна, к вам!

Полная, средних лет блондинка недовольно повела голову, дескать, кого принесло в такую рань. Здравуюсь.

– Здравствуйте! – поправила на плечах серый пуховый платок.

– Вот напугал девушку, – продолжил я. – Сказал, что в Москве спиртное продают с девяти, а у вас все еще с одиннадцати.

– С одиннадцати, – протянула она.

– Да пошутил я. И в Москве с одиннадцати, и везде.

– Ну и шуточки у вас! Вы кто?

– Я проездом. Мне в Поронайск, – и кладу на стол редакционное удостоверение.

Она с некоторой настороженностью раскрыла его.

– Я проездом, – повторил я, тем самым как бы давая понять ей, что ни в коей мере не намерен провоцировать ее и вообще ничего плохого не держу на уме. – Мне дальше, в Поронайск. Но знаете, – провел ладонью по лбу, – как-то совсем плохо.

– Странное у вас отчество. Ананьевич.

– Отца так зовут – Ананий.

– Редкое имя.

«Да что же она тянет?» Снова провел рукой по лбу:

– Людмила Петровна.

– Нет, не получится. Сами же говорите, с одиннадцати.

– Это на вынос. А ежели...

Она словно не слышала меня:

– А мы в Москве с мужем и дочкой проездом были. Только Красную площадь и увидели. Москва такая шумная. В метро вооб-

ше друг друга не расслышать. Для нас цивилизация – Владивосток. Туда едем за образованием, за обновлениями, на концерты ваших звезд.

– Но почему? Можно и в Москву.

– Москва далеко, – вздохнула.

– Далекое... Так это, Людмила Петровна? К тому же у меня день рождения.

– День рождения у него, – вернула удостоверение.

– Но Людмила Петровна, – взмолился я.

Ох, горе луковое! – подошла к холодильнику, достала бутылку шампанского.

Я расплылся в улыбке:

– Я знал, всегда знал, что есть, есть на Руси настоящие женщины! Как там у Гамзатова? «И даст на дорогу вина!..»

– Вот еще шоколадка. Только не засиживайтесь. Сами понимаете: начало рабочего дня...

Поющие тротуары

А я и не засиживался. Опустошив прохладное шипучее и многократно поблагодарив хозяйку (от денег она наотрез отказалась), заспешил на вокзал. Кажется, еще сказал ей, что на обратном пути заскочу. А, может, ничего такого и не говорил?

А вот станция Долинск запомнилась. Слабо освещенный зал, массивные, знакомые еще с детства желто-серые скамьи с высокими спинками и вырезанными на них буквами «МПС» (Министерство путей сообщения). Скамьи эти еще долго, особенно в глубинке, будут украшать станционные здания.

Билетные окошки и над ними табличка: «Долинцы! Мы живем в пограничной области. Будьте бдительны! Активно участвуйте в охране государственной границы СССР!» Во как! И такие таблички-призывы наверняка вывешены на всех железнодорожных станциях Сахалина, во всех его городах и весях. И ведь логично: Сахалин – самый восточный наш рубеж, и рубеж этот должен быть надежным, бдительным...

Встречали меня как родного, еще издали размахивая руками (Деревянко – огромной шапкой). И тут же увели в привокзальный

ресторан, потому как уже через два часа нужно было отправляться в обратный путь. Потому как другого поезда уже не будет. Только – завтра.

Я расстроился:

– И города не увижу. Я вообще-то могу остаться.

– Нет, нет, – воспротивились мои сопровождающие. – Завтра вам нужно быть уже в Корсакове. А про Поронайск вам расскажет редактор газеты, он здесь, с нами.

– Расскажу, расскажу, – отозвался редактор. – И про историю города, и про целлюлозно-бумажный комбинат. На нем здесь все держится. А лучше знаете что? Пока они будут застольничать, проведу вас по нашим тротуарам, послушаете, как они поют. Асфальт-то у нас не держится: почвы соленые. Поэтому кладем дерево. Хотя и деревья у нас плохо растут. Так и живем. Как и предки жили. Место-то удобное: залив. Залив терпения, как его прозвали. Вот и терпим. И вьюги, и муссоны. Зато рыбалка какая! Кета, икра...

Через два дня я покидал Сахалин. Впереди были новые города и новые встречи. Но Сахалин, Сахалин...

Как забыть его?

1979 г.

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

Легкий, подвижный, с чувством юмора... И как-то не верилось, что ему – 90.

Наш рассказ о летчике, Герое Советского Союза Езерском Дмитрие Сергеевиче.

Курс на Крым

– Вообще по статусу своему, – тут же оговорился он, – я был не военным летчиком, а, скорее, гражданским: окончил-то я школу Гражданского воздушного флота. Летал на транспортниках. Впрочем, на войне – все военные. А награда

догнала меня спустя год после представления к ней – летом 45-го. Да и не мудрено: авиаотряд, в котором я состоял, раз за разом подчиняли то одному, то другому соединению, так что документы просто могли затеряться. Да и не о Звезде тогда думалось. Знаете, война – это работа. Тяжелая работа. И думалось лишь об одном: выполнить задание. Военное задание.

Это задание у Дмитрия Сергеевича всегда было одно: пересечь линию фронт – с боеприпасами, снаряжением, медикаментами – и сбросить все это партизанам. И – назад. Нередко приходилось и приземляться, у тех же партизан, чтобы забрать раненых.

– Летали ночью. Низом, на высоте в двести метров, чтобы вражеские прожектористы не успели обнаружить нас, а зенитчики – открыть огонь. Как говорил наш командир авиагруппы, собьют на большой высоте, будешь долго кричать и долго мучиться, а тут и мяу не успеешь сказать. Такие вот были летные шутки...

О небе он мечтал с детства. Неподалеку от поселка Жуковка Брянской области, где он рос и учился, располагался планерный клуб Осоавиахима (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству – предшественник ДОСААФ). Туда и зачастил юный Езерский. И уже после первого полета сказал: «Это мое!» Но в летную школу его не брали: мал еще, нет и шестнадцати. Да и на заводе, где устроился токарем после окончания ФЗУ, уговаривали не торопиться. Он настаивал на своем: хочу в училище. В конце концов, махнули рукой: хочет – пусть летает. Уехал он в Батайскую летную школу Гражданского воздушного флота (ГВФ), что в Ростовской области. Приняли! Сбылась его мечта! После окончания авиашколы возил почту,



работал в сельхозавиации. Потом – война. С первых же дней был зачислен в особую авиагруппу ГВФ Юго-западного фронта. Участвовал в проведении воздушной разведки, десантировании вооружения, спецподразделений.

– Базировались мы тогда, – продолжает Дмитрий Сергеевич, – это в 44-м, на аэродроме станицы Крымская, что на Кубани: Ли-2, двухмоторные Си-47 системы Дуглас – транспортники. Нашей задачей было обеспечение боеприпасами и всем необходимым крымских партизан. И вот как-то под вечер прилетел к нам... Мы даже не поняли, кто. По крайней мере, был он не в летней форме. Оказалось, командующий 4-й воздушной армией генерал-полковник Вершинин. Он передал нам благодарность крымских партизан за ту помощь, которую мы оказываем им, и обратился к нам с просьбой: вывезти на Большую землю детей, которые укрываются на одном из высокогорных плато под Симферополем. Дети измождены, истощены. К тому же готовится операция по освобождению Крыма. Зачем же подвергать детей риску? «Но тут проблема, – продолжил Вершинин: приземлиться на плато будет крайне сложно – каменистый грунт, ограниченность пробега...» Нет, он не приказывал. Он просто попросил. Кто сможет? Я сказал: смогу. Вместе со мной, для большей надежности, полетел и командир авиагруппы. В качестве второго пилота. С трудом в кромешной темноте разыскали мы то плато, увидели костровые огни, – помолчал в задумчивости: – Посадка была очень трудной. Штурвал буквально вырывало из рук. Самолет так трясло, что казалось, он вот-вот он развалится. Сели. Я некоторое время вообще не мог прийти в себя. В горле как ком застрял. Командир партизанского отряда повел нас к палаткам, к детям. До сих пор вижу их горящие надеждой глаза. Но всех, конечно, забрать не могли. Двадцать – двадцать два человека, как нам сказали, – не более. Взяли самых младших и самых слабеньких. И чтобы облегчить самолет, я приказал слить две бочки резервного керосина. Прилетели на базу – оказалось двадцать шесть детей. Как-то так получилось... Отдохнул и снова в полет, за линию фронта. За детьми.

За три ночи Езерский семь раз вылетал на высокогорное плато. И вывез, таким образом, на Большую землю около двухсот крымских детей. Тогда-то и представили его к высшей награде. Но... бумаги затерялись.

В небе Югославии

Его ночные полеты в тыл противника продолжились. Теперь уже в Югославии.

– Базировались мы под городом Бари, что в Италии. Отсюда и вылетали к югославским партизанам, доставляя им вооружение, продукты. Как-то, возвращаясь на базу, получили приказ: срочно развернуться и совершить посадку на одной из партизанских площадок, чтобы забрать раненых. Дали координаты. Летим, мигаем огнями. А связи с партизанами никакой. Видим, нам сигнализируют ракетой. Потом появились костры: один, другой, третий... Пятый – поворотный, как положено. Сели и ужаснулись: буквально в десяти метрах от обрыва. Но как нас встречали! – на секунду задумался. – Тогда нас, советских солдат, вся Европа встречала как спасителей, освободителей. И Югославия, и Польша, и Болгария, и Чехия, Словакия... Почему же сегодня их отношение к России, мягко говоря, нелицеприятное? К Великой России. К стране-победительнице. Те же Польша и Чехия откровенно спину показывают. Благо сербы с нами. Но Югославии нет...

Мы не стали с Дмитрием Сергеевичем развивать эту тему. Бог судья тем, кто отшатнулся от России... Так что дальше?

– Так вот, встречали нас очень тепло. Ну, представьте себе: разостлан ковер, на ковре – корзины с винами, фруктами. Тут же рядом парни и девушки в национальных одеждах. Многие подходили ко мне, трогали за гимнастерку: «Рус! Рус!» И вдруг одна из женщин падает мне в ноги. В чем дело? Мне объяснили: женщина просит, чтобы мы взяли в самолет ее племянника. Он ранен, у него начинается гангрена. Конечно же, взяли. И, конечно же, слили резервный керосин. Мне, правда, потом от командира досталось. Мол, какое имел право так рисковать?

Да еще вместо двадцати человек взял двадцать пять. Но на войне как войне: не рисковать нельзя.

И ведь добро откликнулось. Спустя многие годы, уже летая мирными рейсами, Дмитрий Сергеевич снова оказался в Югославии. Спускается по трапу, как подобает командиру корабля, последним и видит навстречу ему, прихрамывая, торопится какой-то человек: «Друже, Езерский! Я – Ранко!» Это был тот самый, двадцать пятый. «Ты спас мою жизнь, но ногу, увы, врачам спасти не удалось... Спасибо тебе!»

Из послужного списка. «В тыл Народно-освободительной армии Югославии экипаж Езерского совершил 66 вылетов. Доставил 88 тонн вооружения, боеприпасов и продовольствия, вывез 405 раненых...»

Сорок три пробоины

Всего же за годы войны в тыл противника Езерский совершил 226 ночных вылетов. Из них 78 с посадкой у партизан. По возвращении экипаж считал пробоины на корпусе самолета. В итоге их набралось 43. Некоторые – с кулак.

– Сам я человек не божественный, – говорит Дмитрий Сергеевич, – но, тем не менее, считаю, что кто-то меня берег. Значит, все-таки Бог. Совершить столько вылетов, ночью, без связи (связь с базой, с партизанами была запрещена), а в первое время и без антиобледенителя и навигационных приборов и остаться в живых? Как такое вообще возможно?

В июне 1945 года летчику старшему лейтенанту Д.С. Езерскому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

Он потом еще долго летал в основном на международных линиях: Индия, Йемен, Алжир. В 1959 году был переведен на нелетную работу. Но с авиацией не порывал. Работал преподавателем в учебно-тренировочном отряде Шереметьевского аэропорта. Его именем назван один из самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот». В 2007 году он отметил свое 90-летие. Спрашиваю: в чем секрет его долголетия? Не пил, не курил?

– И пил, и курил. Как можно было, вернувшись с задания, опасного задания, не выпить сто грамм спирта?

– Спирта?

– Д-а! Чистого, неразбавленного. Без этого просто нельзя было уснуть. Да еще днем. Летали-то ночью... Ну и, понятно, гены. Мать моя прожила 96 лет. А жизнь-то у нее, крестьянки, была, ох какая не легкая. И еще, наверное, свойство характера: люблю жизнь – хорошую музыку, песню, рыбалку, юмор. Вот меня спрашивают: «В каком месяце ты родился?» Отвечаю: «В феврале». Удивляются: «А выглядишь по-мартовски!»

Умер Д.С. Езерский в январе 2014 года – в неполные свои 97. Он был последним из фронтовых пилотов гражданской авиации – Героев Советского Союза.



СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ

Было это давно, еще в советские времена. Я работал в журнале, название которого весьма емко определяло его направленность: «Служба быта» – парикмахерское искусство, фотография, всевозможные ремонтные услуги...

Парикмахерское искусство – я не оговорился. Профессионализм мастериц ножниц и расчески в те годы был очень высок, что и демонстрировали они на всевозможных всесоюзных и международных конкурсах. Особенно по части женских причесок, являвших собой поистине нечто феерическое.

Тираж журнала по нынешним меркам был гигантский: 400 тысяч экземпляров. Финансировали издание, уж не знаю, в каких

долях, Министерство бытового обслуживания и ЦК отраслевого профсоюза.

Благодатные времена были: и газеты, и журналы в достаточном объеме финансировались, и тиражи – зашкаливали...

Особое внимание, понятно, уделяли обложке: новые объекты, конкурсы по профессии, лучшие люди отрасли. И чтобы – ярко, красочно. И тут главный редактор предложил приурочить обложку очередного, октябрьского номера, чего прежде не случалось, к началу занятий в сети политпросвещения (1 октября) – велась тогда такая учеба, главным образом в молодежной среде. То был сущий формализм. По себе знаю, как зевал на всех этих политпросвещениях.

На дворе стоял август, и уже к концу его октябрьский нужно было сдать номер в типографию. Таковой была специфика тогдашнего журнального производства: на подготовку номера (подбор материала, редактирование, макетирование, верстка, вычитка) уходило до двух месяцев. Стало быть, снимок мог быть только постановочным.

Задумали так: в одном из московских молодежных коллективов, например, в салоне-парикмахерской девушка-комсомолка проводит политинформацию. Якобы проводит, якобы политинформацию.

Смотался наш фотокорр (вот именно смотался: юркий, маленький) по нужному адресу и уже на следующий день принес слайды. Посмотрели мы их на свет. Вроде все нормально – цветность, композиция. Теперь, что покажет увеличение? А, надо сказать, все слайды мы пропускали через фотоувеличитель, доводя каждый кадр до максимального размера, чтобы уже детально разглядеть его: нет ли технических повреждений, неудобных предметов, у кого-то из «героев» закрыты глаза. А слайд, как известно, ретуши не подлежит. Что уж попало в объектив, то попало.

Вставляем слайд в рамку, гасим свет, смотрим: красивая девушка в ярком зеленом халатике и с блокнотиком в руках что-то рассказывает коллегам, таким же очаровательным. Замечательно! Но, обратили внимание, на груди у нее что-то желтеет. Кулон, крестик? Вроде кулон. Или все же крестик?

– Что скажешь, Савелий? – обратился главный к фотокорру.
– Кулон, кулон, – забеспокоился тот.
– Когда снимал, видел?
– Ну да. Мелкота... Снимок-то хорош, Владимир Александрович. Вон девчонки какие!

– Хорош-то, хорош, – главный задумался, покачиваясь вперед-назад – такая привычка у него была. – Когда сдавать?

– Завтра, – выдохнула техред Людмила, в чью обязанность входило отслеживание графика прохождения журнала.

Смотрим еще – и так, и этак. Что ж, если при увеличении не понять, что это, то на обложечном формате вообще будет ничего не разобрать. Ну блестит что-то, желтеет. А в тираже пятнышко вообще смажется.

– Ладно, – качнулся главный вперед-назад. – Отправляйте.

Журнал вышел. Как это всегда бывало в дни крупных политических мероприятий в Москве, несколько пачек прямо из типографии ушли в Кремлевский Дворец съездов, где как раз проводилось всесоюзное совещание идеологических работников. Проводил его сам Суслов, главный идеолог страны.

И кто-то из участников совещания, заполучив экземпляр журнала, прикрепил к нему записку и отправил в президиум, где вместе с Сусловым восседали другие партийные боссы. Там же находился и Тяжельников, тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ (для несведущих: Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи). Ему-то записка, как потом выяснилось, и адресовалась. Что содержалось в записке, а с ней, пока шла она по рядам, наверняка многие успели ознакомиться, догадаться было нетрудно: «Комсомолка с крестиком! Позор журналу!»

Тяжельников показал записку Суслову. Что тут началось! Звонки в редакцию из Московского горкома комсомола, из ЦК отраслевого профсоюза, из партбюро министерства: «Вы что себе позволяете? Где главный редактор?»

На тот час главного в редакции не было; не было и его заместителя – в отпуске.

Главный потом подъехал, бледный, подавленный – он уже все знал.

Решения верхи приняли тут же: вывоз тиража приостановить, а те немногие экземпляры, которые разошлись по стране, вернуть в типографию. Фото на обложке заменить и оттиск ее показать в Отделе пропаганды и агитации ЦК КПСС. Не говорю уже о том, что нам предстояло ежедневно (а уже шла работа над следующим, ноябрьским номером) группами, по два-три человека ездить в подмосковный Чехов на полиграфкомбинат и срывать «крамольную» обложку с журнальных экземпляров. И с удивлением обнаружим, что на некоторых из них карандашом уже были помечены улица, дом, квартира подписчика. То есть изымали журнал чуть ли не из почтовых ящиков.

Фото заменили, прибегнув, как нам казалось, к самому беспроигрышному варианту: портрету Героя социалистического труда, известного в отрасли слесаря по ремонту холодильников Жаринова.

Отвезти оттиск обложки на Старую площадь, где и располагался ЦК, главный редактор попросил меня как ответственного секретаря:

– Скажете, что я приболел, – что было недалеко от истины: выглядел он неважнецки и, казалось, весь пропитан был валидолом, – Я там уже такого наслушался... Девятый подъезд, знаете.

– Знать-то знаю, – замялся я.

– Напротив памятника Героям Плевны. Найдете.

Звоню и к назначенному времени, приезжаю. Слева – да, памятник, а справа – массивное серое здание, где и значился тот самый 9-й подъезд. Тяжелые двери, у тумбочки человек в военной форме. «Словно дневальный в казарме», – мелькнула мысль. Долго разглядывал мои документы: «Вам на четвертый». Там снова человек в военной форме и снова смотрел документы, пропуск: «Это по коридору налево».

Таблички, таблички и ни души. Ан нет, в конце коридора оказалась женщина с папкой бумаг, поравнявшись со мной, поздоровалась. Я удивился: что ли так принято здесь – здороваться со всяк сюда входящим? Или с кем-то перепутала меня?

– Здравствуй! – успею ответить.

Вот и нужная табличка.

Моложавый, небольшого роста мужчина – инструктор (назову его Спицыным А.Ф.) – переходит к большому столу, я присажива-

юсь рядом, достаю из портфеля оттиск на хорошей, мелованной бумаге:

– Вот она, злосчастная обложка, – и невольно улыбнулся.

Он колко взглянул на меня:

– Похоже, вы так ничего и не поняли?

Я промолчал.

– И вообще, – добавил он, – в кабинетах ЦК так себя не ведут.

«Как так? – про себя удивился я и тоскливо взглянул в окно. – Ба-а, купола! Прямо за цэковской оградой. Храм! Что ли, и колокола звонят? Вряд ли. Церквушка наверняка не действующая».

Спицын все разглядывал оттиск (на оттиске – средних лет мужчина в синем новом халате диагностирует холодильник):

– Кто это?

– Герой социалистического труда, слесарь Ивановского объединения «Рембыттехника» Жаринов Александр Дмитриевич. Кстати, единственный Герой соцтруда в отрасли.

– Это хорошо! А почему глаз косит?

– Да нет, – я наклонился к оттиску. – Просто так кажется. Из-за поворота головы.

– Значит, ракурс нужно было выбрать другой. Переснять! – отрубил он.

– Но, Александр Федорович, – я понял, что надо всячески спасать обложку, – не обращать же взгляд его на холодильник, в любом случае он должен смотреть на нас, читателей, – и добавил, зная, что наверняка Спицыну это не понравится: – А пере съемка потребует еще времени. Номер и без того задержался.

– По вашей вине! – парировал он. – Учим, учим вас. Ладно, оставьте.

Прошел день, другой, звонит: «Печатайте!» И чего тянул?

Обложку срочно отпечатали (а это 400 тысяч экз.), журнальные экземпляры заново сброшюровали. Понятно, к подписчикам журнал поступил с огромным опозданием, почитай вместе со следующим, ноябрьским номером.

Чем для нас все закончилось? Главному редактору объявили строгий партийный выговор. (Снять такой выговор ему будет ох как не просто!). Редакцию лишили премиальных. Пострадала и та девушка из салона парикмахерской. Ее тоже таскали по разным

инстанциям, довели до слез и тоже вlepили выговор – уже по комсомольской линии...

Пройдут годы. В стране многое изменится. Собственно той, прежней страны и не станет. И прежней власти не станет, кою и олицетворяла Старая площадь с ее громадой зданий. Как-то, выйдя на станции метро «Китай-Город» (бывшая «Площадь Ногина»), удивился колокольному звону. Доносился он да, со Старой площади. Тут же вспомнилась та церквушка. Ожила, значит! И я ускорил шаг. У стрелки-указателя задержался: «Храм Живоначальной Троицы. Основан в XVII веке». Во как! Памятник древнерусской архитектуры. Потому в окаянные дни и не тронули его. И ведь действительно красив! Густо зеленые купола, красно-белые кокошники.

На ступенях храма заметил мужчину: невысокий, лысоватый. В одной руке у него был полиэтиленовый пакет, а другой рукой он крестился, раз за разом склоняя голову. Потом спустился со ступеней и медленно зашагал вниз по дорожке. Что-то в облике его показалось мне знакомым. Спицын? Тот самый Спицын? Из того самого 9-го подъезда бывшего ЦК КПСС? Вообще, похож...

P.S.

В моем архиве до сих пор хранятся те два октябрьских за 1979 год номера журнала: на одном («крамольном») – девушка-комсомолка в зеленом халатике и с крестиком на груди (крестик-то оказался декоративным), на другом – слесарь-ремонтник из Иваново Жаринов. Мне потом довелось встретиться с ним: и никакой он не косоглазый...

ПОДВИГ СЕРДЦА

Впервые у поэта Виктора Федоровича Бокова я побывал в декабре 1999 года, а если точнее: 31 декабря.

Дело было так. В журнале «Российская Федерация сегодня», где я тогда работал, опубликовали подборку стихов Бокова. С отправкой авторских экземпляров затянули, а на дворе уже конец года, и я вызвался отвезти их. Заодно – и гонорар. Звоню,

спрашиваю, как доехать, ну и, как принято:

– Что-нибудь захватить?

– Решительно ничего! Разве что, – смешок в голосе, – пучок редиски.

Редиски? Пошутил, наверное. Но шутку полагалось поддержать. Ткнулся в один, другой магазин – нет редиски. Уж на Киевском-то, решаю про себя, точно будет – в те времена там располагался рынок, огромный и бестолковый. Увы, и тут ее нет.

Оставалось последнее: рынок в микрорайоне Ново-Переделкино. А если и там не окажется?

Слава богу, оказалась: продолговатая, синеватая – в целофановых пакетиках. Голландская. Уж какая есть! И – скорее назад, к станции Переделкино. И по тропинке – а снег повалил настоящий! – уже вниз, к речке. Вот он, мостик, вон (слева) и сияющий окнами дом Бокова.

– Вы прямо как Дед Мороз! – встретила меня Алевтина Ивановна, жена Бокова, и откровенно развеселилась, глядя на пакетики с редиской. – Принесли все же!

Подошел Виктор Федорович, потискал их:

– Нет, не наша... Ну, показывайте журнал.

Раскрыл нужные страницы, придирчиво рассмотрел их: шрифт, расположение строк (потом не раз буду отмечать, с каким вниманием разглядывал он каждую новую свою публикацию), – и стал читать. Неторопливо, вслушиваясь в каждое слово, словно впервые видел написанное:

– Вот здесь хорошо: «Эта девушка проста, а сложнее и не нужно». И тут неплохо: «Упала под ноги зима, и заскрипел снежок воскресный»...

А на столе уже грибочки, капусташка, кагорчик (для Бокова). «За стихи! За здоровье! За старый новый год!»



Боков много шутил, каламбурил.

Потом я бывал у Бокова много раз. Помогал ему в подготовке рукописи очередных книг, приносил журналы, газеты с интересными, как мне казалось, для него публикациями. Стихи приносил редко, зная его предубеждение к нынешним поэтам:

– Нет языка, – сокрушался он и буквально морщился, когда я читал ему какого-нибудь «тугого на ухо» поэта. Таковую муку, наверное, испытывал дирижер, услышав фальшивую ноту...

Сам же он шел от жизни, от разговорного языка. Он и частушки сочинял. Слух у него был совершеннейший, и композиторам не просто было с ним работать. Он всегда первым слышал нужную мелодию. Настолько же музыкальными были и его стихи.

Очень точно скажет о Бокове Борис Пастернак: «Из вас природа так и прет!» Это будет в Чистополе, куда с началом войны эвакуируют писателей. За плечами у Бокова уже будет Литературный институт; он – член Союза писателей. О последующем не любил рассказывать. По ложному доносу он был арестован и приговорен ревтрибуналом к пяти годам лагерей. Мог бы загнуться там, но спасала зэка Бокова поэзия: «Как я выжил, у Музы спросите...»

Цикл стихов «Сибирское сиденье» нельзя читать без содрогания:

*Я очень рано стал седым,
Я очень поздно стал свободным.*

Боков – человек-эпоха. Он дружил с Пастернаком, встречался с Мариной Цветаевой, его творчество высоко ценили Пришвин, Шолохов, Леонов...

Боков – человек-легенда. Песни на его стихи «Оренбургский пуховый платок», «На побывку едет...», «Я назову тебя зоренькой...» (все и не назвать) поет вся страна, и многие искренне верят, что песни эти – народные.

Да потому что он сам – плоть от плоти – из народа. Собира- тель и хранитель русского разговорного языка («Пускаю ухо по людям...»)

Конечно же, говорили о поэзии.

– Я знаю о поэзии немало, она меня крапивою стегала, – отшучивался он и уже серьезно продолжал. – Поэзия – это молния, материя, которая мгновенно исчезает. И надо успеть схватить ее, эту молнию... Вот, начал 90-й том, – показывает папку. – Может, когда-нибудь напечатают.

Папка как папка, обычная, с завязками. Жирно вырисован номер. А справа и слева – фигурки, смешные мордашки. И шутиливое: «Поэзия! В твоей таблице/ Вся менделеевская химия./ Успел я в жизни убедиться,/ Что миром правят очи синие».

Улыбается:

– Это так, для разрядки. И для зарядки... Раньше по пять-шесть стихотворений в день писал. Закончу одно, а уже прискакивает новое. Вот сегодня утром написал:

*Ни слыху, ни дыху,
Ни оху, ни вздоху,
Ни кола, ни двора,
Ни попа, ни царя,
Ни клюквы, ни брусницы,
Ни красных рябин,
Кругом твои ресницы,
И я – не один.*

Дерзость какая-то!..

Я, как и многие поэты, кому посчастливилось общаться с Бокковым, нередко называл его своим учителем. Ему это не нравилось:

– Никакой я не учитель, – ворчал он. – Стихи нельзя научить писать. Просто надо уметь видеть поэзию. Она – вокруг. Смотри, – показывает на прижавшиеся друг к другу два яблочка на траве. – Сиротинушки. Оторвало их ветром от мамки. Но как держатся друг за дружку. Разве это не поэзия?

Как-то звонит с утра:

– У меня сегодня открытие. Можешь подойти?

– Конечно.

Территориально мы рядом: он – в Переделкине, я в – Ново-Переделкине, в микрорайоне. Нас разделяют поле и железная дорога.

Преодолеваю то и другое в знаемых местах.

Яблоневый дворик, веранда – дверь открыта.

– Это что-то невероятное! – взволнованно ходит по комнате. – Обнаружил такое... Сам удивляюсь. Послушай:

*Я, как рабочая лошадь
шагаю, шагаю, шагаю,
Мнится, что почва родная поет под ногой.
Губы мои – нараспев, я иду и слагаю
Песню, в которой Россия
мой главный глагол...*

Да, Россия для него была все: и радость, и горечь, и слава, и главный глагол...

Бывал ли Боков грустным?

Конечно. Как и всякий поэт. Иногда проскальзывало: «Погружен в одиночество», «Привязан к осторожности, к отсутствию друзей...»

Да, собратья по перу в последнее время редко его навещали...

Очередной звонок:

– Завтра что делаешь?

– Завтра? А что завтра?

– Как что? Десятое февраля. День рождения Пастернака. Подходи часикам к двенадцати. Сходим в его музей.

День пасмурный, слякотный. Боков в дубленке, в тяжелых зимних ботинках. Слегка поддерживаю его под руку, помогая пробираться по узкому тротуару.

– А было время, пулей летел к Пастернаку, – говорит он. – Завидев меня в окне, он тут же выбежал навстречу: «Мой лейтенант!»

– Почему лейтенант?

– На фронте-то я был лейтенантом... Голос у Пастернака был низкий, органнй. Замечательный он был поэт и человек. Очень много помог мне в жизни...

(Известен случай, когда Борис Пастернак отказался от издания своей книги в пользу книжки вернувшегося из заключения и затем реабилитированного Бокова. Немаловажный штрих во взаимоотношениях двух поэтов.)

Едва пришли в музей, Бокова тут же «оккупировали» телевизионщики. Потом мы слушали любимого Пастернаком Скрябина в исполнении студентов Гнесинки.

На прощанье Боков подарил музею свою книгу «Жизнь – радость моя». Книгу, в которой, как он говорил, собрано все самое сокровенное. Здесь же фотографии, многочисленные посвящения Бокову.

Открывает нужную страницу: *«Виктору Бокову, любимцу моему, поэту горячему, живому... Б. Пастернак. 19 августа 1953 года».*

Назад – тот же путь: по лужам, мокрому снегу. Мимо прошлестела легковушка. Пошутил:

– Это не твоя машина?

– Нет, не моя.

– И не моя, – хмыкнул он.

Подошли к калитке:

– Дальше я сам. Спасибо тебе!

– За что? – удивился я.

– За Пастернака.

Я понял, это была шутка.

Придя домой, я тут же позвонил ему: уж очень тяжело, как мне показалось, он шел.

К телефону подошла Алевтина Ивановна:

– У него температура. 38. А утром даже не сказал, что плохо себя чувствует...

В этом весь Боков.

Верность дружбе, памяти великого поэта, поэта-наставника, поэта-благодетеля – это свято. И какие тут могут быть слова о недомогании?

Боков вообще не любил жаловаться на всякого рода житейские неурядицы (а их хватало!) и уж тем более вспоминать свое «сибирское сидение» и последующую за ним душевную драму...

Вышла очередная его книга – «Повечерье». Провел рукой по обложке, задумался:

– Я за эту книгу отвечаю!

Сильно сказано. Так вправе сказать только настоящий поэт и гражданин.

Боков всегда оставался самим собой.

Менялись времена и правители, а он все пел и пел свою песню. О родной земле, о ее людях. И люди отвечали ему взаимностью. Такая безоговорочная любовь к Бокову не могла не вызывать зависть у коллег, у чиновников от литературы.

Как-то обронил в сердцах:

– Напиши, как мне не дали Государственную премию.

Я знал эту историю. Да, все необходимые документы были поданы. Но премию дали другому...

– Бог с ней, с государственной, – говорю Бокову. – Вас знает, поет вся страна, вы – народный поэт. А это выше всяких премий.

– Да? – вскинул на меня серо-зеленые глаза. – Может, ты и прав...

И глубокомысленно добавил:

– Поэзия – это подвиг сердца.

Воистину о себе сказал.

15 октября 2009 года В.Ф. Бокова не стало...

«ИДИОТЫ! СТРАНУ ПОЗОРИТЕ!»

Как поэт Евгений Евтушенко ходил в депутаты

Публика собиралась быстро, оживленная и даже несколько торжественная от осознания своей значимости: из дюжины кандидатов в депутаты ей предстояло отобрать только двоих. Самых, самых...

Это, напомним, были выборы народных депутатов СССР (февраль – март 1989 года) – первые в стране свободные выборы. Свободные – потому что, во-первых, кандидатов в депутаты можно было выдвинуть сколько угодно (право такое предоставлялось любому трудовому коллективу, любой общественной организации) и, во-вторых, альтернативные: то есть, явившись на избирательный участок и получив бюллетень с фамилиями

претендентов, каждый вправе был сам решить, за кого именно отдать свой голос. Такого прежде не было.

Так, в Ленинском избирательном округе Москвы, о котором наш разговор, на один депутатский мандат было выдвинуто 12 кандидатов – от сорока предприятий и организаций. (Вообще-то, 15 кандидатов. Трое сняли свои кандидатуры.) Но и 12 немало. Это в одном избирательном округе. А по всей Москве? А по всей стране? И чтобы не утонуть в море-океане кандидатов, было придумано так называемое «сито»: собрание избирателей или, иными словами, собрание выборщиков, задача которого состояла в том, чтобы свести число кандидатов в депутаты в каждом данном избирательном округе, как уже было сказано, к двум. Фамилии их потом вносились в окончательный бюллетень для тайного голосования.

Такое «сито»-собрание в Ленинском избирательном округе Москвы было назначено на 9 февраля. В Доме ученых.

Публика собиралась быстро, чинно выстраивалась в гардероб, потом переходила к регистрационным столикам и затем уже – в зал.

Журналисты, к коим и сам принадлежал, толкались в фойе.

И вдруг слышим, шум, выкрики у двери: «Женья!», «Женья!», «Евгений Александрович!» Над головами толпящихся возвышался и сам Евгений Александрович. Оглядываясь по сторонам, он что-то бурно объяснял вахтеру, дежурному. Я невольно покосился на гардеробщицу, мол, в чем дело.

– Иностранных журналистов не пускают, – сказала она.

– Почему?

– Наверное, пропусков нет.

А к гардеробу уже шел Евтушенко, на ходу расстегивая длинное черное пальто:

– Идиоты! Страну позорите!

Бросил пальто на стойку, сверху – такой же длинный белый шарф:

– Где тут у вас начальство? – и заспешил наверх по ступенькам.

На секунду фойе оцепенело.

– Сам идиот! – не сдержалась гардеробщица.

– И правильно, что иностранцев не пускают, – поддержал ее подошедший мужчина.

– Нечего им здесь делать, – отозвалась какая-то женщина.

– Вот именно. Это наше дело, кого и как выбирать.

Собрание (а это шестьсот выборщиков) началось с задержкой. Понятно: решался вопрос с иностранными корреспондентами: пускать или не пускать? И вот они появились. На балконе. Увидев на сцене Евтушенко (за выставленными в ряд столами он сидел с краю, справа – двенадцатый), дружно зааплодировали.

Зал недобро загудел.

«Проиграет Женьки», – мелькнула мысль.

Наверное, он и сам так подумал, почувствовав настроение зала.

Итак, 12 кандидатов на один депутатский мандат: академик ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина) А. М. Емельянов; ученый-экономист Г.Х.Попов (он потом станет мэром Москвы); доктор права В.М. Савицкий, космонавт А.А Волков...

Были здесь и директор крупного завода (имени Хруничева), и бригадир проходчиков, и рабочий-метростроитель, и научный сотрудник... Лаборант, журналист, музейщик, поэт.

Действо первое: представление кандидатами своей предвыборной программы. У большинства из них это были общие, уже набившие оскомину тезисы (в блокнот загляну, однако): упразднение льгот и привилегий для должностных лиц, сокращение военного бюджета, прекращение помощи развивающимся государствам, разработка долгосрочной экологической программы (каждому предприятию экологический паспорт), отмена смертной казни, контрактная служба в армии и сокращение сроков самой службы...

Такие тогда были настроения в обществе.

Евтушенко нервничал. Ерзал на стуле, вертел головой, раз за разом подливал в стакан воды, отпивал глоток, вытирая губы то одной, то другой рукой, что-то записывал, потом поднимался и как бы незаметно (благо сидел с краю) уходил за кулисы. Возвращался и снова что-то записывал.

А с трибуны звучало: «Я буду добиваться с позиции рабочего: запретить тяжелый труд для женщин, сократить для женщин

рабочее время», – выступление метростроевца. Мысль, в общем-то, верная. Но дальше: «Расширить права союзных республик». Откуда такое в устах рабочего? Явно вписали ему.

Звучало и сугубо московское: вывод «грязных» предприятий за МКАД, отмена московской прописки (важен человек, а не штамп в паспорте), сохранение статуса лимитчиков (без лимитчиков Метрострою никак нельзя), снижение платы за посещение музеев... Как будто вопросы эти должны были решать народные депутаты СССР? И как будто это не компетенция Моссовета? Похоже, многие кандидаты и сами толком не понимали, что от них требовалось.

На этом фоне выгодно отличались предвыборные установки академика А.М. Емельянова («Сельское хозяйство могут спасти только фермерские хозяйства»), экономиста-ученого Г.Х. Попова («Нужен альтернативный, народный вариант перестройки, суть которого в демократизации всех жизненных сфер»).

Евтушенко снова куда-то отлучился – позвонить, покурить?

На ура восприняли программу юриста-правоведа В.М. Савицкого. Но и начал он подкупающе: «Если вы мне доверите... Я готов взяться за разработку новых законов. По защите прав и свобод человека – это самый большой наш дефицит, – по обеспечению открытости в деятельности всех органов власти – каждый гражданин должен знать, кем и как управляется его государство. По признанию независимости судов, презумпции невиновности – любой задержанный вправе потребовать себе адвоката...»

Говорил он горячо, убедительно.

Евтушенко выступал последним (видимо, так выпало по жребию), и, надо сказать, тезисы его были весьма актуальны. В обобщенном виде он так их обозначил: «К достоинству страны – через



достоинство каждого. Никто не должен быть преследуемым за плюрализм мнений. Оградить личную и семейную жизнь от вторжения в нее профсоюзных и прочих организаций. Прекратить давление на прессу и суд со стороны партийных и государственных органов. Ввести в действие правовую ответственность за оскорбления, задевающие национальное самосознание. Всем желающим выдать постоянные загранпаспорта...»

Насчет постоянных загранпаспортов он явно погорячился, а во всем остальном – в точку.

Действо второе: ответы на вопросы. Для зала это была самая лакомая часть собрания, и сущее испытание – для находящихся на сцене кандидатов, ведь что ни вопрос, то подковырка: «Кто вы есть такие? Зачем идете в депутаты? Как будто и впрямь что-то сможете изменить?»

Некоторые вопросы вообще были дурацкие. Так, космонавта А.А. Волкова спросили: «Это правда, что вам предоставили шикарную квартиру?» Он не растерялся: «А что, я должен был отказаться?»

«Есть ли у вас служебная машина?» – вопрос Гавриилу Попову. «Есть, – сказал он. – Но езжу на своей».

А директору крупного завода (имени Хруничева) прямо сказали: «Верховый Совет – не завод. Тут требуется другое мышление, другие методы работы».

Но больше всего досталось Евтушенко:

– Назовите вашу настоящую фамилию.

А то не знали. Наверняка еще накануне выяснили: Гангнус.

– Сколько раз вы были женаты?

И это наверняка знали.

– А правда, что у вас была жена-иностранка?

– Да, – подтвердил он.

– Почему вас выдвинули какие-то угольщики?

– Не какие-то угольщики, – парировал он, – а люди самой трудной профессии. Трудяги.

– Зачем вы создали общество «Меморила»?

– «Мемориал» – это историко-просветительское общество. Его задача – увековечение памяти жертв политических репрессий в СССР. Я являюсь сопредседателем общества.

Отвечал резко, раздраженно, раскрасневшись.

– Пусть пироги печет пирожник, а стихи сочиняет поэт, – выкрик из зала.

Прозвучало как приговор.

Евтушенко снял очки, прошелся взглядом по залу и, молча, отправился на свое место. Честно, даже стало жаль его.

И тут к трибуне прорвался кто-то из его доверенных лиц:

– Друзья, сегодня у Евгения Александровича сын родился. Давайте же поздравим его!

Так вот почему Евтушенко, – подумалось мне, – то и дело отлучался: чтобы справиться о здоровье жены, новорожденного.

Редкие, сдержанные аплодисменты.

Но сенсация есть сенсация. И наверняка какое-то время ее придерживали и выдали только теперь, чтобы, как говорится, переломить ситуацию.

«Поздравляем!», Молодец!» – из группы поддержки.

Не помогло.

При подсчете бюллетеней (а голосование затянулось далеко за полночь) лидерами в списке кандидатов в депутаты СССР по Ленинскому избирательному округу столицы оказались академик А.М. Емельянов и юрист В.М. Савицкий. Забегая вперед, скажу, что по итогам окончательного голосования в Ленинском избирательном округе, в День выборов, победит Емельянов. Он и станет народным депутатом СССР.

Но вернусь к собранию выборщиков. По сумме набранных голосов Евтушенко оказался четвертым. А мог быть и пятым. Дело в том, что перед самым голосованием Гавриил Попов снял свою кандидатуру, объяснив это тем, что выдвинут он еще и по другому избирательному округу, в Воронеже.

Зал зароптал:

– Что же голову морочил? Почему раньше не сказал?

– Я только сейчас принял такое решение. А здесь есть другие достойные.

Интрига? Конечно. Гавриил Попов, явно уверенный в своей победе, потому только сейчас, перед самым голосованием, сообщил о своем намерении баллотироваться в другом городе, чтобы дать возможность следующему за ним претенденту здесь,

в Ленинском избирательном округе Москвы, подняться на заветную ступеньку. Возможно, имел в виду Евтушенко.

Не вышло.

Но Евтушенко не был бы Евтушенко. Уже на следующий день отправился он в Харькове, где неоднократно бывал, где у него было много почитателей, и где он читал стихи на главной площади. Собственно, позвали его. Члены харьковского общества «Мемориал». Мемориальцы и выдвинули его кандидатом в народные депутаты СССР по одному из избирательных округов города. И он победил, набрав гораздо больше голосов, чем ближайший его соперник.

25 мая 1989 года в Кремлевском дворце съездов открылся 1-й Съезд народных депутатов СССР (число их зашкаливало за две тысячи). В кулуарах я увидел Евтушенко, он – в вышиванке, как всегда, напряженно-сосредоточенный. Я подошел к нему, поздравил с победой, подал руку. Он подал свою, никакую.

Здесь же, в кулуарах, можно было видеть и ухмыляющегося Гавриила Попова в окружении жизнерадостных единомышленников...

ЗНАКИ ТАМБОВА

– Да вы приезжайте в мастерскую, там и поговорим, – предложил Михаил Иванович. – Остановка «Дом художника». Я встречу.

В самом деле, где, как не в мастерской скульптора, лучше всего поговорить со скульптором.

Волк

Дорога недолгая. Прямо-прямо по улице Советской, главной улице Тамбова – по которой, кстати, я уже успел побродить.

Слева – да, Парк культуры и отдыха. Простирается он до самой набережной Цны. Набережная эта яркая, цветастая, и ею по праву гордятся здесь.

Справа – на высоком постаменте бюст Гавриила Державина, поэта, первого губернского наместника Тамбовского края. Говорят, он активно боролся со взяточничеством. Сам же был и обвинен в оном. Как потом оказалось, ложно. Завистники и клеветники всегда были...

Далее музей Георгия Чичерина, первого советского наркома иностранных дел. Это во многом благодаря его усилиям Советская Россия за довольно короткий срок была признана многими европейскими и азиатскими странами (знаменитая речь его на Генуэзской конференции в мае 1922 года).

А вот и старинное с колоннами здание университета, носящее имя того же Державина. Изначально здесь располагался Институт благородных девиц. И именно здесь сегодня в фойе высится скульптура этой самой благородной девицы. Автор скульптуры Михаил Иванович Салычев, заслуженный художник Российской Федерации.

К нему и еду.

В джинсах, в вылинявшей футболке, заросший – скульптор.

– И каким ветром к нам? – крепкое рукопожатие.

Я отшутился:

– Мальчик хочет в Тамбов...

– А-а-а, песенка такая, – усмехнулся, – Какая-то никакая она. Ни о чем... А это наш Дом художника, – указал на трехэтажное здание. – На первом этаже – Выставочный зал, выше – мастерские.

Что есть такое мастерская скульптора? Высоченные потолки, сплошные окна и множество фигур из глины, гипса, дерева. Эскизы, как говорит Салычев. Подлинники многих из них – скульптурные портреты, композиции – установлены в Тамбове, в других городах и регионах.

– Вот копия памятника Зое Космодемьянской. Установлен памятник в селе Осино-Гай, где она родилась и где прошли ее детские годы и частично юношеские. Я не стал изображать ее с винтовкой и прочим боевым атрибутом. Здесь она просто хрупкая девушка, какой ее запомнили местные жители в предвоенную пору.

Рассказывает торопливо, сбивчиво. Могу представить, как дорога ему каждая из этих работ. Невольно перевожу взгляд на его руки: сухие, длинные, выбеленные пальцы. Руки творца.

– А это эскиз памятника «Солдатам правопорядка». Видите, через разрыв круга, по обеим сторонам которого начертаны фамилии погибших, улетают голуби, словно души их. Эх, – вздохнул, – каждый раз, проходя мимо скульптуры, установлена она на Первомайской площади, ловлю себя на мысли, что надо было резче разорвать этот круг и вообще перекосить его, как изгибают иногда подкову. Это прибавило бы драматизма скульптуре. Но... Дело сделано.

«Странно, – подумал я, – автор критикует свою же работу. Одобренную и уже признанную. Это ли не знак извечной неудовлетворенности мастера сделанным, неумемного стремления к лучшему, большему.

– А вот и мой волк, – продолжает Михаил Иванович. – Тоже уменьшенная копия. Я вообще первый кто, создал скульптуру тамбовского волка. В 1992 году.



Еще удивлялся, почему раньше никто из собратьев не удосужился увековечить символ земли здешней. Ведь фраза «Тамбовский волк» давно на слуху.

– И что она означает?

– Да разное толкуют. Дескать, в давние времена сюда, в Тамбов, а место здесь было гиблое, болотистое,

устремлялись беглые крестьяне, каторжане, те же разбойники. Обустраивались, обзаводились хозяйством. Труд их был очень тяжел. Жили обособленно. Их так и прозвали: волки.

– Тамбовский волк тебе товарищ.

– Это уже из фильма. И тоже прижилось... Так вот, скульптура моя из дерева: волк-то – лесной житель. В полтора метра. Я назвал ее «Вой». Видите: волк воющий. И это символично. Тогда, в конце 80-х, начале 90-х вся страна чуть ли не выла от нагрянувшего на нее разорения, обнищания. Скульптура была выставлена на областной художественной выставке и, как говорится, имела большой успех. Потом ее увезли в Москву, на всероссийскую

выставку, правда, уже под другим названием: «Тамбовский волк. Вой!». И снова тот же успех. Скульптуру купило Министерство культуры России. И следы ее потерялись. Где она сейчас? В каком музее? Не знаю. Может, в частной коллекции.

– Все может быть... В Тамбове сейчас, как мне говорили, несколько памятников волка.

– Да. У въезда в город, на площади, в каких-то домовладениях... Не сосчитать. В разных позах. Есть и воющий волк. Но это уже не мой волк.

– Волк на футболках, на сувенирной продукции... Своего рода бренд земли тамбовской. И вы его родоначальник.

– Приятно, конечно. И все же хотелось бы знать, где тот самый мой волк. Скупаю по нему...

Благородная девица

Я уже говорил, что в историческом здании тамбовского университета, где изначально располагался Институт благородных девиц (почти два века тому назад), висится скульптура этой самой воспитанницы. Форменное институтское платье, сосредоточенное лицо. В одной руке у нее свиток с цитатой из Державина «Науки постигай и будь России верен». В другой – пчелиный улей, герб Тамбова. Хорошая, удачная скульптура.

– Михаил Иванович, как шла работа над скульптурой? Знаю, позировала вам Ольга Рыбина, аспирантка.

Вскинул на меня удивленные глаза:

– И об этом знаете?

– Да, побывал там. И даже сфотографировался с ней, в смысле со скульптурой.

Улыбнулся:



– Это одна из любимых моих работа. Да нормально шла работа. Главное, угадал в Ольге нужный образ. Там ведь проходил конкурс или кастинг, как сейчас говорят. Передали мне с десяток фотографий девушек – в профиль, анфас, в полный рост. Нет, не то. Попросил еще фоток, а лучше – собрать девушек вместе. Сам и выберу. Так и сделали. И, действительно, едва вошел в зал, тут же указал на Ольгу Рыбину: вот она. Высокая, стройная, мягкий овал лица, правильные черты.

– Совсем дворяночка.

Ухмыльнулся:

– Зачем так? Из обычной семьи. А вот в Институте благородных девиц – да, обучались дочери дворян, как правило, обедневших дворян, и обучение оплачивала казна. Это было закрытое заведение. Воспитанницам даже в город запрещалось выходить. Как и посещение их родителями, родственниками.

– Ну это уж слишком.

– Правила такие были. Но обучение было широкое: арифметика, словесность, история, география, иностранные языки... Для девушек того времени это был большой прогресс.

– Это точно. А самой Ольге Рыбиной скульптура понравилась?

– Понравилась. Конечно.

– По сути, вы увековечили ее.

– В общем, да.

– А как сложилась судьба Ольги? Минуло ведь немало лет, скульптура установлена в 2011 году.

– Все хорошо у Ольги. Я ведь поддерживаю с ней связь. Окончила аспирантуру, защитилась. Некоторое время работала в Тамбове. В какой-то компании. Точно не знаю. У нее ведь экономическое образование. Сейчас – в Москве. Работает в министерстве финансов.

– Нормально! Муж, дети.

– Да, замужем. Двое детей.

– В Тамбове бывает?

– Очень редко. Все больше в Моршанске. Там у нее родители. Да сами и позвоните ей.

– Хорошо! Спасибо! Обязательно позвоню. Уже из Москвы. Только предупредите ее.

– Разумеется.

Да, спустя неделю или полторы я позвонил Ольге. Представился.

– А-а, знаю, – звонкий, приветливый голос, – Здравствуйте! Михаил Иванович говорил о вас.

– Оля, два вопроса. Вас выбрали моделью для скульптуры благородной девицы. Как вы ощущали себя в ее образе?

– Конечно же, мне было приятно, что выбрали меня. Что тут скрывать? А как ощущала себя? – секунду помедлила. – Подержавински: «Науки постигай и будь России верен».

– Хороший ответ. И второй вопрос. Дети уже видели вас, запечатленную в скульптуре?

– Нет пока. Еще маленькие. Пусть подрастут. Тогда и покажу. Вот, дескать, какой была ваша мама пятнадцать, двадцать лет тому назад.

– И они скажут: мама, ты ничуть не изменилась, такая же молодая и красивая.

И я почувствовал, как она улыбнулась...

Мальчик не хочет в Тамбов

Это от обратного. На самом же деле речь все о той же песенке «Мальчик хочет в Тамбов». Зачем, почему он хочет в Тамбов? Кто-то ждет его там? Или он скучает по кому-то? Не понятно. И еще это «мальчик»...

Песенка, если уж быть точным – перепев с португальского: двое влюбленных, сидя на берегу океана, любуются закатом. И в их честь бьют барабаны: «Громче бейте в барабаны!» – дословно. Барабан по-португальски – tambor. Вот наши продюсеры-песенники и зацепились за это tambor, такое созвучное слову «Тамбов». Добавили у текст мальчика, пристегнули веселенькое «чики-чики-чики-чикитан». И вся песенка.

Но ритм, конечно, зажигательный.

Да, это был хит девяностых. «Мальчик хочет в Тамбов» звучало повсюду: из динамиков, с экранов телевизоров, эстрадных подмостков. Уж в Тамбове-то точно. И решил поспрошать горожан,

помнят ли, знают ли они эту песенку, и каково их мнение о ней? Для этого отправился на улицу Коммунальную, пешеходную – Тамбовский Арбат, как ее называют. Здесь всегда многолюдно.

– Нормальная песенка, – тут же в ответ. – Она и сегодня звучит. В ресторанах, на дискотеках. В День города – обязательно.

– Но почему, зачем мальчик хочет в Тамбов? – спрашиваю. – Кто-то его ждет что ли?

– Какое это имеет значение? Хочет и все. Песня-то шуточная.

– Под нее танцевать классно! – смеясь, добавили парень и девушка, обнимаясь.

Я продолжал гнуть свое, дескать, песня в какой-то мере даже принимает Тамбов. Что значит: не летят туда самолеты и не едут даже поезда? Хотя поезда не ездят, а ходят.

– Не придирайтесь к словам, – голос слева.

– Просто в данный конкретный момент не летят, не едут, – голос справа. – Что тут непонятного?

– Наоборот, – заметила подошедшая женщина, – мы должны быть благодарны певцу Мурату Насырову, к сожалению, рано ушедшего из жизни, за то, что прославил наш город на всю страну.

– Да что на всю страну? На весь мир! – воскликнул мужчина с бородкой. – Жаль, что Насыров не побывал в Тамбове. Как бы его встречали!..

Вот такие тамбовские суждения. Я заметил, что прославили Тамбов многие другие личности – политики, ученые, военачальники. А с поэтической точки зрения – Лермонтов. Своей поэмой «Тамбовская казначейша», в которой первым поведал просвещенной России о Тамбове (кружочек на карте), о быте, укладе жизни тамбовчан.

– Казначейша? – оживились мои собеседники. – Да вон она!

Массивная, из бронзы. Облокотившись на спинку стула, она буквально вываливала из корсета свои огромные груди. Что-то гротескное. И вообще, ав-



тор скульптуры определенно погрешил: лермонтовская героиня совсем юная – осьмнадцати лет. Здесь же – на все сорок тянет.

Опять-таки сказал об этом собеседникам. Возмутились:

– У нас на Тамбове все бабы грудастые...

А вечером со знакомым журналистом отправился в загородный ресторан. Зал был занят – свадьба, поэтому устроились на веранде. Даже лучше: на свежем воздухе. Правда, оглушали ревущие колонки.

И сюда же, на веранду, то и дело выходили участники торжества – потанцевать. Особо выделялась группа парней: в шортах (и это на свадьбе!), быстро захмелевшие, крупноногие (и черти что ими выделявали), крупнорукие, потные. Один из парней в порыве эмоций сорвал с себя футболку и куда-то швырнул ее. Другие, заложив пальцы в рот, стали отчаянно свистеть. А по окончании танца, вскинув руки, прокричали «Тамбов!», «Тамбов!»

Я вопросительно покосился на своего знакомого.

Он лишь пожал плечами.

Нет, мальчик не хочет в Тамбов...

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАМЕТКИ

Пассажиры буквально вываливались из вагонов и, поправляя рюкзачки и гремя чемоданами-каталками, устремлялись вперед.

Второй поворот направо

Мы с моей спутницей тоже ускорили шаг: в гостиницу, бросить вещички.

Гостиницу заказали недорогую и поближе к вокзалу (чтобы и уезжать было удобно), на улице Советской. Это, на карте, где-то рядом. И все же на всякий случай, заметив на платформе женщину в синей форменной куртке (РЖД), спросил у нее, как пройти, проехать на улицу Советскую. И вот первая странность.

– Там, – махнула она рукой по направлению платформы, – спросите у мужчины.

Где там? У какого мужчины?

Спутница моя Ольга смешливо покосилась на меня:

– Да не знает она. Разве не видишь? Таджичка или молдаванка.

– Разве? – зачем-то удивился я, оглядываясь.

– На Советскую? – как из-под земли возник тучный мужчина, вращая брелком-ключами.

– Сколько? – спрашиваю я, просто для интереса.

– Тысяча.

– Ну нет! – почти выкрикнули мы и продолжили свой шаг.

И тут слышим сзади:

– Восемьсот, – это уже другой бомбила.

– Нет, – смеемся мы.

Он не отстает:

– Семьсот, шестьсот...

– Еще десять шагом и скажешь пятьсот, – говорю ему.

Он недовольно ретировался.

Что сказать? Бомбилы, они и в Питере бомбилы. Тут же вычисляют иногородних и буквально навязывают им свои кабальные услуги. И именно такого рода дельцы, как это ни прискорбно, создают у гостей города первое впечатление о нем. И неважно, Санкт-Петербург это или Москва, Воронеж или Екатеринбург...

На выходе с платформы, у арки, огляделись. Ну и где тот мужчина? Может, просто полицейский? Да вот он, молоденький, белолицый. К нему и обратились.

– Это за светофором, второй поворот направо, – показал он.

– Так близко? – обрадовались мы.

Утро чистое, солнечное – майское.

Пешком

Всякий раз, прибывая в Петербург (а прежде в Ленинград), считал для себя просто необходимым: по Невскому – пешком. Чтобы хотя бы на тысячную долю прочувствовать, как мучительно пробивалась эта перспективная дорога – через топи и болота.

От нее, первоначальной, конечно же, ничего не осталось, разве что так называемая красная линия, по которой надлежало выставлять фасады уже новых, каменных домов.

Нынешний Невский – детище в основном XIX века. Прямой, как стрела, и громоздкий, как... горный хребет. Дома-комоды. Один к одному, плотно, каменно. Впечатление строгости, твердости и даже упрямства. Уж как есть, становой хребет!

Перебираемся с одной стороны проспекта на другую и – обратно (пешеходные переходы здесь в основном наземные), осторожно переступая через явные проступающие колеи-вмятины. Да-а... И ни деревца обочь. И вчитываемся в мемориальные таблички. Аничков дворец. Один из старейших романовских дворцов. Кстати, какое-то время проживал в нем поэт Василий Жуковский, учитель цесаревича Александра, будущего императора Александра II. Ныне здесь Дворец творчества юных.

Дома Демидовых, Строгоновых, Чаплиных, Энгельгардтов... В общем, что ни дом, то именной: промышленник, банкир, купец, генерал, генеральша. И денег не жалели на их сооружение, приглашая лучших архитекторов Европы. Барокко, ампир, классицизм... Многие из домов потом перекупались, перестраивались...



Впереди огромный стеклянный глобус на крыше массивного здания – рекламный знак американской компании швейных машинок

«Зингер». Теперь это Дом книги. Вот такой поворот. Как и с тем же магазином братьев Елисеевых. Ныне здесь Театр комедии. Дальше...

– Гляди! – воскликнула Ольга. – Литературное кафе. То, что надо!

Дело в том, что еще в Москве договорились с ней: сразу же по приезду в Питер присмотреть кафешку, тихую, уютную, чтобы отметить День ее рождения. Это – завтра. Но побеспокоиться ре-

шили заранее. Собственно в этом – День рождения в Питере – и состоял высокий смысл нашего путешествия.

– Литературное кафе? – продолжаю всматриваться в едва приметную вывеску на фасаде желтого четырехэтажного здания, что напротив. Как-то прежде не замечал. – Но выше, – показываю, – на фронтоне смотри: Вольф и Беранже.

– Ну и?

– Вот тебе и «Ну и».

– Не дразнись, – усмехнулась, – Лучше скажи. Что-то связанное с Пушкиным?

– Конечно. Это имена владельцев популярной в Петербурге в начале девятнадцатого века кондитерской, в которую захаживал



и Пушкин. Реконструировали, значит. Ну-ка подойдем.

Белые колонны, чугунная кованая калитка и тут же в рамке под стеклом: «По этим ступеням великий русский поэт Александр Пушкин входил в кондитерскую Вольфа и Беранже» – на русском и английском.

Входил... Поднимался! Тоже еще грамотеи!

Вообще от дома, где Пушкин арендовал квартиру (на Набережной Мойки) до кондитерской совсем недалеко – пешком ходил.

В дверях показался официант (хотя кафе еще не работало – с одиннадцати) – белоснежная сорочка, черный жилет:

– Да, по этим ступеням, – подтвердил он. – И ожидал здесь Дансаса, своего секунданта. И вместе поехали на место дуэли.

Сказал как-то просто, обыденно. Даже обидно за него стало: неужто и в самом деле не осознает всей горечи той роковой для Пушкина поездки?

– А столик заказать можно? – спросила Ольга.

– Да, конечно.

– На завтра, – уточнила она. – Часиков на девять вечера.

– Конечно, – и протянул визитку.

– Спасибо!

Дальше шли молча, понимая, что думаем об одном и том же.

– Вообще, – прервал я молчание, – в тот день, 27 января, Пушкин встречался с Данзасом дважды. Сперва на улице. Пушкин ехал в санях. Возвращался как раз с квартиры знакомого офицера, которого и хотел попросить стать его секундантом, но того на месте не оказалось. И тут – Данзас. Данзас согласился, и Пушкин отвез его во французское посольство к секунданту Дантеса д-Аршиаку. И уже потом встретились они, Данзас и Пушкин, в кондитерской. Тот привез закрепленные на бумаге условия дуэли и два дуэльных пистолета. И заказал парные сани. То есть на двоих...

– Но Данзас мог отказаться. Или как-то расстроить дуэль.

– Отказаться? Нет, не мог. Пушкин – собрат его по лицу, знаменитый поэт. И если уж обратился к нему с просьбой, то не выполнить ее Данзас, просто не мог. Для него, боевого офицера, это было делом чести: в роковой для Пушкина день, когда против того ополчился весь высший свет, быть рядом. А расстроить дуэль? Этого уже никто не мог...

Петербург – город Пушкина. Он же его и погубил.

«Я поведу тебя в Лицей!»

И еще Петербург – город зазывал. Тут и сям возникают они с кричащими трафаретками: Петергоф, Царское Село, Павловск, Кронштадт... Зазывалы в основном женщины, средних лет, с загорелыми и обветренными лицами, как и те же женщины-гиды. Могу предположить, что для петербуржек это самые ходовые профессии, и чуть ли не каждая третья или четвертая из них – работник экскурсбюро.

В нашей группе гид был мужчина – Геннадий. Знающий! Об истории Петербурга, о Царском Селе, куда мы и направлялись, рассказывал живо, интересно, то есть не нудно и тускло, как это иногда бывает, когда экскурсовод тарабанит без умолку и буквально подавляет тебя информацией. Этот же разбавлял свое повествование байками, легендами. Еще и интересовался время от времени: «Вы там не уснули?».

И продолжал. Про столбового поручика. Расстояние от Петербурга до Царского села (прежнее название его Царская мыза, хутор, который Петр I подарил будущей своей супруге Екатерине), как известно, немалое. Верст под сорок. Дорога была ужасная: разбитая, размытая. А депеши-то доставлять надо было. И срочно. Так вот один из таких курьеров домчал из Питера до мызы за полтора часа. Несся он так, что шпага его едва успевала отстукивать верстовые столбы. Его потом так и прозвали: столбовой поручик...

Много еще чего рассказывал наш гид Геннадий – и про императорскую семью, и про фаворитов и фавориток и вдруг спросил:

– Москвичи здесь есть?

– Есть! – раздалась голоса.

– Москва – лучший город на свете! – торжественно произнес он и добавил: – после Санкт-Петербурга, – и наверняка там, на переднем своем сидении ехидно заулыбался.

Ладно, простим его. Известно, питерцы отчаянные патриоты своего города и за всякий поребрик готовы горой стоять.

В Царском Селе мы посмотрим Екатерининский дворец (конечно же, Растрелли). А вот Царскосельский лицей, в котором учился Пушкин (и который рядом, во флигеле), в план экскурсии почему-то не входил. Поэтому Геннадия мы предупредили, что сократим свой осмотр Дворца (до Янтарной комнаты не далее) и рванем в Лицее. Он не возражал:

– Только не опоздайте на автобус. Отправляемся в восемнадцать.

Так и сделали. Да и, честно, поднадоела вся эта пышность, роскошь. Представить только: столы накрывали более чем с 50 предметами (серебро, хрусталь, фарфор) на персону!

– Я поведу тебя в Лицей! – сказал я моей спутнице Ольге.

Экскурсионных групп в Лицее уже не было, но кассы еще работали. Так что оказались мы, по сути, последними его посетителями. И это даже радовало: спокойно, в тишине пройдемся по этажам, все посмотрим.

И (да! да!) почудились голоса – звонкие, совсем ребячьи. Смех, топот. Выкрики: «Кюхля!» (Кюхельбекер), «Ленивец сонный!» (Это – Дельвиг. Действительно был он полноват и неуклюж.), «Егоза!» (Пушкин)... И еще – визг рапир, звон сабель.

Лицейсты любили фехтование. Пушкин – в особенности. В оценочном аттестате его в графе «фехтование» значилось: «превосходно». Занятия проводились в Большом зале на втором этаже.

И в этом же зале проходили так называемые переводные экзамены. На один из таких экзаменов (по российской словесности) приехал литературный метр, поэт Гавриил Державин. По условиям экзамена каждый лицеист должен был прочитать свое сочинение. Известно, Пушкина читал „Воспоминания в Царском Селе». Также известно, что Державин был потрясен стихами юного Пушкина, потянулся к нему с объятиями, но тот убежал. Искали его и не могли найти. «Оставьте его поэтом», – сказал Державин. И, по сути, благословил Пушкина на поэтический полет...

Полукругом ряды парт.

– А Пушкин за какой партией сидел? – спросила Ольга.

– Чаще всего за последней, то есть в последнем ряду. В первом ряду усаживали отличившихся. Правда, Пушкин тоже попадал в первый ряд. Это когда касалось его познаний в русской словесности и французском. Тут равных ему не было.

Заглянули (через смотровые окошки) и в комнаты лицеистов: железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания...

– Совсем аскетично, – заметила Ольга. – И, наверное, очень холодные были эти-кельи-комнаты.

– Почему ты так думаешь?

– В каждой-то камин не установишь.

– Это да, – рассмеялся я. – Только женщине могло прийти такое в голову. Ну, спроси вон у смотрительницы.

– И спрошу! – улыбнулась зелеными глазами.

Подошла к смотрительнице, та стала что-то говорить ей, и тут, стуча каблуками, появилась высокая сухощавая женщина, наверное, начальница:

– Сколько раз говорить вам? Я вас предупреждала, – и, резко развернувшись, удалилась.

Что такое? В чем дело?

Смотрительница тихо объяснила:

– Понимаете, нам, зрителям, запрещено общаться с туристами.

- Почему?
- Потому что общаться с туристами может только экскурсовод, его и должны заказывать. Когда наберется группа
- Понятно. Деньги!
- Ну да.

Свеча сверкала на столе...

Автобус уже ждал нас.

Я все-таки не удержался, рассказал гиду Геннадию об инциденте в Лицее. Он вполне спокойно объяснил, что да, тетушкам-смотрителям не дозволено вступать в разговоры с туристами. Мало ли что могут наговорить. «У нас, гидов, специальная подготовка, лицензия...» Я возразил: «Смотрительница тоже может быть знающей, наслышанной от тех же гидов. И что? Нельзя ответить на элементарный вопрос?» «Нельзя!»

Понятно.

В Литературное кафе прибыли вовремя.

Крохотная гардеробная, напротив – сидящий за столиком, накрытым зеленой скатертью, Пушкин (восковая фигура). Темно бордовый сюртук, жилетка, белая рубашка, шарф. Правда, лицо излишне зачернено, да и парик чрезмерно большой. В общем, узнаваемый. Чернильница, исписанный лист бумаги...

Девушка-администратор провела нас (мягкая ковровая дорожка) на второй этаж:

- Пожалуйста, ваш столик.
- Спасибо!

Тут же подошел официант. Заказали по скромному. Главное – шампанское.

– У подруги День рождения! – уточнил я. – Вот решили отметить у вас.

– И правильно сделали, – понимающе улыбнулся он.

Ольга, когда официант удалился, спросила:

- Зачем ты сказал?
- Как зачем? Чтобы лучше обслуживал нас.
- Да? – усмехнулась она.

Темно-бордовые обои. Портреты поэтов, писателей пушкинской и послепушкинской поры, самого Пушкина. Тяжелые темно-бордовые гардины, тяжелая мебель.

В зале – в основном пожилые и среднего возраста. Некоторые пришли семьями – с детьми. И музыка. Фортепьянная. Попурри известных композиций: Раймонд Паулс, Таревердиев, Пахмутова. Звуки легко выскакивали из-под пальцев грузного, лысоватого пианиста, время от времени вскидывающего взгляд на публику.

Потом появилась певица, худенькая, в черном платье с короткими рукавами и с большим ртом, что, как казалось, никак не соответствовало ее слабенькому, приглушенному голосу. (Уставший голос уставшей певицы.)

Исполняла она песни советских лет: *«Ландыши, ландыши, светлого мая привет!..»*, *«А у нас во дворе есть девчонка одна...»*

И тут обратилась к залу:

– Москвичи есть здесь?

Мы с Ольгой переглянулись: это уже слышали сегодня.

– Есть! – отозвались некоторые, поднимая руку.

Я тоже поднял, предвкушая нечто вроде сюрприза, музыкального сюрприза.

Певичка загадочно улыбнулась:

– А знаете, что песня «Подмосковные вечера» первоначально называлась «Ленинградские вечера?»

Повисла небольшая пауза.

– Написал ее наш земляк, – довольно продолжила она, – композитор Соловьев-Седой. В Москве как раз проходила какая-то спартакиада, и готовился фильм о ней. К фильму нужна была песня. Вот и взяли «Ленинградские вечера», переименовав их в подмосковные, – и, переждав вступительные аккорды, хрипловато запела: *«Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги Ленинградские вечера...»*

Уколола все же! Нет уж, песня эта, ставшая поистине мировым шлягером, была, есть и будет московской, пусть речь и идет в ней о Подмоскowie, которое, кстати, давно уже стало Москвой. Да и нет уже такого города – Ленинград. Есть Санкт-Петербург. Да и какие в нем сады? – продолжал я мысленно возмущаться. – Разве что Летний сад? Так там одни дубы да осины. Москва же

всегда славились своими садами и бульварами, не говоря уже о Подмоскowie.

А сюрприз все же был. Та же певичка, снова появившись у рояля вместе с аккомпаниатором (оба ненадолго удалялись за закулисный столик), обводя взглядом собравшихся, объявила:

– Здесь, в зале присутствует женщина, у которой сегодня День рождения. Давайте же поздравим ее!

Я легонько толкнул мою спутницу Ольгу:

– Это тебя.

Поднялась (явно не ожидала такого), сияя, повернулась в одну, другую сторону.

А к столику уже шел официант со сверкающей свечой-фейерверком на подносе. Зал еще более зааплодировал.

Я тоже поднялся. И уже вместе поблагодарили публику.

Где-то после десяти вечера засобирались на выход. Да и не мы одни, зал потихоньку редел. Внизу, за столиком все тот же Пушкин. Правда, прибавился фужер красного вина.

– Видишь, и он – за твое здоровье! – сказал я Ольге.

– Шутишь, – улыбнулась она...

Невский сиял огнями.

МОСКОВСКИЙ СОКОЛ

Есть в Москве такой поселок – Сокол. Даже не все москвичи знают о его существовании. И немудрено. Поселок словно затерялся среди многоэтажек Волоколамского шоссе, Песчаной улицы, улицы Алабяна... А если и слыхивали о таком, то называют его не иначе как поселком художников, что, в общем-то, большое преувеличение.

Дело в том...

Да, в поселке проживали художники. Некоторые из их последователей и сейчас там проживают. Но это вовсе не повод называть поселок Сокол поселком художников. Основу его застройщиков

все же составляли научные, технические работники, вузовские преподаватели, служащие наркоматов. Отчего же тогда?

Дело в том, что первоначально улицы поселка назывались весьма прозаично: Большая, Школьная, Вокзальная, Столовая и т.п. Скучно! И тогда художник-график П. Павлинов, один из проектировщиков и застройщиков поселка, предложил переименовать их, а именно: дать им имена великих русских художников. Соколяне поддержали эту идею, и вскоре на указателях появилось: Улица Сурикова (Поленова, Левитана, Брюллова, Васнецова, Шишкина, Кипренского...) – всего 14 улиц. 14 великих имен! Кстати, одна из улиц здесь, да и во всей Москве, самая короткая – улица Венецианова: 48 метров. Это два стоящих напротив друг друга коттеджа, которые как бы растворяются в густой зелени садов. На этом – «самая короткая улица» – в прежние времена, как рассказывают, и «поддавливала» таксистов на экзамене по знанию московских улиц...

Словом, народная молва окрестила поселок Сокол поселком художников. Но, как видим, это не совсем так. Он, скорее – дань памяти столпам отечественной живописи.

Теперь о названии поселка? (Уж точно не по названию станции метро Сокол, что рядом; станция появится гораздо позже). И тут своя метаморфоза. Строить поселок предполагалось в Сокольниках, в московской Швейцарии, как тогда называли этот окраинный район столицы. Однако изыскательские работы показали, что почва здесь для малоэтажного деревянного строительства (а именно таковым задумывался поселок) непригодна. Стали подбирать другой участок. Выбор пал на северо-восточную окраину Москвы. Здесь, между селом Всехсвятским (от названия храма Церковь Всех Святых, что и ныне возвышается на Песчаной площади) и станцией Серебряный бор Московской окружной железной дороги и развернулись работы. На месте, добавляю, пострадавшей от бурелома рощи. А поскольку к этому времени уже была изготовлена какая-то документация, и имелся и штамп товарищества, название его не стали кардинально менять, а лишь подсократили. И получилось – Сокол.

Как вообще возникла идея создания поселка, уникального по своей архитектуре и среде обитания?

Замысел

Родилась идея так. К началу 20-х годов минувшего столетия Москва буквально задыхалась от перенаселения. Где брать жилье? Денег на его строительство у новой власти не было. Их недоставало даже на содержание имеющегося жилья. Причем, такая ситуация складывалась не только в Москве, а повсеместно.

И тогда 8 августа 1921 года В.И. Ленин подписывает декрет о кооперативном жилищном строительстве. Суть его: те, у кого есть достаточно средств – рабочие, специалисты, научная, творческая интеллигенция – могут строить жилье сами.

В Москве как раз велась разработка генерального плана ее развития. Возглавили работу архитекторы И. Жолтовский и А. Щусев. План так и назывался: «Новая Москва». В основе его концепции – прямая, лучевая связь центра с периферией. На периферии же, вдоль Московской окружной железной дороги, предполагалось создать целый ряд так называемых малых центров, задуманных как города-сады.

В те годы идея городов-садов вокруг мегаполисов была чрезвычайно популярна на Западе. Были и практические образцы – в Лондоне, Амстердаме, Париже. В Советской России поселок Сокол стал первым и, к сожалению, единственным примером воплощения этой идеи в жизнь.

В августе 1921 года Моссовет принял решение об организации в столице первого жилищно-строительного кооператива. Была сформирована и нормативно-правовая база: положение о жилищных товариществах, формах кооперирования, правах домовладельцев. И такой кооператив был создан – «Сокол». В марте 1923 года.

Архитектоника

В кооператив, или иными словами, в жилищное товарищество вошли люди, в общем-то, зажиточные, так как предусматривались значительные денежные взносы: 10 золотых чер-

вонца вступительных, 30 – при выделении участка и 20 – при начале строительства. Стоимость коттеджа колебалась от 400 до 600 золотых червонцев. Деньги по тем временам немалые.

Закреплялся и срок пользования коттеджем: 35 лет – без изъятия его или уплотнения. К сожалению, норма эта не была выдержана: последовали и изъятия, и уплотнения...

Предполагалось, что это будет экспериментальный жилой комплекс, который стал бы эталоном для последующего создания окраинных столичных микрорайонов-садов. И время, в общем-то, этому благоприятствовало: в экономике – НЭП, в искусстве, архитектуре – феерический авангард.

В проектировании поселка участвовали выдающиеся зодчие А. Щусев, братья Веснины, Н. Марковников, Н. Дюрнбаум, Н. Колли, И. Кондаков, художники-графики В. Фаворский, Н. Купреянов, П. Павлинов, Л. Бруни, живописцы К. Истомин, П. Кончаловский, скульптор И. Ефимов. Все – вхутемасовцы (ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские).

Сразу было решено: никакой градостроительной сетки, исключительно свободная застройка. Ну и разные хитрости, дабы придать поселку, раскинувшемуся в общем-то на небольшой территории (20 гектаров) пространственное величие. Здесь и «ломаная улица». Так, самая широкая улица в поселке, улица Поленова (сорок метров), проходя через площадь-звездочку (пять лучей), «ломается» под углом в сорок пять градусов, и таким образом воспринимается как бесконечная. Здесь и «лестница Микеланджело»: заведомое сужение улицы, и она в перспективе удлиняется. Здесь и размещение в конце улицы сада, и она как бы растворяется в зелени...

Строительство началось в августе 1923 года, и уже к осени 1926-го под внутреннюю отделку было сдано 102 коттеджа. Всего же предполагалось построить 320 домов. Но осуществить удалось только половину из задуманного. В начале 30-х годов у поселка изымают половину арендованной им земли – под строительство многоэтажных домов.

Теперь о самих коттеджах. Это – рубленые избы с широкими свесами, избы-башни (по образу сибирских казачьих крепостей), каркасно-засыпные, дома.



Типичный дом – од- носемейный: мансарда, четыре жилые комнаты, гостиная, кухня и большая терраса с выходом в сад. Крыша высокая, двускат- ная. Варьируется число комнат, типы и виды эр- керов, балконов, оконных фонарей. Двух похожих домов не найти.

Есть и ряд многоквартирных домов.

Поселок стал испытательным полигоном не только для ар- хитектурно-планировочных решений. При его строительстве использовались новые материалы, передовые инженерные тех- нологии. Так, впервые был применен фибролит – спрессованная

с цементом древесная стружка. Новой была и конструкция фундамен- та: бетонная чаша с осо- бой системой вентиля- ции.



Озеленение поселка также тщательно про- думали: широкие арте- рии, скверы, парк. Осо- бо подбирались породы деревьев: красный клен,

ясень, мелколистная и крупнолистная липа, американский клен, тополь альба. В поселке высаживалось и разводилось около 150 уникальных декоративных растений, многие из которых за- несены в Красную книгу.

Был разработан и свой тип ограждения: невысокий забор с единым ритмом штакетин, накрываемых слегой-крышей. Об- лик уличных фонарей, скамеек и прочих малых форм усиливал целостное впечатление от архитектурно-градостроительного комплекса.

Дух коммуны

По мере заселения домов складывалась и социально-бытовая инфраструктура поселка: магазины, столовая, библиотека, детский сад и даже клуб-театр. Благо этому способствовали так сказать внутренние ресурсы. Ведь в числе застройщиков было немало высококлассных специалистов в разных сферах: экономисты, инженеры, агрономы, учителя, врачи, зоотехники... Такой профессионально разнообразный состав товарищества позволял большую часть местных вопросов решать своими силами и, конечно же, на общественных началах.

Корчевали пни, засыпали рвы и колдобины, в складчину закупали дрова, заготавливали овощи. Этот начальный этап в жизни поселка поистине отмечен мощнейшей энергией созидания.

Большое внимание уделялось воспитанию подрастающего поколения: физическому развитию (свои спортивные площадки, свой, в летнее время, пионерский лагерь), развитию творческих способностей: музыкальных, художественных. Этому опять-таки способствовали благоприятные условия: тут же рядом мастерская скульптора Н. Крандиевской, домашняя школа графики П. Павлинова.

В поселке до сих вспоминают детский сад тех времен, где была создана группа по изучению немецкого языка. Занятия проводились «на ходу», во время прогулок по Соколу и его окрестностям. Даже между собой в эти часы дети должны были разговаривать по-немецки. Результаты такой методики оказались блестящими: многие соколяне-детсадовцы стали известными лингвистами. Действовали кружки: авиамодельный, кружок садоводов и цветоводов (Общество друзей зеленых насаждений) и даже птицеводов.

Смутное время

Оно подкралось неожиданно. Как та беда в небе 8 мая 1935 года, когда на поселок рухнул самолет-гигант «Максим Горький». (В поселковом музее хранится один из его обломков.). К счастью, никто из жителей не пострадал.

В 1937 году правительственным постановлением в стране сворачивается кооперативное жилищное строительство, а уже имеющиеся строения передаются в собственность государства в лице местных органов власти. Такая же участь постигла и поселок Сокол: весь его жилой и нежилой фонд перешел в ведение Моссовета.

Коснулись поселка и репрессии. Многие проживавшие в нем выдающиеся ученые и профсоюзные деятели были арестованы. На памяти старожилов и времена, когда коттеджи перепланировали (потеснитесь, мол) и приспособляли их под коммуналки, общежития.

А война? Около шестидесяти соколян ушли на фронт. Двадцать одному из них не суждено было вернуться, и это в их честь в центре поселка установлена памятная стела. Да и как забыть их: молодых, красивых, отважных – танкистов, летчиков, артиллеристов, пехотинцев? Того же летчика Юрия Зыкова, удостоенного (посмертно) звания Героя Советского Союза.

А потом, в начале 50-х, поселок вообще оказался на грани сноса. По соседству развернулась ударно-показательная стройка, поглотившая территорию летного поля Центрального аэропорта до самой Песчаной улицы (теперь улица Алабяна). Еще шаг – и стройка придет в поселок. Поселок, говорят, спас Сталин: во время посещения стройки он якобы высказался против его сноса. Возможно, это легенда. И, тем не менее, красивая, спасительная легенда.

Но по-прежнему Сокол оставался лакомым кусочком. В октябре 1958 года появилось распоряжение исполкома Моссовета о предоставлении части земли Сокола (естественно, со сносом ряда коттеджей) Управлению делами ЦК КПСС. Четыре года длилось противостояние соколян с городскими властями. И добились-таки своего. Распоряжение было отменено.

Однако успокаиваться, как оказалось, было рано. В кабинетах уже зрел план сноса 54 коттеджей (из 119). Определен был даже дом для отселения жильцов. Желающих покинуть Сокол не нашлось. Напротив, соколяне все как один стали на защиту поселка. К их голосу – не допустить разрушения поселка как единого градостроительного и архитектурного комплекса – при-

соединились Министерство культуры, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, союзы архитекторов, художников, ряд других организаций. Целостность поселка снова удалось отстоять.

Более того, удалось добиться решения Мосгорисполкома о придании поселку как уникальному архитектурному комплексу статуса памятника градостроительства. Это означало, что отныне на поселок не только никто не смеет посягнуть, но он всячески будет охраняться государством, в данном случае городской и районной властью.

Самоуправлению быть!

К сожалению, ожидаемых мер по сохранению поселка-памятника не последовало. Поселок все более терял свой первоначальный вид.

Что было делать? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих! – решили в поселковом домовом комитете. Деньги будем заработать сами, благо было дано добро (конец 80-х годов) на коммерческую деятельность. Создали хозрасчетную структуру. Чем вменили ей заниматься? Выполнением на договорных началах и в основном физическими лицами архитектурных, проектных и научно-исследовательских работ, изданием книг, переводом текстов. Деньги пошли, правда, небольшие. Все они направлялась на ремонт и реставрацию коттеджей, на благоустройство территории.

К этому времени (1988-1990 гг.) Моссовет, понимая, что многие местные вопросы ему не решить без участия самих жителей, стал пропагандировать идею территориального общественного самоуправления. Соколянам эта идея пришлась по душе, тем более что хорошо знали, что такое самоуправление (дух коммуны). Поэтому на общем собрании (июль 1989 года) постановили: восстановить в поселке самоуправление. Каким оно было в далеких 20-х. Утвердили Устав поселка, избрали руководящие и контролирующие органы. Основную же задачу видели в том, чтобы, воссоздав прежний облик Сокола, сохранить его как памятник

градостроительства. И снова – в райисполком, в Моссовет. И получили «вольную».

Это был дар свободы. Но и бремя ответственности: не только сохранить памятник-поселок (жилищный фонд, нежилые помещения, скверы и прочее, прочее), но и обеспечить нормальный быт его жителей: отопление, водоснабжение и все другое сопутствующее. Не получая при этом ни копейки из районной и городской казны.

За счет чего живет самоуправляемая община «Поселок Сокол»? За счет аренды нежилых помещений, небольших отчислений от квартплаты жителей и спонсорских (чаще всего услугами, работами) взносов.

И еще раз о статусной триаде поселка: первый в стране жилищно-строительный кооперативов, памятник деревянного зодчества, самоуправляемая община.

Назову и известных летчиков поселка. Это, конечно же, Герой Советского Союза летчик-штурмовик Юрий Зыков. Родился и вырос

он в поселке Сокол, отсюда ушел в летное училище и потом – на фронт. В общей сложности совершил он около двухсот боевых вылетов, громя немецкие укрепления, склады, эшелоны. В одном из воздушных боев самолет его был подбит. Юрий все же дотянул до аэродрома, но от полученных ран скончался. Шел ему 21-й год. Именем Юрия Зыкова названа школа, что рядом с поселком и в которой он учился, как и многие-многие соколяне довоенного времени.

★ С праздником Великой Победы!
Голос СОКОЛА №30 май 2019
Газета поселка Сокол города Москвы

ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Лето – время тепла, солнца, радости, но в это время в нашей стране и мире происходят трагические события. Ужаснейшим из них является гибель наших солдат и офицеров на фронтах Второй мировой войны. Мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Среди них – Герои Советского Союза, участники войны в небе и на земле. Мы чтим их память и гордимся ими. В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину. Мы чтим их память и гордимся ими. Мы чтим их память и гордимся ими.

Листок календаря

Листок календаря – это памятник истории. Он рассказывает о событиях, которые произошли в этот день. Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину. Мы чтим их память и гордимся ими. Мы чтим их память и гордимся ими.

Поселок Сокол, что на окраине Москвы, основан в марте 1923 года и является кооперативом нежилых помещений и градостроительского назначения.

Трудная вахта

Мужество, стойкость, не поддающиеся призыву в армию (по здоровью или по возрасту «пробор») – качества, которые помогли многим людям выжить в дни разгрома врага. Мы чтим их память и гордимся ими. Мы чтим их память и гордимся ими.

Последний фронт

В последние дни войны фронтники – солдаты и офицеры – вели борьбу за освобождение нашей Родины. Мы чтим их память и гордимся ими. Мы чтим их память и гордимся ими.

Ветераны войны

Ветераны войны – это люди, которые прошли через все трудности войны. Мы чтим их память и гордимся ими. Мы чтим их память и гордимся ими.

Матери Соколяне

Матери Соколяне – это женщины, которые поддерживали своих мужей на фронте. Мы чтим их память и гордимся ими. Мы чтим их память и гордимся ими.

Это оружейник В.Г. Федоров, создатель первой в мире автоматической винтовки (те есть без ручной перезарядки), бывший... царский генерал. Винтовка его исправно послужила российскому воинству в годы Первой мировой войны. В советские годы Федоров продолжил совершенствовать свою винтовку-автомат, фактически преобразовав ее в пулемет – танковый, авиационный, зенитный. Был удостоен звания Герой Труда.

Это В.В.Тихомиров, создатель передвижных наземных радиолокационных станций и самолетного бортового радиолокатора (радар). В последствие он возглавлял крупное оборонное НИИ.

Это А.М. Герасимов, первый президент Союза художников СССР. Это художник баталист П.Я. Кирпичев, прошедший с карандашом и блокнотом всю войну. Кстати, в книге Л.И. Брежнева «Малая земля» помещены именно его зарисовки высадки морского десанта.

Это скульптор А.П. Файдыш (один из авторов монумента «Покорителям космос» на ВДНХ и создатель бюстов космонавтов), лауреат Государственной премии СССР. Это скульптор Н.В. Крандиевская (ее работы украшают главное здание Библиотеки имени В.И. Ленина в Москве). Это архитектор Н.В. Оболенский, ученый, педагог, это актер и кинорежиссер Ролан Быков.

Славен Сокол и физиками, и химиками, и аграриями, и лингвистами...

Таков он, Московский Сокол. Чист, ухожен, благоустроен. Весной и летом он особенно красив: весь в зелени, цветах.



Есть и свой музей, многочисленные экспонаты его рассказывают об истории строительства, становления и развития поселка, о его людях.

Издается газета – «Голос Сокола». И, надо сказать, голос поселка далеко слышен. То и дело наезжают сюда делегации, в том числе иностранные, чтобы полюбоваться этим чудом градостроительства и архитектуры, поистине городом-садом почти в самом центре столицы.

В сентябре 2023 года поселку исполнилось 100 лет.

ОЗАРЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ

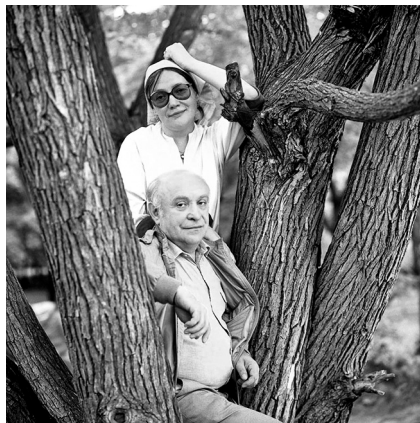
Казалось бы, о Елене Санаевой известно все: Заслуженная артистка РСФСР, дочь знаменитого актера Всеволода Санаева, который и преподал ей первые уроки театрального искусства, потом как озарение – встреча с актером и режиссером Роланом Быковым, встреча, ставшая для нее судьбоносной, а жизнь – поистине творческой и счастливой.

– Не могу сказать, что я с самого детства мечтала о сцене, – рассказывает Елена Всеволодовна, – но рядом был пример отца, великого артиста. Он брал меня в киноэкспедиции. При этом не раз говорил: «Актерская профессия – жесткая профессия. Тут требуется крепкое здоровье». Сам он в тридцать пять лет перенес инфаркт, прямо на съемках. И еще говорил: «Мы, Санаевы, народ талантливый. Верь в себя, а случай придет – и ты будешь к нему готова». И я решила поступать в театральный. Помог, конечно, отец. Как помог? Устроил мне пробы. Это было жесткое испытание. В ГИТИС я поступила.

После окончания вуза Елена Санаева работала в Театре-студии киноактера. И снималась в кино: «Генерал Рахимов» – Люся, «По Руси» – Капиталина, «Главный свидетель» – Маша. А в фильме «Странные люди» (по мотивам рассказов Василия Шукшина) сыграла вместе с отцом. И кстати, сыграли они (по сценарию) дочь и отца. Затем вместе снялись в другой ленте Шукшина – «Печки-лавочки».

И могла ли она предположить, что очень скоро совсем по-новому раскроется ее актерский талант? Случится это после встречи ее с Роланом Быковым.

– Его нельзя было не любить, – продолжает Елена Всеволодовна. – Человек он был исключительно талантливый, многогранный, человек неумной энергии и работоспособности. Едва



он появлялся на съемочной площадке, все вокруг оживало. Он постоянно что-то придумывал для себя, для актеров...

Вскоре супруги поселились в поселке Сокол. Место чудное: зеленый островок в каменных джунглях, оазис тишины. Домик, правда, потребовал существенного ремонта. Зато у Ролана Быкова появился свой кабинет. Лучших условий для работы и отдыха было не придумать. Да вот отдыхать Быков не умел. Даже поесть порой забывал. Работа, работа... Прочтение сценариев, написание статей, переписка с авторами, с разного рода инстанциями – Госкино, Мосфильм, хлопоты, связанные с деятельностью Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества...

Но главным его делом, конечно, было кино. Теперь он снимается вместе с Еленой Санаевой (сам и режиссер): «Дни хирурга Мишкина», «Деревня Утка», «Искренне Ваш...», «Свадебный подарок», «Подсудимый», «Жил-был настройщик», «Приключения Буратино», где Елена сыграла лису Алису. Роль эта стала для нее своего рода визитной карточкой, а сам фильм вошел в золотой фонд советского кино.

И, наконец, «Чучело»: история о драматической судьбе школьницы, столкнувшейся с подлостью и предательством своих же одноклассников. (Роль учительницы сыграла Елена Санаева.) Выходу фильма отчаянно противились Госкино, образовательные чиновники, дескать, поклеп на советскую школу. А то не видели,

не хотели видеть, что время (80-е годы) уже брало страну, ее граждан на излом и большее всего ударяло по самым молодым...

Быков не отступался. Фильм вышел. (Пришлось достучаться до самого Андропова, тогдашнего генсека). В дневниковых записях Быкова появились такие строчки:

*Победы нелегко даются.
Цена победы дорога.
Я становился на рога
Везде, где толпами сдаются!*

Фильм «Чучело» вызвал огромный общественный резонанс, что свидетельствовало о его жизненности, правдивости. За свою режиссерскую работу Ролан Быков был удостоен Государственной премии СССР.

Это был последний фильм Быкова. В 1998 году его не стало.

Жизнь Елены Санаевой стала по существу данью памяти великого человека. Озарение любовью – вот что поддерживало ее и поддерживает. Занята она в основном театральными ролями («Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза).

– Но мысленно я всегда с Роланом, – продолжает Елена Всеволодовна – Изучая его архив – письма, дневники, литературные, режиссерские наброски, стихи, публикации – снова и снова поражаюсь его творческой и интеллектуальной мощи. И само по себе пришло решение издать его дневники, воспоминания о нем. Так появились книги «Заколдованная Принцесса», «Я побит, начну сначала», сборник его стихов. И продолжаю начатое им дело в качестве вице-президента Фонда развития кино и телевидения для детей и юношества. Фонд носит его имя...

У У ТОПОЛЯ
ДАЛЬНЕГО...

Стихи

АЙ ЛАВ Ю

С утра пройдемся по Монмартру,
Затем – на остров, на Сите.
Здесь каждый день 8-е Марта.
«Жё тэм, – шепчу тебе, – жё тэм».

Германцев чопорны аллеи.
Замри, умри мой вольный стих!
О том ничуть не пожалею:
«Их либэ дих! Их либэ дих!»

А что в Палермо? Стылый вечер,
И в море зябко и темно.
Пиджак, наброшенный на плечи:
«Тье мо, любимая. Тье мо!»

Ах, Варна, Варна! Где ты, Варна?
Горячих пляжей варьете.
И взгляд болгарочки коварный:
«Обичам тэ! Обичам тэ!»

Язык любви. Любви дыханье.
Заоблачное бытие.
«Во ай нии!», – скажу в Шанхае.
А по-японски – «сукиё»...

Вот мы опять в зеленом гае,
Губами губ огонь ловлю.
«Кохаю, я тэбэ кохаю!
И даже, кажется, люблю».

ЛУЧШИЕ ЖЕНЩИНЫ

Лучшие женщины выходят на Соколе.
Мне же до Химок – тянуть и тянуть.
Лучшие женщины всегда где-то около.
Мимо и около. Только взглянуть.

Лучшие женщины выходят на Соколе.
Дочки и внучки забытых погон,
Юные жены юных полковников
И генералов. И хуже того.

Лучшие женщины выходят на Соколе.
Только скажу вам без лишних затей,
Те же их губы и те же их локоны,
Что у Варюхи, соседки моей.

Пусть не хватает ей лоска и светскости,
И про любовь говорить не мастак.
Лучшие женщины – жены соседские.
Это доподлинно. Это все так.

Я вспоминаю соседку бойкую.
Ладно, Варюха, как не крути,
Все-таки выйду однажды на Соколе,
Как бы случайно сбившись с пути...

БЕРЕЗА

Березе снег не нужен,
Она и так бела.
Хорошего бы мужа –
Простые ведь дела.
Но тот, который слева,
Огромный и несмелый,
Все смотрит на ольху.
ТЬфу!
И как забыть успел
Березовое платье,
Березовый напев?
И снег такой некстати...
Печалится береза,
Сермяжная душа,
Хотя, вполне серьезно,
И в шубке хороша.
Ну, впрямь, как королева!
Но тот, который слева,
Все смотрит на ольху.
ТЬфу!

ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ МЕНЯ

Я скажу Вам на прощанье,
Что разбил на кухне чайник, –
Вы не любите меня.
Как и вся Ваша родня.

Пью, мол, часто по утрам.
А еще сорвал я кран.
И столкнул в прихожей вазу.
Вы заметили не сразу?

А любимый Ваш портрет
Размордастил о паркет...
Впрочем, все это фигня.
Вы не любите меня.

Вспомнил только вот сейчас:
Не закрыл, простите, газ.

* * *

И вот мы снова у реки,
Ловлю тепло твоей руки...
И вздрогнуло нечаянно
Колечко обручальное.

КИРИЛЛОВКА

Шпарит солнцем Кирилловка,
Чуть воркует прибой.
Две бутылки горилки –
Первый тост за любовь.

Друг загадочно щурится
И зовет за собой:
– Тут всего только улица,
Под названьем – Любовь.

Вот и вся уравниловка,
Всяк утешен судьбой.
Одним словом – Кирилловка,
Приазовский Плейбой.

Белокурые девушки,
Белокурый прибой,
Мимолетные денежки...
Первый тост за любовь!

* * *

Переживу и эту боль...
Тебе к лицу убор невесты.
Вот мы и встретились с тобой –
В ненужный час в ненужном месте

ПРОСТО ДУМАЮ О ТЕБЕ

Не умею играть на трубе.
Не по мне и кружиться в вальсе.
Все равно ты со мной оставайся...
Просто думаю о тебе.

Просто думаю о тебе,
Коротая разлуки сроки.
И трещат мне в окно сороки:
«По судьбе, мол, тебе, по судьбе!»

Просто думаю о тебе.
И в простой деревенской избе,
И в случайной гостиной паркетной
Не приветно мне, не приветно...

Просто думаю о тебе.

ПЕСНЯ

Я придумаю простую песню.
Будет в ней и солнце и гроза.
Только ты, пожалуйста, не смейся
И не щурь красивые глаза.

В песне той соленый будет ветер
И полет за дальней, за мечтой.
И поверь, на всем на белом свете
Так упрямо не любил никто.

Если хочешь, мы уедем скоро.
Если хочешь, можно и в тайгу.
От чужих уедем разговоров,
От случайных нелюбимых губ.

Вот такая получилась песня.
Все слова я важные сказал.
Только ты, пожалуйста, не смейся.
Собирайся, правда, на вокзал.

* * *

Потому и прошлое,
Что былшем поросшее.
Прошлые обиды и былой успех,
И былой последний самый первый снег.
Радуга былая у былой реки
И тепло бывшее маминой руки...

ЧУВАШИЯ

Уезжаю совсем очуващенный
Задушевными песнями вашими
И полями, и светлыми рощами,
Где живетса привольно и проще.
Где *Нарспи*¹, красавица местная,
Уже завтра станет невестою.
Отзовутся гармонн и бубен.
Пусть в судьбе все счастливо будет!
Уезжаю. Пока! *Сыва пул!*..²
Просто ветер московский подул.

* * *

На столике джин и водка,
Известное дело, селедка.
– А яблоку сыну – можно, –
Спросила она осторожно...

* * *

А у тополя дальнего
Не дождусь я свидания.
Приходи по полудни –
В поле тихо, безлюдно.
Приходи ночкой звездною –
До утра не замерзнем мы.
Приходи коли сможетса –
Может, песня и сложитса...

Я у тополя дальнего.

¹ Нарспи – фольклорный персонаж чувашской девушки-красавицы.

² Сыва пул! – До свиданья!

СТИХИ ПРО *ORBIT*

В синей майке *Reebok*
Принесу вам рыбок –
Мойву и кефаль.
Брошу на *Tefal*.
Тут же рядом *Fanta*,
Корень провианта.
Девочкам – по *Pepsi*
(Округляет перси).
Пейте, ешьте, вволю.
Я же вашу *Volvo*
Отгоню на свалку.
Zhalko?

.....

До сих пор коробит
Чужеострый *Orbit*.

ДВУХРЯДКА

Была бы двухрядка,
А с ней и тетрадка,
Еще б – и стило.
И жить весело!
А девушку Олю
Хоть в небе, хоть в поле,
Хоть в белом саду,
Я все же найду.
Быть может, найду.
Девушку Олю.
Хоть в небе, хоть в поле...
Уснула двухрядка.
Забыта тетрадка.
Нахмутив чело,
Гляжу на стило.

* * *

Мой друг шуршит купюрами,
А я шуршу страницами.
На нем пиджак кутюровый,
А я воркую с птицами.

ВЕЧЕРОМ
КУШАЛЪ ЧАЙ

Из записных книжек

Хабаровск

Благополучно долетел, благополучно устроился: гостиница «Центральная». Лучшая, значит. Или потому, что на главной площади.

И сразу – в ресторан. С дороги все же. И первое, что бросилось в глаза: много женщин. Понятно, время обеденное, и все они – служащие близлежащих учреждений, организаций (еще и обед комплексный, то бишь недорогой). И все они, уж продолжу... в меховых шапках. Мода что ли такая? «Да, нет, – сказал сосед по столику, – в гардероб не принимают».

А салат «Хабаровский» оказался замечательный: свежая капуста, зеленый горошек, майонез...

Декабрь 1978 г.

* * *

В «Темных аллеях» Бунина седой, но еще довольно статный офицер, признав в хозяйке постоялого двора некогда соблазненную им девицу, раз за разом краснеет (через каждые десять-пятнадцать строк). А прощаясь, краснеет уже до слез. Что-то как-то...

Два поэта

Годы жизни Михаила Лермонтова: 14-й – 41-й (начальные даты – перекинемся на столетие вперед – двух войн: Первой мировой и Великой отечественной). И – совпадение! – в том же, 14-м, родился и другой поэт: Тарас Шевченко. Из Малороссии. Прожил он подольше Лермонтова и умер, что по своему симво-

лично, в год отмены крепостного права, в 1861 году, которое так неистово обличал в своих стихах, пройдя арест и ссылку.

Лермонтов тоже познал арест и ссылку. За стихотворение «Смерть поэта» (на смерть А.С. Пушкина), в котором жестко порицал мерзости высшего свет.

На этом судьбоносные совпадения Лермонтова и Шевченко заканчиваются. Ведь известно, Шевченко не любил Пушкина. За его поэму «Полтава». И главного ее персонажа, Кочубея, сподвижника Петра I, считал предателем Украины.

Магия цифр

Сколько прожил Александр I, российский император? Все просто. Возьмем три основные даты его: 1777 (год рождения), 1801 (год восшествия на престол) и 1825 (год смерти). Выстроим циферки одну под другой, в столбик и сложим их. Получится 48. Это и будет возраст Александра I.

Пушкин

... И написал первую свою значительную вещь – «Бориса Годунова». До завершения «Евгения Онегина» было еще ох как далеко.

* * *

Какими же, право, болезнями были наши дворяне: к сорока уже и отдышка, и подагра, и ревматизм. А в пятьдесят вообще признавали себя стариками. Однако же некоторые из них в эти лета только женились, тот же поэт Василий Жуковский – все никак не мог забыть первую свою любовь.

* * *

Только на Руси такое: Дурновó, Хитровó – фамилии. И еще Блудов. Тоже дворянского рода. И еще Поганкин, купец...

Репин

К не патриотам отнесу его уже потому, что на картине «Бурлаки на Волге» он поглумился над российским флагом, перевернув с ног на голову: красно-сине-белый. Еще и унизил бурлаков, представив труд их как удел бывших каторжников, бродяг, пьяниц. На деле же в бурлаки шли по большей части крестьяне. Для них это была сезонная работа. И хорошо оплачиваемая работа. Ну и самое главное. К этому времени, ко времени написания картины (1873 г.), потребность в бурлацком труде в России по существу отпала: на смену парусным судам пришли пароходы. Собственно, картина изначально была не актуальной.

Ай да Бубликов!

В самом деле, как Россия до самых дальних ее окраин узнала о свершившейся в Петрограде в феврале 1917 года революции, ведь ни почта, ни телефон, ни телеграф не работали. Хотя нет, один канал связи все же действовал: железнодорожный. И по нему по поручению председателя Государственной думы М.В. Родзянко депутат Александр Бубликов, инженер-путеец, и отстучал утром 28 февраля: «Прежняя власть рухнула, все властные полномочия перешли в руки Временного комитета Государственной думы». До формального отречения Николая II от престола оставалось два дня.

* * *

Год 1917-й был годом Красной Огненной Змеи. По крайней мере, для России...

Красный хутор

Известно, с топонимикой у нас полная чехарда. Только город Петра трижды переименовывали (в конце концов, вернулись к

исходному: Санкт-Петербург). Как и тот же Екатеринослав (Днепропетровск, потом Днепр).

Еще был Екатеринодар – Екатерины дар. Советская власть быстренько переименовала его в Краснодар: красный дар. Время тогда такое было: красное. Красные заводы, шахты, колхозы, красные города, поселки: Красногорск, Красноуфимск, Красная Пахра, уже упомянутый Краснодар...

И еще Красный Дар – хутор.

* * *

Круглая серебряная коробочка с локоном Александра I – темно-рыжим. Романовы были рыжими? Выходит, что так. Но изначально-то были светло-русыми. Порыжели уже потом, от чужеземных кровей.

«Рабочая династия»

Первым исполнителем роли Ленина в кино («Октябрь», С.М. Эйзенштейн, 1927 г.) был мастер снарядного цеха Лысьевского металлургического завода (Пермский край), участник самодеятельного драмкружка Василий Никандров.

Такая была установка М.И. Калинина: подобрать актера, который в наибольшей мере походил бы на Ленина. А Крупская добавила: лучше – из рабочих.

И таковой нашелся: уралец Никандров. Потом пригласили его в Большой театр. Там он играл в спектакле «1917 год». В Москву перебрался и сын его Павел – в театр Пролеткульт. И тоже стал профессиональным актером. Такая вот «рабочая династия».

«Забой»

В 30-х годах минувшего столетия на Донбассе выходил литературный журнал «Забой» – приложение к газете «Всероссийская

кочегарка». («И в забой отправился парень молодой!») Но, право же, с таким названием – «Забой» – мог быть и животноводческий журнал (забой скота), и птицеводческий (забой птицы). И даже медицинский: всего-то одну букву поменять: б на п – «Запой». И в запой отправился парень молодой. Прямо из Всероссийской кочегарки.

* * *

Когда-то в Москве на Петроградском шоссе (ныне Ленинградский проспект) был завод по производству мыла «Польза». В самом деле, лучше было и не назвать столь нужное для общества производство. Затем, после революции, завод национализировали, и стал он просто Мыловаренным заводом № 1.

Философ

– Знаешь, чем всегда гордился мой сосед дядя Гриша, скромный чистильщик обуви? Тем, что добрую часть жизни провел у женских ног – юных, стройных и не очень стройных, замужних, незамужних. И каждую ножку нужно было обслужить.

– Художник твой дядя Гриша.

– Скорее, философ.

* * *

Два трубодымящих: писатель Алексей Толстой («красный граф») и Александр Герасимов («красный портретист»).

* * *

Зачем Хрушев, проведя денежную реформу (1961 г.), десятикратно занизил рублевый номинал? Чтобы не ехидничали: «Стакан Семечек Стоит Рубль» – по поводу аббревиатуры СССР. И стал стакан семечек стоить 10 копеек. И шутка развалилась.

В солдатской столовой

«Воин, твой долг беречь посуду!» – плакат.

Бачок алюминиевый – срок службы 4 года; цена 1 руб. 41 коп.

Чайник алюминиевый – срок службы 5 лет; цена 2 руб. 17 коп.

Кружка эмалированная – срок службы 2 года; цена 35 коп...»
И т.д.

Рядом другой лозунг-призыв: «Береги хлеб для государства!»
И тоже, понятно – долг. И, честно, лишний раз в хлеборезку не хотелось обращаться. Хотя хлеба солдату никогда много не бывало.

* * *

Жаль, нет нынче пыльных родовых чердаков. С каким удовольствием покопался бы в старых газетах, журналах!

* * *

Ударник коммунистического труда. Ударник вообще-то – барабанщик. Что же получается, барабанщик труда? Все трудятся, а он барабанит?

А еще ударник – деталь затвора автомата. А еще «Ударник» – кинотеатр в Москве.

Подольск

И первая ассоциация: «Горячие. С мясом. Пять!» В смысле пирожки. В смысле 5 копеек. Громко – на всю привокзальную площадь. Конечно же, не удержался. Сlopал дин, другой. Вкусно!

До сих пор перед глазами та женщина в белой общепитовской куртке с двумя большими зелеными термосами рядом. «Горячие. С мясом. Пять!» Песня!

* * *

Дабы прослыть оригинальным, он, прикуривая сигарету (а курил исключительно «Яву»), отламывал сверху кончик и демонстративно скидывал его в урну. «Зачем?» – спрашивали мы. Он хитровато улыбался: «Во-первых, чтобы меньше курить, а во-вторых, чтобы все спрашивали. Вы же спросили...»

* * *

За все институтские годы запомнился лишь одним: звонком будильника в портфеле. Так потом о нем и говорили: это тот, у которого на лекции будильник зазвонил.

И чего ерничали? Парень по ночам дежурил на складе, и будильник нужен был ему для того, чтобы не проспать (понятно, кемарил втихаря) приход на работу сотрудников и уж тем более начальства. И уже в аудитории кто-то из сокурсников, изловчившись, установил будильник его на лекционный час.

«Это тот, у которого на лекции будильник зазвонил?»

* * *

– Пустой, как бутылка из-под кефира.

– Это ты зря. За пустую бутылку можно вернуть 15 копеек и, добавив столько же, получить новую.

Чегдомын

Шахтерский городок Чегдомын, что на Дальнем Востоке, запомнился уже тем (курьез, да и только!), что никак не мог говорить его название, все напрашивалось «чемогдын», «чемогдан», «чемодан». И твердил про себя: «Чегдомын», «Чегдомын», ан нет-нет да и проскакивало в разговорах с теми же чегдомынцами: «чемогдан», «чемодан». Они недоуменно взирали на меня, я, как мог, оправдывался, дескать, вспомнил про какие-то бумаги, они в чемодане, а чемодан в гостинице. Типа этого...

Но, странное дело, уже в Москве с легкостью произносил этот загадочный топоним «Чегдомын». Более того, долгое время всякий чемодан невольно вызывал у меня ностальгическое «чегдомын». Так в шутку и говорил порой: «Вот возьму свой чегдомын».

Кстати, чегдомын с эвенкийского *дягда мун* (два слова) – сосновая вода. Родниковая, значит, чистая.

БАМ-книга

– Едут к нам словно в Африку – журналисты, туристы, – ворчала продавщица книжного магазина (синенький щитовой домик) в поселке Ургал, что на Восточном участке БАМа. – А что у нас собственно такого? Тайга, сопки, стройка...

И, тем не менее, не без некоторого удовольствия на титуле тут же приобретенной мною книжке (томик Чехова) поставила: «**БАМ-книга**».

- Вот и мне память будет, – улыбнулся я.
- Да всем ставим, – улыбнулась она.

Июль 1985 г.

Буренки

В Нижне-Ангарске, что на севере Байкала, у здания райсовета – небольшая лужайка с установленными на ней портретами лучших людей района: Доска почета. И тут же, пощипывая травку и помахивая хвостами, бродили буренки. Уже и лепешки успели наложить. Аккурат напротив портрета зоотехника.

* * *

Самая хвастливая река в Сибири – Яя.

* * *

Дымная «стекляшка». Сидим, туго склонившись над стаканами, в пальто и не снимая шапок. Разговор неторопливый, мужской...

* * *

Странно было видеть в Музее В.И. Ленина юных влюбленных. Он – в джинсах, в толстом сером свитере и рыжих ботинках. Она – худенькая, черноволосая с крохотными золотыми сережками в ушах; черная юбка, сине-голубая кофта-зебра, малиновые замшевые сапоги на толстой порыжелой подошве (манка) и желтая сумка. Зачем они здесь? Взявшись за руки.

21 января 1986 г.

* * *

8 мая 1986 г. Пять лет со времени нашей с Раей встречи – в самом центре Москвы, на Пушкинской площади. Там же и договорились встретиться снова. И пошли в кафе, что на улице Горького. Помню, официант кавказец принес счет, заполненный от руки: «Цепленок».

* * *

Объявление на станции метро «Площадь революции»: «Ставить вещи на ступени эскалатора и целоваться запрещено» (14.11.1987).

* * *

В советские времена было множество различных мастерских, что вполне соответствовало менталитету граждан: каждая вещь должна служить долго. Были даже мастерские (и никого не удивляло) по ремонту авторучек. В Москве, например, три таковых имелось. Правда, несли туда в основном дорогие импортные

авторучки. Наши-то были совсем простенькие, и расставаться с ними было не так жалко, разве что стержень заменить.

* * *

Спросил у приятеля, *cher ami* (французское) и *Lieberman* (немецкое) – синонимы? Ведь тут и там – милый, дорогой. «Нет, – отрезал он. – Потому как в первом случае речь идет о друге, что тепло, а во втором – о человеке вообще, абстрактно. И потом *Lieberman* – фамилия».

* * *

Авоська (желтая, зеленая, красная – плетеная). Непреложный атрибут советского быта. Вспоминаю, отец всегда носил авоську (туго скрученную) в заднем кармане. Авось, пригодится.

* * *

Жизнь привносит грусть.

«Меняю аппаратуру на платок Елены Боннэр»

Съезд демократических партий, движений проходил в кинотеатре «Россия». Отличали его не только острейшие противоречия в выработке совместной платформы действий, но и пикантные ситуации. Так, в начале второго для работы форума председательствующий объявил, что у корреспондента «Голоса Америки» пропала сумка с аппаратурой.

А спустя несколько часов динамики разнесли новую весть: у Елены Боннэр (вдовы А.Д. Сахарова) пропал платок, черный, в горошек. Кто нашел, просьба... И так далее.

Тогда-то в фойе и родилась шутка: «Меняю аппаратуру на платок Елены Боннэр».

Март 1991 г.

* * *

В начале 90-х годов теперь уже минувшего столетия ситуация в России была крайне взрывоопасной. При этом особый радикализм проявляли политики женщины – всевозможные новодворские, старовойтовы... И так и виделась за углом Софья Перовская¹ с белым платком в руке.

* * *

5 мая. День печати. Самочувствие ужасное. Денег нет, пить не хочется. И уж тем более куда-то ехать (на встречу однокурсников).

А Вити Хохлова уже нет. Но мы об этом еще не знаем. И завтра не узнаем. И после-после завтра...

И похороним только 13 мая. На домодедовском кладбище.

Май 1994 г.

Бремен

В Бремене, средневековом городке, что на севере Германии, есть улочка Schnur. Действительно – узкая, длинная, как шнурок. И ведет она к главной площади: ратуша, Бисмарк (в латах и на лошади), винный погребок и, конечно же, Бременские музыканты.

* * *

Это же сколько времени потребовалось писателям-классикам для создания своих многотомий, тому же Льву Толстому, Виктору Мари Гюго? Годы и годы. Современники еще могли осилить эти

¹ Софья Перовская, одна из руководителей террористической организации «Народная воля» в конце 19 века в России. Это она подала знак на убийство императора Александра II.

тысячи и тысячи страниц – время-то текло медленно. Ну еще последующее поколение. Но как сегодняшнему молодому человеку с его бешеным ритмом жизни и информационным перегрузом проглотить все это?

Нет, не пожалели классики будущих своих читателей.

* * *

Родился Бунин в один год с Лениным, а умер – в один год со Сталиным. Словно повязан был ими.

* * *

Революционные лозунги в Петрограде выкрикивали даже дети: «Долой царя!», «Фабрики – рабочим!»...

* * *

Фамилия у него была Сидорович – белорус. Шутил: Рюрикович тоже белорусская – на ич.

* * *

Еще мальчишкой видел таблички: участники Великой октябрьской социалистической революции обслуживаются вне очереди – в магазинах, в присутственных местах.

Мое далекое детство.

* * *

Иду из булочной с батонем хлеба в руке. Навстречу с таким же батонем – молодая женщина. Я улыбаюсь, она улыбается. Поравнявшись, протягиваю ей свой батон, а она мне – свой, и идем дальше каждый своей дорогой.

Давным-давно это было, а тот хлебный диалог до сих пор перед глазами.

Свойство души

Я знал министра – Дуденкова Ивана Григорьевича, – министра бытового обслуживания населения РСФСР, который здороваясь (а с ним доводилось встречаться мне и на разного рода совещаниях, и в коридорах министерства), обычно говорил «Доброго здоровья!» Совсем по-домашнему. И это не могло не располагать к нему. Как-то поинтересовался у министерских, он со всеми так здоровается. «Да, – подтвердили они. – Со всеми». «Фишка», – как бы сейчас сказали. «Свойство души», – скажу я.

* * *

Парубок в добротных сапогах и босоногая дивчина – типичная картинка из быта украинского села XIX века. Кстати, *то же* у донских казаков: на лошади и в полной амуниции Григорий Мелехов и вышагивающая рядом босиком Аксинья. Еще и с козырьком на плече. Начало XX века.

* * *

И любят пенсию деревни и села...

Ежик социализма

И кому пришла в голову разместить на фронте станции метро «Царицыно» профиль Ленина? Колюче-стреляющий козырек, брови, нос, усы, клин-бородка – ежик социализма. К Царицыно-то он какое имел отношение? Он, громивший дворцы и усадьбы.

* * *

В далекие 70-е самым стильным аксессуаром у молодежи было серебряное лезвие на тоненькой цепочке или проволочном

кольце. Что обозначало сие лезвие-кулон, никто толком не знал. Просто блестело, просто бросалось в глаза.

* * *

Легким движением головы она раз за разом откидывала ниспадающий на щеку локон. У нее никогда не будет шейного остеохондроза.

* * *

Если мужчина, сидя с женщиной за столиком в кафе или ресторане, дергает ногой, значит, у него напряг деньгами.

* * *

Жена упрекала мужа за то, что он не называл ее ласковыми словами: птичка, рыбка. «Неужели какая-то птичка лучше тебя? – удивлялся он. – А рыбка так вообще – рыба».

Президент ССР

Как же надо было не уважать свою страну, чтобы так коверкать ее название? Я про Горбачева. У него частенько вместо «СССР» проскакивало «ССР». В том же телевизионном обращении к народу 25 декабря 1991 года: «Я прекращаю свою деятельность на посту Президента ССР».

Словно речь шла о какой-то другой стране.

* * *

Не ходил на выборы, потому, что там – урны.

* * *

В чужих покоях нет покоя.

* * *

Имя Шекспира до континентальной Европы дошло более чем через сто лет после его смерти. И еще двести лет потребовалось, чтобы достигло оно России. Но там – водная преграда, Ламанш, здесь-то что?

Конец любви

Горбатый мостик буквально был увешан замками, замочками: «Совет да Любовь», «Навеки вместе»... И тут же, на спуске – склонившийся парень с ножовкой в руке. Собственно понятно: спиливал свой замочек.

– Конец любви? – вырвалось у меня.

– Сука! Проститутка! – выпалил он и заработал энергичнее.

* * *

Это же насколько надо быть гениальным, чтобы обратиться (художник Михаил Ларионов), к примитивизму.

Тупо!

«Не занимать столы под учебники и тетради!» – объявление в студенческой столовой.

Вальсок

Как можно было такое светлое, кружевное слово «вальс» уподобить мещанскому «вальсок»? Поэт Ваншенкин смог: «Юности нашей вальсок». Что-то даже приклатненное. Френкель положил строчку на музыку, и она благополучно полетела...

Гвозди Ильича

Москва. Дебаркадер Киевского вокзала: легкий, торжественный. Спасибо, Шухов! И все те же на перроне бетонные мужики с фонарями: встречают ночные поезда.

А вот ленинского «гвоздя» на фронте нет. Убрали. В смысле его цитаты «Железные дороги – это гвоздь...»

У него и железные дороги – гвоздь, и партийная организация – гвоздь, и социализм гвоздь. Вот и вколачивал гвозди в крышку российского капитализма.

* * *

Русская эмиграция подарила Парижу таксистов-офицеров. У них даже своя ассоциация была. Последний таковой штабс-капитан Миллер (обрусевший немец) умер в 1990 году.

* * *

Когда мне совсем плохо, включаю «Прощание славянки». Бодрит.

* * *

У Пушкина то и дело выскакивает «нега» (блаженство, безмятежное состояние). И вправду, что может быть слаще для поэта?

* * *

Не дразни хитрым локоном
Меня, одинокого.

* * *

Что уж тут ни говори,
Ночь – кормилица любви.

* * *

Москва – большое одиночество.

* * *

Паразиты съели реквизиты.

* * *

Жил чрезвычайно.

* * *

Незаконченное лицо.

* * *

От смешного до великого – Чарли Чаплин.

* * *

Эдита Пьеха: «Сколько раз она нас (*В смысле жизнь – Н.С.*) разлучала?» А слышится: ананас. Пьехе простительно, она не русская. Но автор слов-то? Тыфу, и он не русский: Танхилевич (Танич). Да и композитор наполовину русский, наполовину армянин – Тухманов.

* * *

– Да что ты заладил: Касабланка, Капабланка? Пожрать бы чего!

* * *

В сентябре 2011 года прекратил свою деятельность московский завод «Серп и Молот» (листовой прокат, трубы).

Он трубную славил судьбу
И вылетел в трубу.

* * *

Как-то уж очень быстро исчезли в Москве чистильщики обуви, автоматы с газировкой, соки в разлив. Резко поубавилось таксофонов, синих почтовых ящиков. Долго держалась вывеска «Союзпечать». Потом ее сменили на «Роспечать». Потом просто – «Печать».

* * *

Бикини, топики, стринги... Экономический кризис.

Чрезвычайно

Хорошее слово «чрезвычайно» (весьма, в высшей степени): чрезвычайно вежлив, чрезвычайно доволен (не доволен)... Высокий штиль! И где теперь это слово? Нет его. Вернее трансформировалось оно – и давно! – в нечто тревожное, беспокойное: Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

* * *

Уселась на собственную косу.

* * *

– Воронеж от французского – женоров.
– И что сие женоров?
– Воронеж.

* * *

Телекомментаторша – стройная, ухоженная, – завершив рассказ о погоде («В Москве солнечно, осадки не ожидаются...»), протараторила: «Гепазолон – лучшее средство для лечения геморроя. Гепазолон, успокой геморрой!»

В Москве солнечно...

* * *

Сгубило его богатство.
Гадство!

* * *

Извините, когда я пьян, женщины мне особенно нравятся.

«Вышка»

Какими же, право, мы были советскими! Достаточно вспомнить названия газет, журналов: «Советский школьник», «Советская женщина», «Советская торговля», «Советская культура»... И ряд этот можно продолжить: «Советская Якутия», «Советская Армения», «Советская Литва»... А название одной газеты буквально резануло: «Вышка». Орган ЦК компартии Азербайджана. Потом дошло: нефтяная вышка.

А еще была «Правда Востока» (Таджикистан).

* * *

Высоко над сквером, застряв лапкой в сплетении проводов, трепыхался голубь: то вскинется, то снова повиснет. Прохожие лишь в беспомощности отводили глаза...

* * *

В Запорожье есть улица Счастливая. На ней – больница и морг.

2010 г.

* * *

Вот и привычный экспресс.
Но... украинский.
И «Одесса» с одним «с».
Как-то не нравится...

* * *

В Мелитополе у здания педуниверситета – бюст: О.С. Пушкин.
«Что значит «О»? – оторопел даже. Олэксандр, оказывается. Луч-
ше бы вообще не подписывали.

2018 г.

Шкира

Как же груб порой украинский язык: шкіра. То есть кожа. Вот
говорит хлопец дивчине: «У тэбэ така ніжна шкіра». Брр-р!..

* * *

Прежде, встречаясь в лифте, подъезде, обычно спрашивали
один у другого: как детишки? А теперь: «Сам-то как? Еще не на
пенсии?.. Уже?»

* * *

Шерше ля фам. В Булонском лесу или Химкинском...

* * *

Больше всех в Деда Мороза верят детдомовцы.

С Землей!

– Мне, пожалуйста, удлинитель.

– Вам какой? – спрашивает продавец. – С землей?

Я не сразу врубаюсь, что он имеет в виду: фазу, заземление?

И твердо отвечаю:

– С Землей!

* * *

Писательство – белый лист и чистая совесть.

* * *

Одернули все же юбки телеметеокомментаторшам. Оказываются, телевидение закидали письмами: «Доколе эти сучки будут изводить наших мужиков? На колени их и зырят...»

* * *

В старину мужики чай пили из блюдца, аккуратно поднося его к губам. Нынче нет, не могут. Рука дрожит.

* * *

Медаль «За замужество».

* * *

Так и не смог отличить Бабеля от Бебеля. И, слава богу!

* * *

Все счастливые – на одно лицо. У несчастливых нет лиц.

* * *

«Барышня, светлая блондинка, очень хорошенькая и стройная, хотела бы выйти замуж. Предупреждает, что имеет «грех». *(Из брачных объявлений XIX века.)*

* * *

Бегущая строка на стадионе в Тамбове: «Тамбовщина – регион с большим сердцем!» Невольно напрашивается с *большим* сердцем, хотя со времени кровавой бойни прошло более ста лет (Тамбовское восстание, 1921 год). С другой стороны, как регион, территория может иметь сердце? Граждане – еще куда ни шло: добрые, отзывчивые...

* * *

Когда мне нужно скоротать время в ожидании кого-то (чего-то), я достаю записную книжку и не спеша перечитываю ее – что-то исправляю, добавляю. Здесь не скучно.

* * *

Нагло-саксонское право.

* * *

Спрашиваю у аксакала-осетинца, когда же объединятся две Осетии: Южная и Северная. «Еще не время, – сказал он. – Да и Путина не хочется подставлять: начнется шум... санкции».

Политик!

* * *

Два пирога пара: северо-и южно-осетинские.

* * *

Веселое место: бумкомбинат.

* * *

В письмах, сочинениях по возможности старался избегать слов «писал», «написал» (с плавающим ударением), заменяя их сугубо однозначными: «сообщил», «рассказал», «сочинил».

* * *

Работница социальной службы, вскинув недоуменный взгляд на просительницу казашку:

- А имена детей почему с маленькой буквы?
- Они же не русские.

* * *

Бои шли на суше (оборона Севастополя, 1854-55 гг.), а погибали адмиралы.

* * *

Как гигантам-волейболистам не обойтись без коротышки-связного, так и в жизни порой правят бал маленькие, неприметные.

* * *

Еще поломают голову потомки: что такое Совгавань.

* * *

Самый слабый кирпич в крепостной стене: потемневший, крошащийся. Наверняка мастер, укладывая его (лет двести-триста назад), понимал, что да, кирпич слабоват. Но подумал: пусть потомки сами в этом убедятся. Заодно вспомнят его, безымянного.

* * *

Ой, твоя Гончарова! Она даже географии не знала. Для нее Полотняный завод был окраиной России.

* * *

Тому и другому – по Энгельгардту: Пушкину – директора Царскосельского лицея, Шевченко – киевского помещика.

* * *

Некогда беллетристы в своих сочинениях город обозначали латинским N: в городе N... из города N... А тут смотрю, два наших эн (НН) – Нижний Новгород.

* * *

Круглая серебряная коробочка с локоном Александра I – темно-рыжим. Романовы были рыжими? Выходит, что так. Но изначально-то были светло-русыми. Порыжели уже потом, от чужеземных кровей.

* * *

Потешный брак.

* * *

Платье-облепиха.

* * *

Кричали женщины «Ура!» и в воздух лифчики бросали.

* * *

«Одна такая рука могла быть стать целою картиною», – М.Ю. Лермонтов. И слышу пушкинское: «Аннет, носите короткие платья. У вас хорошенькие ножки».

* * *

Русские сенсации: кто у кого увел.

* * *

Ох, уж это французское *perdu* (потерянный)! Ну представьте себе: *Жё пердю ля мур*. – Я потерял любовь...

* * *

Двадцать первый век жестоко отбросил век девятнадцатый. В самом деле, кто сегодня станет читать Некрасова, Фета, Кольцова? Юное поколение о таковых и не слыхивало. О том же Чернышевском, Белинском... Пушкин – да, на слуху. Еще Достоевский, Чехов...

* * *

Все проходит. Даже угрызения совести.

* * *

Импрессионисты вышли на природу, дабы показать, как она дрожаща.

* * *

Как можно веселиться, не будучи навеселе?

ЦИК, СР...

Зачем дублировать аббревиатуру?

Был ЦИК – Центральный исполнительный комитет СССР (высший орган власти), бессменным председателем которого являлся М.И. Калинин. Сегодня ЦИК: Центральная избирательная комиссия.

Была когда-то партия эсеров: социалистов революционеров – СР. Ныне СР – «Справедливая Россия». И тоже партия.

* * *

Мужчина, прилично одетый, с презрением поглядывая на окружающих в вагоне метро: «Как вы мне все надоели! Вот сейчас поезд остановится, и я выйду». И действительно вышел.

* * *

Поэт с гитарой больше, чем поэт.

* * *

С какой же укоризной глядели вслед отступающей Красной Армии жители Белоруссии, Смоленщины, Украины. И представить себе не могли, что оставались под немцами на долгие три года. Женщины, старики, дети...

* * *

Алфавит перевернулся: Я теперь – на первом месте.

* * *

В чеховских пьесах все несчастны: нюхают табак и пьют водку.

* * *

А чайку, следуя логике пьесы, должен был подстрелить Тригорин (Нину Заречную-то он погубит), а вовсе не студент Треплов.

* * *

В вагоне она сидела за боковым столиком: красивые, ухоженные руки, по-девичьи стройные ноги и... кислые губы.

Почаще бы...

К родителям я навещался редко: в основном в отпуск или по журналистской оказии. И всякий раз отец, разминая сигарету (по папиросной привычке, а вообще практически уже не курил), спрашивал: «Как здоровье?» Я, несколько удивленный таким вопросом, отвечал: «Нормально». Он согласно кивал головой: «Ну хорошо!»

Эх, почаще бы сегодня интересовались моим здоровьем родные, близкие, друзья-приятели. А так – все больше доктора.

* * *

Красивая, а умная.

* * *

Задумываясь о будущем, подытожь прошлое. Однако столько всего нужно подытожить, что уже ни сил, ни времени не хватит.

* * *

Где он, бублик, посыпанный маком? Бублик моего детства. За 5 коп.

* * *

Село Большое Шереметево, что в Тамбовской области – большое село. И составляет его всего одна улица, непомерно длинная и непомерно широкая. И некоторые домочадцы (как есть – непомерно пожилые), дабы лучше созерцать ее, улицу-поле – кто к кому идет, едет, – обзавелись биноклями, маленькими, а то и большими, двадцати и более кратными. И таким образом удовлетворяют свое любопытство.

* * *

«Приложите транспортную карту, – всматривается старушка в бегущую строку в салоне автобуса, – к вали-да...»

– К валидатору, – подсказывает парнишка.

– О, господи! Хоть валидол доставай...

Венера Милосская

И что в ней такого особенно? Узколобая, крупный мужской нос, бесстрастное (понятно, мрамор) лицо и тяжелое бабье тело, настолько тяжелое, что, несмотря на явный изгиб его, талия едва просматривалась. Тоже еще, богиня! А грудь? Второй размер.

* * *

Квакер – христианин-протестанец. В переводе с английского – трястись, содрогаться перед Всевышним. Вот и квакают подданные Ее величества...

* * *

Какая к черту муза, если жру от пуза?

Спортивное

Теперь и футболисты законодатели моды: выбритые с боков чуть ли не до макушки головы, татуированная рука – левая или правая, а то и – обе.

Синие, красные, желтые ногти – бегуни на низком старте. Женственность, она и в спорте женственность!

Для футболистов считается неприличным сплевывать на газон, сморкаться. А вот креститься стало нормой.

Вышла замуж за футболиста. «Теперь и у тебя защитник», – говорили ей подружки. «Полузащитник», – уточняла она.

Камень за пазухой

Это у морской выдры. Ловко достав его из-под складок лапы и положив на грудь (предварительно улегшись на спину), она разбивает об него уже другой лапой скорлупу моллюска, мидии. И таким образом питается. Уж точно каменный век!

* * *

Чертов айфон! Вместо «очень» то и дело выскакивает «осень». Но и вправду осень.

Чоботы

В Москве, сразу за МКАД, есть дачный поселок Чоботы. В нем – одиннадцать Чоботовских аллей. То ли фантазии дачникам не хватило, то ли решили многократно восславить эти самые чоботы, расписные женские сапожки, о каковых, что они есть такое, многие и не знают.

* * *

Жена, поймав взгляд мужа на проходящей мимо женщине: «Конечно, она вон как одета...» Не понимала, дуручка, что привлекли его вовсе не модная юбчонка или кофточка, а точеная фигурка...

* * *

– Что ты все шепелявишь: кэшбэк, кашбэк? Скажи проще: Казбек.

– А что это?

* * *

Как же долго надо прожить вместе, чтобы так понимать друг друга. С полуслова, с полувзгляда. Словно наперед зная, что скажет он, что подумает она.

Консуэла Веласкес

Песню «Бесаме муче» («Целуй меня много»), ставшую в XX веке мировым шлягером, написала простая мексиканская

девушка Консуэла Веласкес. Более ничего значительного она потом не создала. Как видим, достаточно одной талантливой вещи, чтобы остаться в памяти народной. У Грибоедова, собственно, тоже одна вещь: «Горе от ума», – и слава на века.

* * *

Всегда занимало, почему российскую пехоту в XIX веке одевали в белые панталоны.

* * *

Первая советская эротическая песня: «Ее, мою желанную, не зря зовут Светланой».

* * *

Очень даже пристало трогать перси перстами.

Плюс к вам...

Мэр, префект, супрефект... Всё от французов. Для меня же «префект» звучит как «перфект» – прошедшее время (*немецк.*). А «супрефект» как «плюсквамперфект» – совсем прошедшее время.

Ну и ну!

В переходе станций метро «Краснопресненская» – «Баррикадная», где некогда располагалась скульптурная группа Ленин – Сталин (с 1954 г. – только Ленин), теперь общественный туалет.

* * *

В моем районе открылся торговый центр «Шолохов» – на улице, носящей его имя. А почему не ресторан? Или кафе? Да просто – забегаловка. Михаил Александрович оценил бы.

* * *

За многие годы научился радоваться чужому счастью.

Сковорода

Муж жене по поводу вкусно приготовленного блюда:

- Ты – гений сковороды.
- Спасибо, милый!
- А вообще философ такой был: Григорий Сковорода.
- Не слышала.
- В Киеве ему памятник установлен.
- Он с Украины?
- Ну да.
- А город Сковородино, о котором ты мне рассказывал, в честь него назван?
- Нет. Сибирь все же. Там был Сковородин, большевик. Его японцы расстреляли. В 20-х годах.

* * *

Было время, когда из окон домов доносились звуки скрипки, рояля, аккордеона. Потом – граммофона, патефона, магнитофона. Нынче музыка ушла в гаджеты. Может, и к лучшему? Представить только, какая какофония окружала бы нас!

* * *

Отложил анекдоты и принялся за серьезное чтение, ловя себя на мысли, что продолжаю улыбаться. Инерция улыбки...

* * *

Ну и народ пошел: ни выпить с кем, ни поругаться – одна плотва.

* * *

Нигде так легко не становишься своим, как в Париже: присел за столик, огляделся: «Бон жур!», – и ты парижанин.

* * *

Премия имени Владимира Высоцкого – Евгению Евтушенко (2015 г.). Казалось бы, все должно быть наоборот, Евтушенко-то значительнее по своему поэтическому статусу. Да и нет такой премии: имени Евгения Евтушенко. Да и никакой Высоцкий в глазах Евтушенко не поэт.

Совсем по-детски

Мамаша ведет малышку за ручку. Та вдруг останавливается и начинает потирать ножкой ножку.

– Что случилось? Болит?

– Нет.

– Чешется?

– Нет.

– Так что же тогда?

– И болит и чешется.

Киев

«Обэрэжно! Станция Ливобэрэжна» – объявление в вагоне метро. Прямо-таки поэзия! Перевел: «Осторожно! Станция Левобережная». Фраза потухла.

Другая чарующая строчка: «Хрэщатык умие прощаты.» Переведу: «Крещатик умеет прощать». Нет, не то.

Кстати, Хрещатык от украинского «хрест». И какое же резкое латинское: «крест».

Надо было видеть, с какой тщательностью пожилые японец и японка изучали меню в летнем кафе на Крещатике, обмениваясь отрывистыми фразами. Официантка дважды подходила к ним, и дважды он, японец, извиняясь, просил еще минутку. Когда же официантка подошла в третий раз, попросил бутылку «Пепси».

Объявление в рюмочной: «Приносить с собой спиртные напитки и закуску запрещается».

2018 г.

* * *

От Гутенберга – печатный станок (1457 г.) до Цукерберга – Фейсбук (2004 г.). Коммуникационная эволюция.

* * *

Сегодня принято хвалиться машиной: у кого круче. Так же когда-то хвалились лошадьми: масть, порода. И как сейчас где-то на даче с нетерпением прислушиваются к шуму мотора и шуршанию шин, так и тогда замирали в ожидании стука копыт и скрипа подъезжающего тарантаса.

* * *

- Бедный Шоу!
- Это ты зря: шоу даже очень ничего.
- Я имею в виду писателя Шоу. Бернарда.
- А-а-а... Какая-то неправильная фамилия.

* * *

И как же надоел этот мужик с гранатой в руке – у вестибюля станции метро «Краснопресненская». Более полувека тор-

чит здесь и все намеривается метнуть ее. В сторону зоопарка, что ли?

* * *

Потомкам в котомку.

* * *

Скрип колеса (слова из попсовой песенки). А слышится скрипка лиса.

Чыгунка

Очень трудно избавлялись от советской атрибутики. Те же российские поезда еще долго ходили с нашлепкой на вагонах МПС (Министерство путей сообщения). Мало-помалу нашлепки те содрали и начертали РЖД (Российские железные дороги).

Еще раньше это сделала Украина, обозначив на вагонах УЗ – Украинська залізниця (залізниця от слова залізо – железо). И уж совсем забавно выглядит это на белорусских вагонах: БЧ – Беларуська чыгунка.

* * *

Заповедь художника: от сурьмы и суммы не убежать бы.

* * *

В былые времена заезжему гостю и обед подавали, и лошадей его кормили. А нынче и на бензин не дадут.

Ну ва-аще!

С таким впервые столкнулся: «В музее запрещается курить!» – надпись на оборотной стороне входного билета (Музей Москвы). В принципе понятно: в залах, коридорах – нельзя. Ну, видимо, еще в туалетных комнатах. Так бы и указали, мол, запрещается... Но не на билетах (к чему их марать?), а у дверей этих самых комнат.

Дальше – больше: «В музее запрещается распивать спиртные напитки». Как будто алкаши сюда только и устремляются? Впрочем, употребить здесь вполне можно: музей малолюдный (даже привычных старушек-сиделок не видно), сумрачный и весь по спирали закрученный. И то сказать, бывший гараж Министерства обороны СССР. А вот тогдашние водилы наверняка поддавали здесь. После смены, разумеется...

2018 г.

* * *

- Мой так дважды в год на юга мотается.
- Что так?
- Отогревается. Он же у меня мерзлотовед.

* * *

Бьет «Стечкин» – без осечки. (Пистолет.)

* * *

Бросил окурочок в стеклянную банку и плотно закрутил крышку, наблюдая, как тот медленно издыхает. Садист!

Тогда кто?

Дурацкое слово «романсисты» (исполнители романсов). Особенно коробит это «систы». Но и не романисты же (создатели романов). Тогда кто?

* * *

- Я живу в доме, где цирюльня.
- Знал бы я, что это такое.
- Парикмахерская. По-украински. Вернее по-польски. Но есть и другое слово: голильня.
- Голильня – даже лучше: голить лицо, голову. И тоже по-польски?
- Ну да.
- Дался им этот польский! Да просто – парикмахерская! Да просто – по-немецки!

* * *

Уменье вовсе не натужное
Стопарик пропустить за ужином.

* * *

Футбольный клуб «Шахтер» (Украина): Мореас, Патрик, Ви-тао, Соломон, Дентиньо, Маркос, Тете, Исмаили, Саприоно, Фернандо...

2020 г.

* * *

Голь не играет в гольф.

Дура

Право же, до чертиков примелькалось мне с моего 12-го этажа это унылое одноэтажное зданьице: технические службы, фитнес-клуб, еще что-то. И тут вижу, на плоской рубероидной крыше его – от бортика до бортика – крупно, белым: «Я люблю тебя, дура». Куда как эмоционально! Но и вовсе не в обиду ей

(окна ее наверняка выходят сюда же). Потому как – и вправду, потому как – по-доброму.

Да и зданьице повеселело.

Вот и расписался...

Мой друг Вадим Рахманов рассказывал. Протиснулся он, не без труда, конечно, на вечер Андрея Вознесенского (давно это было) и в перерыве, как и многие-многие, выстроился в очередь за автографом. Но поскольку книга Вознесенского ему не досталась, протянул оказавшийся при нем новенький томик Некрасова. Вознесенский с удивлением взглянул на Рахманова и начертал на титуле: «Я не люблю Некрасова. XX век». Подпись.

Вот и расписался в своей нелюбви к России.

* * *

Как известно, Освальд стрелял в президента США Джона Кеннеди из окна хранилища школьных учебников. Школа и винтовка – очень по-американски.

* * *

Вхожу в гостиничный номер, знакомлюсь с постояльцем и как бы невзначай жалуюсь на усталость, проехал, дескать, чуть ли не полпсковщины: Пушгоры, Михайловское, Тригорское... Он в ответ: «Я не местный».

* * *

Русская женщина выпила с утра рюмку водки и говорит: «Мне же надо холодец делать». Выпила вторую: «И на фиг он мне нужен, этот холодец?»

* * *

Голые факты: проститутки в милицейских сводках.

* * *

Какой изгиб! Какая талия! Нашлись же у Бога лекала!

* * *

Горящие туры на Мертвое море! Спасибо! Не надо.

Из пены морской

На открытках подают ее, Венеру из Милоса, в одном и том же ракурсе – в наиболее выигрышном, как надо полагать. А обойдите ее вокруг. Тяжелая спина, грузный таз. А вот стопа замечательная! По крайней мере, большой палец не напирает на соседний, как это нередко наблюдается у нынешних женщин. А все потому, что ходила босиком. Или, что вернее, носила, как и все тогдашние гречанки, сандалии с перемычкой меж пальцев. И вообще, вышла из пены морской.

* * *

Вот и Триумфальная арка. 248 ступеней. Поднялся. Перевел дыхание. Париж подо мною!..

* * *

– Ты такой тактильный! – улыбнулась она, отводя его руку.

* * *

Если мне плохо, значит, где-то кому-то хорошо.

* * *

Давно заметил: совершенство текста заключается еще и в графическом его исполнении. Всматриваешься порой в строчки: что-то как-то не так – сдавленно, скученно. И тогда берешь и врезаешь абзац, предложение разбиваешь надвое (а это еще один ритмический знак), добавляешь тире, двоеточие, и текст заиграл.

* * *

Он такой домашний: Домлит, Домжур...

* * *

Мне не по средствам ваша непосредственность.

* * *

Когда я буду совсем старенький, в вылинявшем плаще и мятой кепке, о чем я буду думать, о чем говорить? О том же, наверное, что и мои сверстники: все мы – уходящие...

Спасибо, Юра!

Ох уж эти новогодние пожелания! Сушее лукавство.

Ну послушайте: крепкого здоровья! Да откуда ему взяться-то, крепкому? Средненького бы. Или того смешнее – большого счастья! Зачем большого? Хоть какого-нибудь. А это вообще: успехов в труде! А того не знают, что я давно уже на заслуженном отдыхе.

А вот пожелание далекого сокурсника: «С очередным наступательно Новым! И да станет он далеко не последним! Юрий Ефименко».

01.01.2020 г.

Пандемия

Ковид по самые глаза.

Стадионы без болельщиков, спектакли без зрителей, храмы без прихожан... Жизнь остановилась.

Это у Достоевского: «Человек, умеющий обниматься – хороший человек». А нынче? Ни обняться, ни поцеловаться. Все – плохи.

Апрель-май 2020 г.

«Посиди, сынок...»

В свое время Олег Ефремов, художественный руководитель МХАТа им. Чехова, уволил из театра своего сына актера Михаила Ефремова (тот избил финансового директора театра, октябрь 1997 г.). И вот теперь его ДДП со смертельным исходом. Случись такое при жизни отца, как бы он отреагировал? Наверняка бы сказал: «Посиди, сынок...».

Ноябрь 2020 г.

* * *

Майор МЧС Помогайбо. Фамилия сугубо украинская: от «Помогай Бог», где «Бог» часто произносится как «Бо». Фамилия и впрямь для спасателя.

* * *

Есть, есть в Москве улица Горького, пусть теперь и в Новой Москве, а именно: в писательском городке Переделкино. От метро сюда и автобус ходит...

Топор

Слышен стук топора дровосека:
То топор убивает гомсека.

(Из подслушанного)

И, обратите внимание, не дровосек убивает, а – сам топор...

* * *

У нас матерятся даже в салонах красоты.

* * *

Унылый день, унылая дорога: Моссельмаш, Фирсановская, Подрезково... И вдруг – «Следующая станция Подсолнечная!» И настроение улучшилось.

Черные начинают

Отныне первый ход будет делать шахматист, играющий черными фигурами – в знак солидарности с движением *Блек лайф маттер* («Жизнь черных важна»).

* * *

Путал Монголию с магнолией.

* * *

На ТВ-передаче гость-кавказец поздравляет женщин с Днем 8 марта: «Мы – в ваших ногах, а вы – в наших сердцах». Студия заплодировала.

* * *

«Следующая остановка Поворот на Доброе», – высветилось на табло. «На доброе? – ухмыльнулся я. – Кому же не хочется доброго? Выйти что ли?..»

* * *

Едва переварили чужеродное «менеджер», как прискакало «мессенджер».

* * *

Куда ни кинешь взор – языковой позор.

* * *

Нормально сложилось: ВУС (военно-учетная специальность), вуз...

* * *

Пришел бы кто-нибудь...

* * *

Я люблю Вас, сударыня,
Всеми сердца ударами.

* * *

Умер давний товарищ. И все вокруг показалось таким пустым: дела, поездки, встречи.

Но уже завтра – дела, поездки, встречи...

Мона Лиза

К ней и сам не безразличен.
Но глаза-то... бесресничные!

* * *

Звоню знакомой:

– Как найти на мобильнике Е с двумя точками?

Ответ:

– Нажимаешь на Е с легким удержанием, и она там прячется.
Буква прячется. Даже как-то весело.

Три великана

Самый высокий из русских музыкантов – Сергей Рахманинов: 198 см (с удивлением для себя узнаю). Из певцов – Федор Шаляпин: 195 см. А вот у писателей третье место: 193 см – Максим Горький.

* * *

Брошюра... Черти как звучит! Мы же не говорим Шюра.

* * *

– О, идет, идет, задрав голову. Гордячка!

– Да нет. Просто муж очень высокого роста, и ей для поцелуя всякий раз приходится задирать голову. Вот и остается в таком положении.

* * *

Я на валюту зело лютый.

* * *

Лучший из гимнов – Марсельеза. Радостный.

* * *

Художник – прежде всего рисовальщик. И только основательно поднатюрив в технике, вправе сказать: «Предмет должен угадываться, ни к чему его прорисовывать». Высший пилотаж?

Ядерные трусы

Женские укороченные трусы-купальник – бикини – придумал инженер. Француз. В 1946 году. Почему «бикини»? По названию кораллового острова в Тихом океане, где США произвели испытание ядерной бомбы. Вот, дескать, и мини-купальник – бомба. Ловко! Но пиар чего? Нового сверхоружия?

* * *

Слишком много в нас вчерашнего.

* * *

- Что такое поэзия?
- Хочешь уничижительное? Поэзия – это радость человека, написавшего плохое стихотворение.
- Но плохое стихотворение – не поэзия.
- Вот и радости конец.

Княжон – семь жен

- Ну, жена! – выдохнул мой приятель-сосед, дождавшись, когда благоверная скрылась за дверью. – Гремячая башня!
- Она что, псковитянка? – съехидничал я.

– Да нет, – потянулся он к дальнему ящику. – А причем тут псковитянка?

– Я так, к слову. Гремячая башня в Пскове есть. Вот я и подумал...

– Что из псковских княжон? – рассмеялся он. – Из Ярославля она.

– Тогда из ярославских княжон.

– Ну да, княжон – семь жен.

Выпили.

* * *

Во время поэтического застолья известный литератор вступился за юного стихотворца: «Ну что вы пристали к нему? Ну не умеет он лучше рифмовать».

«Я знала, что лучше меня нет за версту...»

Прислала мне видео. На нем – гордо вышагивающая чернявая молодая женщина: полуоткрытая грудь, развивающийся сарафан. И подписала: «Все, как ты любишь (улыбающийся смайлик). Брюнетка!»

Этим «брюнетка» в последнее время она частенько меня доставала, видя, как я восторгаюсь порой темноволосыми, кареглазыми. Тут я решил быть весьма критичным: «Какая-то пошлая», – пишу ей.

«Нет, она не пошлая. Она красивая, и ей на всех наплевать... Я когда-то тоже так вышагивала. Только у меня был розовый сарафан. Но точно так же скроен. И это ощущение пофигизма помню по сей день... Я знала, что лучше меня нет за версту...

* * *

Одно доброе слово – и лицо ее озарялась. И почему скупился на добрые слова?

* * *

Вечером кушаль чай.

Домён

- Как внук? – спрашиваю соседа.
- Растет! – расплывается он в улыбке. – Скоро три годика.
- Три? Во время летит! Уже и лепечет чего-то?
- Да, конечно: гугл, файл, домён...

«Какие же вы изнеженные, москвичи!»

Рассказывал приятель. Гостила у него теща. Она из Сибири. Москва определенно понравилась ей: чистая, благоустроенная. Но и не могла при этом (теща есть теща!) не съязвить, дескать, в Москве и деньги есть, и есть, кому чистить – таджики, киргизы... Потом развернула газету, местную, районную: «Вот одна женщина пожаловалась на скрип и стук калитки школьного забора, что рядом с домом, в котором она проживает. Ей, той женщине, через газету отвечает заместитель главы района. Что на место были посланы рабочие, которые оперативно устранили имевшийся дефект... Калитка скрипела. Да у нас и калитки скрипят, и тротуары проваливаются... Какие же вы изнеженные, москвичи!»

* * *

- Пальцы меж пальчиками. Картинно!
- Да нет. Интимно.

* * *

Он, телевизионщик, оказавшись по мобилизации в окопах Донбасса, взял себе позывной «Пресса».

– Но телевидение не пресса! – удивлялись бойцы-товарищи.
– Да знаю, – соглашался он. – Но «пресса» более емкое, более сильное слово.

И вправду: напористое слово.

* * *

Поэзию не оцифруешь!

Почти классика

– Не люблю я тебя, Митя.
– А раньше?
– А раньше не знала, что не люблю.

* * *

Стога на все 100 га.

* * *

Ермолка Ермолова.

* * *

Мужчине с женщиной иногда подобает быть бестактным. Это ее обескураживает.

* * *

Третий день – ни звонка. Жутковато даже. Забыли? Стал не нужен? Вот она, обратная сторона вождя-одиночества.

* * *

И некому будет звонить, и некого будет простить...

* * *

Уж кто-кто, а футболисты знают, что такое – подножка.

* * *

Это же насколько надо быть гениальным, чтобы обратиться (художник Михаил Ларионов) к примитивизму.

* * *

«Приложите транспортную карту, – всматривается старушка в бегущую строку в салоне автобуса, – к вали-да...»

– К валидатору, – подсказывает парнишка.

– О, господи! Хоть валидол доставай...

* * *

Забыл про обед – прими Ноопепт.

* * *

И не надо говорить мне, что материальные блага, карьера не сопряжены для многих и многих с пресловутым «покривить душой». А душа, она – потемки.

* * *

Увидишь средних лет женщину в машине и с собачкой, так и знай: одинока. Машина – чтобы самоутвердиться. А собачка... Хоть какая-то привязанность...

Буча

Тихий, уютный городишко близ Киева: памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятники

чернобыльцам, афганцам, памятный знак на месте бывшей дачи профессора Киевской духовной академии А.И. Булгакова (сгорела в 1918 г.), где провел свои детские и юношеские годы Михаил Булгаков, будущий великий русский писатель... Буча. Тихий уютный городишко. Был...

07.04.2022 г.

* * *

Эпоха закусила удила.

* * *

Телекомментаторша – стройная, ухоженная, – завершив рассказ о погоде («В Москве солнечно, осадки не ожидаются...»), протараторила: «Гепазолон – лучшее средство для лечения геморроя. Гепазолон, успокой геморрой!»

В Москве солнечно.

К слову о предках

День России. В Кремле В. Путин вручал Золотую звезду Героям труда. В числе получателей ее был и кинорежиссер Никита Михалков. В ответном слове, касаясь преемственности поколений, он вдруг заявил, что предок его был держателем печати Романовых. Путин ехидно покосился на него и в своей заключительной речи заметил: «Я тоже изучал свою родословную. Предки мои были простыми крестьянами, а родители – простыми рабочими».

12.06.2022 г.

* * *

Ну и грудь! Вся спина в застежках.

* * *

Физика тела.

* * *

Раньше был корсет, теперь – корсеть (корреспондентская сеть).

* * *

– Мам, я только что с перепоя.

– О чем ты, девочка?

– Ну как тебе сказать? На перепое звезды была. Шоу такое на ТВ.

– И что?

– Мне Буланова досталась.

– И что?

– Вместе и пели.

– Пили?

– Ну что ты, мам?..

* * *

Весь день просидел с синицей в руке. Да и журавль не пролетал...

СОДЕРЖАНИЕ

Как я был «оккупантом». Солдатская повесть	3
И это главное... Рассказы	73
Сестренка	75
Кавказская история	81
Сивый ус	92
Эх, дядя...	95
И это главное...	97
Милая свояченица	100
Дом поэтов	107
Сабина	111
Про альма-матер и горилку с перцем	117
Подсолнухи Гоголя	124
Привет, Ананьич!	127
Да, общались...	129
Берега. Стихи	131
Знать бы...	133
Ностальгия	134
Берега	135
«Убежали светлы дали...»	136
«Дурнее прежнего курю...»	137
Подкова	137
Мой предок	138
Просила женщина меня	139
«Буду учиться жить без ста грамм...»	140
Монмартр	140
Доброта	141
Еловая шишка	142
Свет обители	143
«По-над берегом солнце крадется...»	144
«Не проси любви у нелюбимой...»	144
Эти тучи...	145
Нас разлучили города	146

Украина.....	146
Мелитопольский вальс.....	147
Пушкину.....	148
Молитва.....	149
Марсиане.....	149
Вот затем меня мать родила.....	150
«Вам скажу по секрету, братцы...».....	150
Грани. Заметки, наблюдения.....	151
Так вышло... ..	153
«Медная бабушка».....	153
Грибоедов.....	154
Евдокия.....	155
Как Геля стала Мамлакат.....	155
Музыкальный комод.....	157
Танцплощадка.....	158
Молотовскане.....	159
Солдат, он такой... ..	159
Вечер Евтушенко.....	160
Судьба, значит... ..	161
Олег усмехнулся... ..	162
Строганина, медвежати́на... ..	163
Тишайший.....	164
Неэтично.....	164
Кичера.....	165
Строители коммунизма.....	167
Усть-Орда.....	168
Дядя Жорж.....	168
Кагор из Дивеева.....	169
«Первая конная...» 20 лет под ковром.....	170
Владимир Чертков.....	172
Безбилетный Станкевич.....	174
Никудышный штурвальный.....	174
В Святых сенях.....	175
Ледерин.....	176
Гимнастерка – в собственность.....	177
Сталинград.....	177

Сволочь!	178
Звание присвоила... телеграфистка	179
За Родину, за Сталина с крестиком на груди!	180
Два-три длинных гудка...	181
Углич	182
А пиво и без того любим...	183
Довольно одного Котовска	183
Сережки	184
Коктебель	185
Взвейтесь кострами!	186
Женщина в шляпке	186
Анжела	187
Свободен, блин!	188
Дорожное	189
Львов	190
«Не забывайте, падлы!..»	190
Человек в пиджаке	191
Еще раз о кино	191
«Проехал, паря!»	192
Поэзии сто первая верста	193
Боль	194
В санатории	195
Кузнецкий мост	196
Совсем по-боковски!	196
Черешня	197
На конюшне	198
Женский смех	199
Мина	200
«У нас не так...»	201
И это правда	202
Подвиг сердца. Очерки, зарисовки	203
Сахалинские этюды	205
Ночной полет	216
Старая площадь	221
Подвиг сердца	226
«Идиоты! Страну позорите!»	232

Знаки Тамбова	238
Петербургские заметки	245
Московский Сокол.	254
Озарение любовью	264
Я у тополя дальнего... Стихи.	267
Ай лав ю	269
Лучшие женщины.	270
Береза	271
Вы не любите меня	272
«И вот мы снова у реки...»	272
Кирилловка	273
«Переживу и эту боль...»	273
Просто думаю о тебе.	274
Песня	275
«Потому и прошлое...»	275
Чувашия	276
«На столике джин и водка...»	276
«А у тополя дальнего...»	276
Стихи про <i>Orbit</i>	277
Двухрядка.	278
«Мой друг шуршит купюрами...»	278
Вечером кушалъ чай... Из записных книжек	279

Литературно-художественное издание

Соляник Николай Ананьевич

Судьба, значит...

Издано в авторской редакции

Дизайн-макет – Ульяна Иващенко

Подписано в печать 05.02.2024

Бумага офсетная. Печать офсетная. Формат 60x90/₁₆

Гарнитура «AdonisС». Усл. печ. л. 21

Тираж 250 экз. Заказ № 2802

ISBN 978-5-00246-013-7



9 785002 460137 >

Издательство «У Никитских ворот»

121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 50 а/5, стр. 1

тел.: +7 (495) 690-67-19

www.uniki.ru